

Анна Альфредовна Старобинец

Убежище 3/9

*Живая живулечка,
Сидит на живом стулечке,
Живое мясо тербит.*
Русская народная загадка

*Великая империя вскоре будет перенесена
В маленькое место, которое очень скоро увеличится,
Место весьма ничтожного, незначительного графства,
В середине которого Он водрузит свой скипетр*
Предсказание Нострадамуса

ЧАСТЬ 1

I ДЕТЕНЫШ

Главный фокус Ковра-Самолета заключался в том, что в какой-то момент он переворачивался кверху дном и на несколько секунд застывал в таком положении. И люди висели вниз головой, причем, что странно, — очень мало кто визжал. В основном все молчали, вцепившись в ремни. Так и висели — напряженные, краснолицые, с выпученными или зажмуренными глазами. На огороженный прямоугольник асфальта, черневший внизу, громко позвякивая, сыпалась мелочь из их карманов.

Этот момент нравился Мальчику больше всего. Это был момент — ну, вечности, что ли.

Потом гигантские шестеренки Ковра-Самолета снова приходили в движение, и нелепо разукрашенная махина, скрежеща, неохотно возвращала людей в естественное положение...

II ПУТЕШЕСТВИЕ

Я смотрела сверху и немного сбоку. Луна была яркой — достаточно яркой для того, чтобы я могла различать все предметы. Внимательно присмотревшись, я поняла, что лежало там, на тропинке. Маленькие белые камушки. Даже, скорее, не белые, а перламутровые. Они блестели в лунном свете. Было очень тихо.

Немного погодя послышался легкий хруст. Кто-то медленно шел по тропинке, приближаясь ко мне. Я не видела, кто. Как загипнотизированная, я смотрела на камушки и пыталась убедить себя, что бояться нечего. Вряд ли это был кто-то большой или агрессивный: слишком тихо и неуверенно звучали шаги. Я смотрела на камушки и думала, что нет смысла бежать.

Особенно если я не могу убежать.

Потом шаги стихли.

В воздухе послышался какой-то странный шорох. Прямо у меня над головой. Я зажмурилась, стараясь не думать о звуках и ничего не чувствовать. Не чувствовать, как ночной ветер остужает и делает ледяными капельки пота, проступившие у меня между лопаток. Как они скатываются по спине маленькими градинами, оставляя за собой влажный холодный след...

Потом шорох прекратился — вернее, переместился вниз, на тропинку, и превратился в

сдержанное клокотание.

Чуть помедлив, я открыла глаза. Камушков больше не было. На тропинке неуклюже копошились воробьи и голуби. Утробно курлыкая, они клевали что-то – кажется, хлебные крошки – и время от времени вяло дрались.

На меня птицы не обращали никакого внимания и, в общем-то, вели себя довольно обычно. Как всегда ведут себя голуби и воробьи, когда какая-нибудь сердобольная старушка бросает им хлеб. Только вот никакой старушки на этот раз я не видела. Кроме того, была ночь. А ночью голуби спят. И воробьи тоже.

Наблюдая за птицами, я пыталась понять, кто же накидал им столько хлеба. Если не старушка. Если кроме меня там никого не было. Если – какая поразительная, готовая вот-вот оформиться мысль – даже меня там, наверное, не...

Мой самый бессмысленный, самый тоскливый ночной кошмар снова прервался как раз в тот момент, когда я уже почти поняла что-то очень важное и окончательное.

Я проснулась в тесном гостиничном номере тесной чужой страны, быстро и неприятно – как будто меня смачно выплюнули из сна и я ударилась о кровать. Еще какое-то время я лежала неподвижно, с закрытыми глазами. Надеюсь, что, если ничем себя не обнаружу, возможно, мне удастся как-то обмануть недружелюбную предрассветную действительность и снова вернуться туда, на тропинку.

Минут через двадцать я окончательно поняла, что больше уже не засну, и слегка пошевелилась, отлепляя плечи и спину от влажной гостиничной простыни. В парнике синтетического постельного белья было жарко и холодно одновременно. Я открыла глаза. Потянулась за мобильным и посмотрела на время: полшестого утра. Сумасшествие. Впрочем, в Москве – уже полвосьмого. Эта мысль меня почему-то утешила.

Я встала, нашла пульт и включила маленький телевизор, пристегнутый ремнями к сложному цилиндрическому приспособлению под потолком. На экране за плотной вуалью помех едва вырисовывались женские и мужские лица. ...*Jamais... Personne... Rien* ... Кто-то объяснял кому-то что-то по-французски, временами срываясь на крик. Я не понимала французский, но тишина в этом зашторенном душном номере размером с сортир была бы еще хуже. Дополнительные голоса создавали иллюзию «расширения пространства». Да ладно, чего уж... Я просто не могла выносить тишину. Не только там – дома тоже.

Я быстро надела на себя майку и джинсы. Стянула с кровати белье и, скатав его в большой бело-розовый ком, закинула на кресло. Потом взялась за край кровати, приподняла ее и поставила вертикально, прислонив к стене.

Когда я въехала в этот номер, то подумала, что в таких же, наверное, французские шлюхи принимают клиентов. Но когда портье научил меня трюку с кроватью, поняла, что от этого номера шлюха бы отказалась.

Моя комната была устроена таким образом, что ходить по ней, а главное, открывать двери – и входную, и ведущую в ванную – можно было только в случае, если кровать стояла у стены. В своей более традиционной позиции – на четырех ножках, в центре комнаты – она блокировала все входы и выходы.

Девушку Олю Маркелову, оформлявшую мне в Москве эту командировку, я очень просила забронировать нормальный номер. Нормальный. Впрочем, я не догадалась сказать ей, что ни в коем случае не стоит бронировать номер в гостинице с названием «*Ideal*» . И с двумя звездочками.

– Брэкфаст? – без особой надежды поинтересовалась я у всклокоченного араба, клевавшего носом на ресепшене.

– Уи, брэкфаст ноу, – дружелюбно улыбнулся араб крупными белыми зубами, подмигнул мне и снова закрыл глаза. – Пардон, мадаммэ, – бормотнул уже, кажется, во сне.

Я громко поставила перед ним большую деревянную грушу-брелок с номером 11, толкнула тяжелую прозрачную дверь и вышла на улицу. Тоскливо брякнул подвешенный к

двери колокольчик.

У меня никогда не было привычки гулять в шесть утра, но сидеть в номере, в котором не помещается кровать, тоже как-то не хотелось. Клаустрофобия.

Быстрым шагом я прошла пару кварталов по улице Эмиля Золя и наугад свернула направо.

Потом еще раз направо. Петляя среди совершенно одинаковых, кукольных парижских двориков, я пыталась припомнить, была ли у меня когда-нибудь в жизни еще более ужасная командировка, чем эта. Международная парижская ярмарка детской литературы.

Конечно, была... Например, несколько лет назад я ездила в Кострому фотографировать школьного учителя, признанного виновным по статье 135 Уголовного кодекса «Растление несовершеннолетних». Унылые неровности казенно-зеленых стен, высокий худой человек с тупым изумлением на лице, раздраженная судья с красными волосами и очень плохой кожей, полуседой полусонный адвокат («Прошу принять к сведению, что обвиняемый является победителем областного конкурса “Учитель года”»)... В гостинице – стада тараканов и неотопливаемые обледеневшие «удобства» на этаже. Все это было тоскливо, нелепо, отвратительно. Казалось бы, как можно сравнивать? Здесь ведь – Париж... детские книжки с красивыми картинками... кофе, бутерброды, пресс-конференции и круглые столы... А настроение – хуже некуда.

Некуда.

* * *

Бессмысленно шатаясь по улицам, я старалась думать про пятнадцатиградусный мороз, ожидавший меня дома. Старалась вспомнить, как это – мороз... Я приехала из Москвы в зимних ботинках, и уже второй день мучила совершенно неуместным здесь бараньим мехом свои вопревшие ноги. В Париже было очень тепло. Март – а уже настоящее лето.

Двухчасовая прогулка не доставила мне удовольствия.

Он совсем не нравился мне, этот громкий бежевый город. Нависающие над головой, всех оттенков бежевого дома – словно ряды гигантских пыльных тортов с вычурными барочными узорами из подгнившего заварного крема.

Смутные ленивые люди, вгрызающиеся хищно в нежную плоть круассанов, наглыми смеющимися глазами разглядывающие прохожих, обжигающие свои быстрые, картаво воркующие языки неароматной черной бурдой.

Люди, которые с раннего утра облепляют маленькие серые столики уличных кафе, точно нарочно выставленные в самых замусоренных и самых узких местах тротуара – так близко от проезжей части, что до движущихся мимо машин легко можно дотянуться рукой.

Кофе, сдоба, пыль и бензин – их бесконечный маленький завтрак. Сумасшедший эйт-о'клок.

Фотографировать не хотелось.

Ближе к одиннадцати я спустилась в метро. В вагоне было очень людно, но я отыскала-таки свободное место: стоять не было сил. От недосыпа кружилась голова, кисло-горький кофейный привкус во рту вызывал тошноту. Напротив меня сидела влюбленная пара. Они держались за руки и, разомлев, неторопливо обсуждали что-то. Он – молодой улыбчивый бородач русой масти, она – неопределенного возраста пухлая негритянка с мутными собачьими глазами и прыщавым лбом. Время от времени он наклонялся и целовал ее в этот лоб.

Они тоже вызывали тошноту.

Они вышли на станции *Port de Versailles*, там же, где и я.

Почти шатаясь, я выбралась из-под земли в подсвеченную солнцем уличную пыль, в

дребезжащий строительный скрежет. Неожиданно сильно заболело горло.

Внутри, в павильоне, было еще хуже. Жарко и чересчур людно. Там пахло ковровым покрытием, влажной газетной бумагой и все тем же вездесущим химически-кофейным. Перекрикивая ярмарочный гул и марионеточно жестикулируя, посетители прохаживались между книжными стеллажами, волоча за собой визжащих, орущих, жующих, сосущих детей.

Я вытащила фотоаппарат и сфотографировала пару-тройку картонных Гарри Поттеров, украшавших издательские стенды. Потом сфотографировала двух мальчиков-близнецов, идентичными веснушчатыми носами уткнувшихся в комиксы. Потом увидела давешнюю парочку из метро и сфотографировала их. Они помахали мне руками. А потом стала медленно пробираться к российским стендам, то и дело натываясь на идущих навстречу французов. Каждый раз, когда мы сталкивались, они издавали громкий отрывистый звук – как детские резиновые игрушки с дырочкой, если на них надавить. Упс. Упс. А затем поднимали на меня доверчивые глаза и тоненьким певучим голосом чирикали «пар-дон». И выжидательно смотрели на меня. Мне полагалось тоже чирикнуть «пар-дон». Или хотя бы «упс». Но я молчала. У меня болело горло и поднималась температура.

Антон стоял, опасно облокотившись на фанерную «стену» одного из российских стендов и, свесив поверх брюк нечеловеческих размеров живот, прихлебывал капучино из пластикового стаканчика. Листал какую-то большую книгу с картинками. Я с трудом доплелась до него.

– Бонжур, – улыбнулся он, лениво изучая меня маленькими опухшими глазками, – а ты очень неважно выглядишь, мон амур.

– Что-то конкретное нужно сегодня фотографировать? – спросила я и не узнала свой голос. Он был совсем охрипшим.

Нас с Антоном отправили в командировку вместе. От него требовался культурный репортаж. От меня – к этому репортажу фотоиллюстрации. То есть я была как бы при нем. А он мне не нравился. Совсем.

– Ты, кажется, простудилась, Мари, – голос у него был громкий и надтреснуто-высокий, – в этой теплой благодатной стране. Позволь, я угощу тебя горячим кофе.

– Нет, спасибо, – я вяло отмахнулась. – Что-то конкретное нужно фотографировать?

– А нафиг? – каркнул Антон удивленно.

– Ну, для статьи...

У меня вдруг закружилась голова. Я положила фотоаппарат в сумку и присела на корточки, чтобы не упасть.

– Статьи? Какой статьи?

– Антон, – у меня не было сил даже на то, чтобы говорить раздраженно, – я действительно не очень хорошо себя чувствую. Так что давай без этих твоих шуток-прибауток. Просто скажи, нужно ли тебе, чтобы я сфотографировала что-то... кого-то... ну, чью-то морду... или пресс-конференцию... для твоей статьи. Для статьи, которую ты напишешь про эту чертову ярмарку детской литературы.

Слишком много слов. К концу этой тирады голос у меня совсем сел.

– Маш... Маш. Ты что? Я ведь не буду писать никакую статью.

Я посмотрела на него, снизу вверх. Поднимать глаза было больно. Шевелиться было очень неприятно.

Кажется, он говорил серьезно.

– Почему? – спросила я шепотом.

– Но... мы же вчера уже говорили про это, нет? Ты разве не помнишь?

Я попыталась вспомнить. Что-то действительно... смутно шевельнулось у меня в голове.

Мы сидели в номере... в моем?... в его?... и пили... И он действительно говорил, что... Я

была пьяна. Я не помню.

– Я не помню.

Антон посмотрел на меня немного испуганно. И зачем-то протянул мне свой недопитый капучино.

– Спасибо, не хочу.

Он выкинул стаканчик в урну и положил мне на плечо свою большую толстую руку с розовыми пальцами-сосисками. Я почувствовала, что меня вот-вот вырвет. Эта рука... Я вдруг поняла, что эта рука... что я откуда-то знаю, какая она на ощупь... шершавая... и как она глупо трясется... И...

– Ты *совсем* ничего не помнишь? Мне казалось, ты была все же не настолько пьяна, чтобы...

– Подожди, я сейчас приду. Ты, пожалуйста, подожди, – я поднялась на ноги и насколько могла быстро побежала через весь павильон к лестнице, и на второй этаж, и в тошнотворно-цветочное благоухание уборной, и в маленькую тесную кабинку, в которой меня наконец вывернуло наизнанку, наизнанку, наизнанку этим их чертовым кофе и круассанами, и просто ничем – до рези в пустом желудке, до слез.

Потом я вернулась к нему.

– Напомни мне только, почему ты не будешь писать статью. Только это.

Он смотрел на меня своими маленькими мышиными глазами и молчал.

– Антон? Как ты объяснишь в редакции, что съездил в командировку и ничего не написал?

– Понимаешь... Маша. Ну я просто... я просто не собираюсь возвращаться туда.

– Куда, в редакцию?

– В редакцию. И вообще в Москву. В Россию.

Антон опустил глаза, поскреб пальцем неприятное желтое пятно на брюках.

– И тебе тоже, Маш, не советую. Туда возвращаться. Там сейчас начинается плохое время... Ты же знаешь. В такой ситуации получить здесь политическое убежище – не проблема. И у меня, кстати, есть здесь неплохой проект. Сетевой. Ладно... Пойду.

Он неопределенно махнул распухшей пятерней, сунул мне в руки свою большую книжку с картинками, повернулся спиной и стал решительно протискиваться к выходу, наступая на ноги веселым резиновым французам.

Упс – пардон. Упс – пардон.

Я снова присела на корточки и раскрыла книгу.

...Жил на опушке дремучего леса бедный дровосек с женой и двумя детьми: мальчика звали Гензель, а девочку Гретель. Жил дровосек впроголодь; и наступила однажды в той земле такая дороговизна, что ему не на что было купить даже кусок хлеба. Вот как-то вечером лежит он в кровати, не спит, а все с боку на бок переворачивается...

III ПУТЕШЕСТВИЕ

До вечера я провалялась в номере, накрывшись тремя одеялами, чтобы не знобило.

Мне снились какие-то хищные синие ромбы и квадратики, которые я должна была расположить в строгом порядке, от самых крупных к самым мелким, но мне это никак не удавалось: они все время меняли свой размер. Далекие фигурки из детства, они приползли ко мне с родительских обоев двадцатилетней давности, чтобы теперь мучить меня, увеличиваться, уменьшаться, увеличиваться, уменьшаться...

Потом снился Антон. Мы были с ним вместе на какой-то сомнительной, очень зыбкой

и расползающейся по швам (по стыкам стен?) кухне. Он стоял у плиты, над кастрюлей с кипящей водой, и говорил: «Сейчас я приготовлю обед». И опускал в кипящую воду свои красные, распухшие пальцы. «Уже почти готово... Тебе понравится... Пальчики оближешь... Оближешь...»

А потом я снова была там, на тропинке. Я шла по ней в свете луны и считала белые камушки, но все время сбивалась со счета. Тогда я возвращалась в то место, откуда начала, и снова принималась считать. Но их было много, слишком много... Кажется, вся тропинка была выложена ими.

Потом позади меня раздались шаги, и я поняла, что я там не одна. Я испугалась. Усилием воли я поднялась над тропинкой и теперь смотрела сверху и немного сбоку.

Кто-то медленно шел по тропинке, приближаясь ко мне. Я не видела, кто. Как загипнотизированная, я смотрела на камушки и пыталась убедить себя, что бояться нечего. Вряд ли это был кто-то большой или агрессивный: слишком тихо и неуверенно звучали шаги. Я смотрела на камушки и думала, что нет смысла бежать...

Я проснулась около восьми вечера. Подушка и простыня подо мной были совершенно мокрыми от пота.

Однако же после сна мне стало лучше. Заметно лучше. И температура, кажется, спала.

Делать было, в общем-то, нечего. То есть – нет. Не так. У меня было дело. Мне нужно было серьезно подумать об одной очень важной вещи, но страшно было начинать. Чтобы оттянуть время, я стала читать.

... и наступила однажды в той земле такая дороговизна, что ему не на что было купить даже кусок хлеба. Вот как-то вечером лежит он в кровати, не спит, а все с боку на бок переворачивается, вздыхает и, наконец, говорит жене:

– Что теперь будет с нами? Как нам детей прокормить, нам и самим-то есть нечего!

– А знаешь что, – отвечала жена, – заведем завтра утром детей пораньше в лес, в самую чащу...

Что-то мне в этой сказке не нравилось. Очень не нравилось. Настолько, что я не стала читать дальше.

Пришло время подумать.

* * *

Я залезла в ванную, включила душ и стала думать о том, что со мной что-то не так. С моей головой. С памятью.

Что я, видимо, очень больна.

И что это началось не вчера. Пора себе в этом признаться.

Это началось несколько лет назад. Сначала я не обращала внимания: мне казалось – это нормально. Ну, забывать какие-то мелочи, незначительные события и разговоры – нормально.

Но сейчас. Сейчас. То, чего я не могу вспомнить сейчас – так ли уж это незначительно?

Возможно, я сама виновата. Возможно, да. Ведь кое-что я действительно *хотела* забыть. Ведь кое-что я *забыла* специально.

А остальное стало забываться само. Просто стираться. Моя память – мозаика из сотен, из тысяч экранчиков-воспоминаний. Только одни светятся, а другие погасли. Маленькие черные квадраты. В них – темнота.

То, чего я не могу вспомнить сейчас – так ли уж это незначительно?

«И тебе не советую возвращаться. В Россию. Там сейчас начинается плохое время».

Так он сказал, Антон.

Что я об этом помню?

Я помню, что было очень-очень много разговоров о переизбрании на очередной срок. Я не слишком много смотрела телевизор и слушала радио, но об этом говорили все. Одни утверждали, что нет подходящей замены. Что нужно закончить реформы. Ну и так далее. Другие заявляли, что если он останется на очередной срок – это уже, безусловно, будет диктатура.

Потом прошли эти самые выборы. И... вроде кого-то выбрали. Ну то есть, естественно, кого-то выбрали. Кажется, не его. Кого? Кто управляет сейчас моей страной? Я не помню. Не помню.

Зато я помню, что когда уезжала в Париж, мои друзья прощались со мной так, словно я уезжаю навсегда. Они говорили: ты не вернешься. И что-то насчет того, что, мол, повезло... получила шенгенскую визу... политическое убежище... не упусти свой шанс... Кажется, так.

После душа я почувствовала себя еще лучше. В том, что касалось простуды. А в остальном...

Антон жил в той же гостинице, что и я – этажом ниже. Я кое-как вытерлась жестким, совершенно неспособным впитывать влагу полотенцем, оделась и пошла к нему.

Моему приходу он не слишком обрадовался. Да что там – заметно огорчился. Он стоял на пороге, рассеянно почесывал оголенный фрагмент тугого волосатого брюха и смотрел на меня с таким недоуменным омерзением. Он не предложил мне войти.

Я, впрочем, совершенно не хотела входить. Я хотела спросить у него кое-что.

– Кто победил на выборах?

Спросила. Заметив про себя, что мой голос по-прежнему совершенно охрипший, чужой.

– На каких выборах? – он смотрел на меня подозрительно. Щурил мышинные глаза.

– Ну, на выборах. В России. Кто стал президентом? Почему туда нельзя возвращаться?

– Ты зайдешь? – спросил он и быстрым взглядом окинул коридор позади меня.

– Нет. Просто скажи мне. Кто?

– Я не уверен, что стоит об этом разговаривать. Тем более вот так... в коридоре. Ты лучше зайди.

– Кто?

– Зачем ты спрашиваешь?

– Мне нужно. Нужно, чтоб ты ответил.

– Нужно, чтоб я произнес его имя вслух? Или нужно, чтоб я сказал, что про него думаю? Тебя кто-то прислал? У тебя в кармане лежит диктофон?

Он тяжело шагнул ко мне и неожиданно сильно схватил своей красной клешней за запястье. Другой клешней принялся ощупывать карманы моих джинсов.

– Зачем тебе? Ну-ка, зачем тебе? Ну-ка, зачем это, сука, тебе? – он говорил тихо и зло и дышал мне прямо в лицо гнилым луком и пивом.

Задержав дыхание, я ждала, пока это кончится. Когда он, наконец, прекратил лапать меня, я сказала:

– Мне это нужно затем, что я не помню. Действительно не помню.

Он стоял напротив меня, хрипло дышал и щурился.

Он сказал:

– Я тоже не помню.

И захлопнул передо мной дверь.

* * *

... – А знаешь что, – отвечала жена, – заведем завтра утром детей пораньше в лес, в самую чащу; разведем там костер и дадим им по кусочку хлеба. А сами пойдем на работу и оставим их одних. Не найти им дороги обратно – вот мы от них и избавимся...

* * *

Ближе к ночи мне захотелось есть. То есть не то чтобы прямо захотелось, но я подумала, что ужин пришелся бы очень кстати: за весь день я съела только один круассан, да и тот во мне надолго не задержался.

Я взяла кошелек, мобильник и ключ от номера; поразмыслив, засунула все это в полиэтиленовый пакет с надписью *Beneton* — чтобы не разгуливать по ночному Парижу с кошельком и телефоном в руке. Потом еще положила туда сказки братьев Гримм. Зачем-то. И спустилась вниз.

На ресепшене сидел, покачиваясь из стороны в сторону, все тот же араб. Я отдала ему деревянную грушу и спросила:

– Is there any cafe somewhere near?

– Уи, – сказал араб. – Саппер ноу. Саппер а ля кафе.

И помахал мне рукой на прощание.

Кроме меня, на улице никого не было. Я шла по Эмиля Золя и слушала собственные шаги. Странное ощущение. В Москве, даже в спальном районе, невозможно слышать свои шаги. Их всегда заглушают еще чьи-то шаги, или голоса, или машины, или музыка из открытых окон... В любое время суток.

А вот в Париже – пожалуйста. После девяти вечера город вымирает. Ну, кроме разве что самого центра.

Ничего похожего на кафе – по крайней мере, на открытое кафе – я нигде не видела.

Я шла и думала о своем муже. О своем бывшем муже.

...Я помню всякие мелочи. Дурацкие, неинтересные подробности.

Он, например, пил много воды. На ночь ставил рядом с собой двухлитровую бутылку, практически не просыпаясь, из нее отхлебывал, и к утру она была пустой.

Он, например, любил готовить что-то вроде овощного рагу. Сначала он мелко нарезал зелень. Потом – помидоры. Потом – грибы. Потом – морковь. Капусту-брокколи. Шпинат. Картошку. Пока нагревалась сковорода, все это лежало, очень аккуратно, на деревянной дощечке. Ровными опрятными кучками. Отдельно одно от другого. Если кусок помидора случайно попадал в кучку с грибами, он вытаскивал его оттуда и клал на место. К другим помидорам. А потом, когда сковорода достаточно накалялась, он брал нож и смахивал в нее с деревянной доски все эти кучки. Последовательно. Одну за другой. А потом брал ложку и все перемешивал. Все. Перемешивал...

Я едва не проскочила открытое кафе – на очередном перекрестке двух одинаковых, безлюдных улиц. Зашла внутрь. Села за столик и стала рассматривать заламинированный пластиковый прямоугольник меню. Есть хотелось уже по-настоящему. Я решила, что возьму порцию картофеля фри и горячий бутерброд с идиотским названием «*Bonjour, Monsieur*» – с ветчиной, сыром, шпинатом и яйцом. Был еще вариант «*Bonjour, Madame*» . Без яйца. Официант все не подходил.

Я вынула из пакета «Сказки».

...Сели Гензель и Гретель у костра, а в полдень они съели свой хлеб. Они все время слышали стук топора и думали, что это где-нибудь недалеко работает отец. А постукивал-то вовсе не топор, а сухой сук, который отец подвязал к старому дереву. Сук раскачивало ветром, он ударялся о ствол и стучал. Сидели они так, сидели, от усталости у них стали

закрывать глаза, и они крепко уснули. Когда они проснулись, в лесу было уже совсем темно. Заплакала Гретель...

– Bon soir! – официант, маленький и вертлявый, вопросительно навис надо мной. Он широко улыбался.

– Good evening, – просипела я. Снова начинало болеть горло.

Услышав английский, он как-то сразу помрачнел и сник. Улыбка стала шире и ненатуральной.

– Qu'est ce-que vous desirez?¹ – продолжил он по-французски. Он все еще надеялся наладить со мной нормальный человеческий контакт.

– Excuser moi, je ne parle pas francais, – оттабанила я. – I would like to order fried potatoes...²

Его взгляд приобрел свинцовую бессмысленность.

– ...Hot sandwich «Bonjour, Monsieur», one fresh orange juice and one tea with lemon.³

Официант смотрел сквозь меня и широко улыбался. Я немного подождала. Потом в точности повторила предыдущую реплику, воодушевленно тыкая при этом пальцем в соответствующие пункты меню.

Официант закивал и чему-то очень обрадовался:

– Malheureusement, la cuisine est fermée apres 8 heures et vous pouvez commander seulement les boissons.⁴

– Excuse me, – сказала я, уже догадываясь, что ужин мне здесь не светит, – I don't understand. I'd like to eat a sandwich. Can I?⁵

– Hoу. – просиял официант и утвердительно кивнул. – Китчен нот уорк. Ту лэйт. Pas possible.

Я закрыла меню, закрыла книжку и вышла из кафе. И побрела дальше.

...Да, а еще он курил, мой муж.

Перед тем как выйти на лестничную клетку курить, он всегда вежливо спрашивал: «Ты не возражаешь, если я выйду покурить?». И выходил только после того, как я говорила: «Конечно».

Еще – он всегда принимал душ ровно пятнадцать минут. А перед этим всегда говорил: «Я зайду в душ минут на пятнадцать».

Это я помню. И еще много всякой ерунды.

Но я не помню ни одного нашего разговора. Я не помню, как мы с ним встретились. Я не помню, как мы прикасались друг к другу. Я не помню любви. Я даже не помню, как его звали. Что заставило меня жить с ним? Наверное, было ведь что-то? Не помню. Не помню. Он молчит, сидит, суетится в освещенных квадратах моей памяти – совершенно постороннее существо. Забавное, механическое. Что-то вроде одушевленного кухонного комбайна. А чего он хотел? Что любил и чего боялся? О чем думал, мечтал?

¹ Что будете заказывать? (фр.)

² Простите, я не говорю по-французски... Я бы хотела заказать картофель фри... (фр.)

³ Горячий бутерброд «Бонжур, мсье», свежавыжатый апельсиновый сок и чай с лимоном (англ.).

⁴ Очень сожалею, но кухня закрывается после восьми вечера, сейчас вы можете заказать только напитки (англ.).

⁵ Простите... Я не понимаю. Я хотела бы съесть бутерброд. Это возможно? (англ.)

И – наконец – куда он делся? Где он сейчас?
Кажется, было много каких-то гадостей. Мелкого вранья и путаных объяснений.
Кажется, кто-то кого-то предал. Кажется, я много плакала. Все это в каком-то тумане.
Как бы то ни было, теперь я одна.
В тумане...

В следующем кафе все повторилось. Кухня закрыта. Еды нет. Только напитки. Но сердобольная брюнетка с заячьими зубами жестами объяснила мне, где находится круглосуточный ресторан. Ресторан, в котором *food* можно есть *tout la nuit*.

Я действительно нашла его, этот ресторан. Вернее – бар. Там было жарко и накурено. Мрачный мужик с трехдневной щетиной поглощал дымящуюся пиццу прямо за стойкой. Еще один – с желтыми крошками в бороде – прихлебывал темное пиво.

Симпатичный бармен энергично размазывал мутные разводы по стенкам пивных кружек, орудуя сомнительной чистоты полотенцем.

– Excuse me, – сказала я.

Он не обращал на меня никакого внимания.

– Excuse me, – сказала я громче и закашлялась, – do you have food?

Он поднял на меня глаза и отрицательно покачал головой.

– Food, – повторила я, – food. Манжэ.

И показала пальцем на пиццу того мужика со щетиной.

– Non, – лениво выдавил из себя бармен и снова покачал головой из стороны в сторону.

Я продолжала стоять напротив него.

Тогда он повернулся ко мне спиной, наклонился куда-то под стойку бара, а потом извлек оттуда большой бумажный пакет. Для мусора.

Он сунул мне его прямо в нос, демонстрируя, что пакет пуст. И, издевательски ухмыльнувшись, сказал:

– Je suis desole, mais nous n'avons rien a vous proposer ce soir.⁶

Демонстрация пакета была столь наглядна, что я прекрасно *поняла*, что именно он сказал.

Я почувствовала, что краснею. Стремительно краснею. Что мое лицо, и уши, и кожа головы – все становится пунцовым. А на глаза наворачиваются слезы. От злости. От возмущения. От невозможности объяснить.

– Merde, – хрипло сказала я. Это слово я знала.

Я вышла из бара и быстро пошла обратно, в гостиницу *Ideal*.

Потрясающе. Потрясающе. Меня приняли за бомжа. Разве я похожа на бомжа? Разве я одета в вонючее тряпье? Впрочем... как я одета? Джинсы, коричневые зимние ботинки, довольно потасканный свитер. Для европейского бомжа – в самый раз. К тому же еще этот полиэтиленовый пакет с непонятным барахлом в руках.

Уже подходя к гостинице, я заметила круглосуточный магазинчик с китайской едой. Сонная аутичная китайка упаковала мне в большую пластиковую коробку пережаренные куриные крылышки в каком-то сомнительном оранжево-желтом желе и салат из чего-то скользкого и зеленого. А еще я купила холодный чай – *Ice Tea* — в запотевшей жестяной банке.

Я вошла в гостиницу и подошла к арабу. Он спал, положив худое напряженное лицо на свои красивые смуглые руки.

⁶ Сожалею, но нам нечего вам предложить этим вечером (фр.).

– Онз, – произнесла я хрипло.

Онз. Одиннадцать. Это было волшебное слово. После него араб выдавал мне ключ от номера.

Очень хотелось спать.

Араб вздрогнул и проснулся. Несколько секунд таращился на меня, не узнавая. Потом сказал:

– Va d’ici.⁷

– Pardon?

Он быстро и изящно, по-кошачьи, выпрыгнул из-за деревянной стойки. Больно ткнул меня острыми длинными пальцами в грудь. И показал на дверь.

Он сказал:

– Casse-toi. Va te faire foutre.⁸

И вот тогда я посмотрела на себя в зеркало.

И вот тогда я посмотрела на себя в большое зеркало в позолоченной раме, которое висело в гостиничном холле.

И вот тогда все началось.

А меня не стало.

ЧАСТЬ 2

*Ты, чертище, вели своей чертище,
Чтоб она, чертища, распустила волосища;
Как жила она с тобой в челнище,
Так жил бы и он со своей женой в избище.
Чтоб он ее ненавидел.
Заговор на остуду между мужем и женой*

I ДЕТЕНЫШ

Гигантские шестеренки Ковра-Самолета снова пришли в движение, и нелепо разукрашенная махина, скрежеща, неохотно возвратила людей в естественное положение.

Мальчик вышел за ограду и оглянулся на огромную, уродливую, свежевыкрашенную башку старика Хоттабыча, невесть зачем прибитую к Ковру. Приятно кружилась голова.

Потом были Американские Горки... Страшеннько так. Щекотно под ребрами и в желудке. И все ужасно орали, даже взрослые. Даже мама. Хотя в целом ведь – ничего особенного.

На самом деле гораздо больше истеричных, бессмысленных американских горок Мальчику нравилась обыкновенная карусель – та, что располагалась в самом конце Чудо-града, с маленькими пластмассовыми креслами, подвешенными на длинных железных цепях. Это был его самый любимый аттракцион. Каждый раз, когда Мальчик приходил в Парк Культуры, он собирался первым делом идти туда, к Карусели. Но дойти до нее было непросто. Казалось бы, что тут такого? Входишь в огромную каменную арку ЦПКиО имени Горького, идешь вперед, огибая фонтан. Дальше – белоснежные ворота, ведущие в

⁷ Иди отсюда (фр.).

⁸ Катись отсюда. Проваливай (фр.).

Чудо-град. А дальше – от этих ворот прямо к Карусели тянется широкая прямая аллея, и идти-то по ней всего минут семь, не больше...

Но ни разу еще Мальчику не удалось сразу, быстро и целеустремленно, пройти по аллее до самого конца – туда, к своей цели. К летающим по воздуху креслам, к пронизывающему ветру, от которого слезятся глаза, к оглушительно-громкой попсе... *а-а-а он тебя цылу-ует, га-ва-рит, что любит, и на-чами обнима-а-а-ет, к сердцу прижимает, а-а-а я му-чи-юсь от бо-оли, са сва-ей любовью, фа-та-графии в альбо-о-о-ме...* к бездонным воздушным ямам, к визжащим девчонкам, к вертящемуся миру. Прямая аллея пестрила симпатичными коричневыми дощечками указателей («Кафе», «Авторалли», «Тир», «Кораблекрушение», «Американские Горки»), хитро ветвилась дополнительными тропинками, уводящими то вправо, то влево, к другим удовольствиям и развлечениям. А на обочинах продавали с лотков разноцветную сладкую вату, и мороженое, и кока-колу, и чипсы... Так что Карусель – чистый восторг, чистый полет, единственное, чем стоило бы заниматься весь день, раз за разом покупая узкий хрустящий билетик и выстаивая длинную очередь, – Карусель всегда оставалась на потом. Когда времени уже было в обрез и мать торопилась домой...

Вот и теперь они направлялись вроде бы к Карусели – но Мальчик остановился на полдороге, под указателем «Пещера Ужасов», и просительно поглядел на мать.

– Да зачем тебе? Это же для маленьких! – удивилась она.

– Но я же никогда еще там не был, – заныл Мальчик. – Ну ма-ам... Ну давай-ай...

– Может, лучше на Колесе обозрения покатаемся? – она указала влево, на застывшую в небе неповоротливую громадину.

– Нет, не хочу. Оно скучное. И вертится медленно.

– Ладно, – равнодушно пожала плечами мать, и они свернули вправо, к Пещере.

* * *

Очередь за билетами была длиннющая. Задрав голову и приоткрыв рот, Мальчик рассматривал огромные – в три человеческих роста – и нелепые фанерные физиономии, приколотенные к стене Пещеры. Их было четыре. Гигантские подбородки состояли из множества неровных брусочков – как бы вырезанные из камня в как бы скале. Лбы же были вполне гладкими – работая над ними, неизвестный скульптор, по-видимому, забыл, что вырезает по камню, а не лепит из папье-маше. Все четыре монстра были одинаково мрачными; трое – неопределенного пола, один – точно мужчина: с усами. Плотно сжав тонкие злые губы, все они пристально смотрели вдаль выпученными глазами.

– Мам, а кто это? – спросил Мальчик.

Лично ей физиономии казались очень знакомыми – про себя она идентифицировала их как Христофора Колумба, Петра Великого, Екатерину Вторую и президента Буша – однако кого на самом деле имели в виду авторы скульптурной группы, было неясно. Ее версия сразу отпадала – никакой логики в подобном подборе персонажей не наблюдалось. Всем историческим деятелям, за исключением разве что Колумба, нечего было делать на стене здания аттракционов. Впрочем, если вдуматься, Колумб тоже не имел ни малейшего отношения к детским страшилкам...

– Не знаю, – ответила мать. – Хотя вон тот, кажется, Буш, – добавила, не удержавшись.

– А-а, – понимающе кивнул Мальчик и потерял к физиономиям интерес.

Очередь двигалась медленно.

– Мам, а какой это дом? – спросил Мальчик.

– В смысле – дом?

– Ну, вот это здание, в котором аттракцион, – у него же есть какой-то номер? Номер дома? Или нет? Или на аттракционах не бывает номеров?

– Честно говоря, не знаю, – ответила мать.

– А можно, я сбегая, посмотрю?

– Нет, стой здесь. Мы уже почти у кассы.

Через минуту они действительно подошли к кассе, и она купила в окошке один билет.

– А ты что, со мной не пойдешь?

– Не пойду – чего я там забыла? Это же совсем для малышей... Вон, смотри, с трехлетними детишками оттуда мамы выходят.

– Ну, зато там, наверное, смешно, – неуверенно возразил Мальчик.

Он сам уже жалел, что притащился сюда и потратил столько времени зря. Судя по всему, в этом аттракционе ничего смешного – а уж тем более страшного – не было. Так, по крайней мере, казалось снаружи: в стене Пещеры, сверху, между физиономиями, было «вырублено» довольно большое окно, и в нем проплывали, раскачиваясь на толстом металлическом тросе, люди в дурацких красных креслах. Лениво улыбаясь, эти люди смотрели сверху на очередь в кассу, без энтузиазма махали друзьям и родственникам, или плевались, или кидали вниз фантики и снова ныряли в темноту Пещеры. Лица у них были какие-то вялые и рассеянные. Кажется, им было скучно.

– Все, иди, твоя очередь, – мать подтолкнула его ко входу в Пещеру.

Он вошел в узкий, тускло освещенный коридорчик и остановился – очередь продолжалась и там. Огляделся. Стены и потолок были покрыты какой-то черной пупырчатой гадостью, претендовавшей, кажется, на сходство со сталактитами. Поборов отвращение, Мальчик дотронулся до шершавой поверхности пальцем. Пенопласт. Стало совсем скучно.

– Я боюсь, – тихо сказала симпатичная кудрявая девочка, стоявшая рядом с ним.

– А чего тут бояться? Это же не взаправду? – удивился Мальчик.

– Там... там будут привидения. И скелеты, – пискнула девочка.

Она действительно выглядела испуганной.

– Да не бойся ты. Ну хочешь – сядем с тобой вместе? – предложил он.

– Хочу, – потупилась.

В продолговатые красные кресла сажали по трое.

– Чур я не с краю! – сказала кудрявая и уселась в середину, рядом с еще одной девочкой, толстой и некрасивой.

– А я с краю, – сказал Мальчик.

– побыстрее, ребята, побыстрее, – строго загундосил низкорослый таджик в синей спецовке – он проверял, все ли пристегнулись к сиденью.

Наконец тронулись. Медленно, со скрипом кресло поползло по тросу куда-то вверх и вбок.

– Ой, – тихо сказала кудрявая и прижалась к Мальчику.

Миновали неподвижного мужика с окровавленным топором. Потом куцее болотце с неподвижной же русалкой. Сбоку громко ухнуло привидение в белой простыне – кудрявая вздрогнула, потом засмеялась.

– Видишь, я же говорил: совсем не страшно, – сказал Мальчик.

Фредди Крюгер нерешительно протянул к ним длиннопалую когтистую руку – и тут же смущенно отдернул. Впереди наметился маленький журчащий водопад – но когда они проезжали под ним, вода, естественно, отключилась.

– И совсем неинтересно, – буркнул Мальчик.

– Вон! Вон он, скелет, – девочка, смеясь, показывала пальцем на белое существо впереди; оно нервно пританцовывало – так, словно очень хотело отлучиться по малой нужде.

Когда они проезжали мимо, скелет вдруг перестал суетиться, застыл и театрально захохотал. Девочки для порядка взвизгнули.

– Смотрите, гроб! – сказал Мальчик.

– Где? – заинтересовалась кудрявая, но, прежде чем он успел показать, тусклый свет в Пещере неожиданно погас, а все кресла остановились.

В темноте раздавались крики и смех.

– Сломался! Аттракцион сломался! – выкрикнул чей-то радостный голос. – Теперь мы

тут так и будем сидеть!

Через пять минут стало скучно. И тихо.

– Давай раскачиваться, – интимно шепнула кудрявая девочка ему в ухо.

От нее приятно пахло мятной жвачкой и каким-то фруктовым шампунем.

– Давай.

Они стали болтать ногами, раскачиваясь, – но уже через пару минут Мальчику это надоело.

Глаза его стали постепенно привыкать к темноте. Там, куда он все время смотрел – чуть ниже, немного справа, – на специальной подставочке стоял гроб. Настоящий дубовый гроб. Открытый.

И кто-то... что-то лежало в нем; нечеткий, обмотанный черными тенями силуэт постепенно вырисовывался из мрака. Медленно, миллиметр за миллиметром, проступали его ноги – худые, безвольно вытянутые... И руки – бледные, аккуратно сложенные на груди, крепко сжимающие погасшую электрическую лампочку в форме свечи... И лицо – зеленоватое, остроносое, тонкогубое, тихо... расплзающееся... в улыбке...

II ПУТЕШЕСТВИЕ

Я шла долго, очень долго. Я не думала ни о чем. В каком-то сквере, уже под утро, я расстелила прямо на земле, под деревом, пакет с надписью *Beneton* и стала поедать остывшую, пересоленную китайскую еду. Жадно, руками.

Наевшись, принялась вяло обдумывать ситуацию. Мои документы, обратный билет на самолет, одежда, большая часть денег и фотоаппарат остались в гостинице. Все это мне уже не достать.

Я раскрыла кошелек и пересчитала наличность. Примерно сто евро. И две тысячи рублей. Еще там было несколько моих визиток, теперь уже мне не нужных. И водительские права с фотографией, теперь уже не моей.

Остаток ночи и утро я провела там же, в сквере. Несколько раз просыпалась от холода. Часов в одиннадцать дня я, наконец, заставила себя подняться. Все тело болело. Что-то жидкое громко булькало и свистело в легких. Я закашлялась. Я кашляла долго и натужно, с облегчением сплевывая на землю большие зеленовато-желтые сгустки.

К полудню мне стало лучше.

Я сгрэбла книжку и кошелек в пакет и пошла в сторону центра. Мобильный куда-то пропал – но мне было все равно.

По дороге я зашла в магазин и купила табак, бумажки-самокрутки и две бутылки самого дешевого красного вина. Французские клошары пьют молодое красное вино. Отвратительно кислое.

Следующие два дня я слонялась по Парижу. Без всякой цели. Без всяких мыслей. Без особого удивления я обнаружила, что понимаю теперь их язык. И свободно на нем говорю. Свободно говорю по-французски чужим хриплым голосом.

А на третий день у меня появилась цель. Я вдруг поняла, что мне надо попасть домой. Кем бы я теперь ни была, мне надо ехать домой.

Денег у меня в кошельке еще хватало на то, чтобы купить билет до Кельна. А там, в Кельне, жили люди, которые должны были мне помочь.

Кем бы я ни была.

На вокзале *Paris Nord* было столпотворение. Поезд на Кельн задерживался из-за какой-то забастовки на железной дороге. Задрав голову, я рассматривала электронное табло с расписанием поездов, когда из толпы вдруг вынырнул потасканного вида и неопределенного

возраста человек с козлиной бородкой, дружески хлопнул меня по спине и проорал по-французски:

– Здорово, Кудэр!

От него исходил резкий козлий запах. Застарелого пота и застарелой кислятины.

Я сказала:

– Вы, похоже, ошиблись.

– Эй, да ты чего? – он снова дыхнул на меня козлиным.

Я отвернулась от него и пошла прочь, с трудом протискиваясь через нервно скучающую толпу. Он устремился за мной.

– Эй, Кудэр, мать твою! Кудэр, ты что, спятил?

– Да отвяжись ты! – я остановилась и посмотрела ему в глаза. – Чего тебе надо?

– Ни хрена себе... Ты что, правда меня не узнаешь?

– Правда. Не узнаю.

– Да я же Поль! А это вот – Алекс... – из-за его спины неожиданно вынырнул еще один облезлый субъект. Это был седой старичок с маленькими гноящимися глазами.

– Алекс, – захлебываясь, тараторил Поль, – посмотри, он нас не узнает!

Старичок подошел ближе и молча уставился на меня. Я заметила, что один его глаз полностью затянут большим голубоватым бельмом.

– Трансформированный, – сказал Алекс.

– Чего? – изумился Поль.

– Трансформированный. Я знаю что говорю. Пойдем отсюда. Кудэра больше нет.

– Вы что, оба с ума спятили? Если этот парень не Кудэр, то кто же он?

– Мари, – старичок хитро прищурил свой незрячий глаз. – Ты ведь Мари, да, крошка?

Он тихо захихикал, выставив напоказ гнилые огрызки зубов; мне показалось, что я действительно когда-то знала его.

На электронном табло высветился номер моего поезда. Я побежала к вагону – не слишком быстро, но они не гнались за мной.

Не гнались. Одноглазый Алекс только сипло смеялся мне вслед. И, смеясь, выкрикивал громко по-русски:

– Маша-растеряша! Эй, Маша-растеряша! Все растеряла! Хи-хи-хи! Уже не найдешь!

В поезде я откинула спинку сиденья и почти сразу заснула.

Во сне я видела ночную тропинку, белые камни и птиц. Я была очень близка к разгадке, еще ближе, чем раньше.

Когда я проснулась, мы уже ехали по Германии. Надо мной выжидательно склонился немец-контролер. Я протянула билет. Он внимательно, чуть удивленно изучил его, прокомпостировал и вернул мне. Забирая билет, я случайно коснулась его холеных прохладных пальцев. Отвращение мелькнуло в его глазах лишь на долю секунды, и тотчас же утонуло в невозмутимой арийской голубизне. Он пошел по вагону дальше. Я вспомнила про книгу в пакете.

* * *

...Когда они проснулись, в лесу было уже совсем темно. Заплакала Гретель и говорит:

– Как нам теперь найти дорогу домой?

– Погоди, – утешал ее Гензель, – вот взойдет месяц, станет светлее, мы и найдем дорогу.

И верно, скоро возшел месяц. Взял Гензель Гретель за руку и пошел от камешка к камешку – а блестели они, словно денежки, и указывали детям дорогу. Всю ночь шли они, а на рассвете пришли к отцовскому дому и постучались в дверь...

* * *

Я смотрела в окно поезда – на ровные дольки игрушечных немецких полей, на белые, желтые и зеленые домики у обочин... Я думала о своих родителях.

Мои родители эмигрировали в Германию в начале девяностых – несмотря на мои пламенные протесты. Они говорили о нищенской пенсии, об отсутствии перспектив, о том, что надо «смаываться из этой страны». Смотались...

Они поселились в Кельне. Немецкие власти выделили им социальное пособие, которого было более чем достаточно, чтобы арендовать двухкомнатную квартиру, покупать продукты в соседнем супермаркете и еще немного откладывать.

Перед ними открылись перспективы. Матери – врачу-окулисту с двадцатилетним стажем – на бирже труда предложили подстригать кусты в городском саду. Отцу – инженеру-конструктору – охранять маленькое складское помещение.

Языка они, естественно, не знали и на бесплатных двухмесячных курсах для иммигрантов выучить его не смогли. Они общались только с русскими. По большей части – с так называемыми «русскими немцами», которых в их многоквартирном панельном доме было превеликое множество. Эти шумные, энергичные, малообразованные тетки и мужики с Урала, из Сибири и Казахстана казались моим родителям, тихим интеллигентным евреям, инопланетными пришельцами. Родители беседовали с русскими немцами о распродажах, о ремонтных работах в доме напротив и о курсах валют.

Вечерами они смотрели канал РТР, транслировавшийся на Германию, слушали пластинки Окуджавы и пили чай с бергамотом.

К чаю папа нарезал и аккуратно выкладывал на блюдце маленькие кусочки банана и сникерса. В Германии это почему-то стало их излюбленным лакомством.

А перед сном они сортировали скопившийся за день мусор. Разделяли на три аккуратные кучки: в первой – бумажные отходы, во второй – пищевые, в третьей – металл, стекло и пластмасса. «Нельзя нарушать законы страны, которая тебя приняла», – говорил отец.

Они все время звали меня в гости. Но сами приезжали в Россию лишь пару раз. Организация, платившая им «социал», не одобряла подобных путешествий. Не одобряли и соседи, русские немцы, с удовольствием писавшие на полунемецком подробнейшие отчеты в соответствующие инстанции.

Возможно, они бы хотели вернуться. Но уже не могли – у них не было сил. Новая жизнь – симпатичные тележки в супермаркетах, полупустые автобусы с плюшевыми сиденьями и улыбчивыми пассажирами, отдельные урны для органического и неорганического мусора, непонятная немецкая речь и вежливые кассиры – эта жизнь как-то сразу заставила их съежиться, придавила, превратила в нелепых и жалких старичков.

В последний раз я видела их год назад. Папа, совсем седой, сутулый, суетливый, болтливый, нарезал мне в тарелочку бананы и сникерсы. Я отказывалась. Он упирался. Говорил: «Сначала попробуй, а потом уже говори нет». У него сильно тряслись руки. Правая дужка его очков была обмотана коричневой изолентой. Мама, в дурацком зеленом костюме с распродажи, с непривычно короткой стрижкой, с непривычно пустыми глазами, рассеянно и не к месту улыбалась и показывала фотографии каких-то совершенно неизвестных мне дальних родственников, живущих теперь в Баварии. Я приехала к ним на пятнадцать дней, но улетела через неделю. Сказала, что в Москве у меня срочная съемка. Не выдержала этого дикого сочетания острой жалости и мертвенной скуки. Теперь мне очень хотелось увидеть их...

Где-то минут за сорок до Кельна я наконец решилась. Я скрутила себе самокрутку, прошла в соседний вагон – для курящих, – выкурила ее там, скрутила еще одну, выкурила, вернулась в свой вагон, зашла в маленький опрятный сортир, закашлялась, сплюнула зеленую гадость в белоснежную раковину, а потом подняла голову и посмотрела на себя в

зеркало.

Я еще ни разу не смотрелась в зеркало с тех пор, как увидела свое отражение там, в гостинице.

Я не закричала.

Я только подумала, что пора бы уже перестать думать о себе в первом лице. Думать о себе – «я». Потому что это не я.

В зеркале перед собой я увидела отталкивающего вида мужчину. Лет сорока. Очень грязного и уставшего. Его одутловатое, опухшее, с резкими чертами лицо покрывала многодневная черно-седая щетина. Маленькие темно-карие глазки, угнездившиеся по обе стороны переносицы, были больными и злыми. Нос шелушился. Кожа – довольно смуглая. Черные, жирные, проволочно-курчавые волосы с редкими вкраплениями седины сползали, извиваясь, по шее и скрывались за грязным воротником.

Скорее всего, он был полукровкой. Наполовину француз, наполовину араб.

Он разделся до пояса. Впалая волосатая грудь. Сморщенные лиловые соски-пуговицы. Смуглый мешкообразный живот. Кривая дорожка коротких упругих завитков – от забитого грязью пупка до застежки на джинсах. И дальше, туда, вниз, вниз, туда, где уже не видно.

Он расстегнул ширинку, приспустил штаны и трусы и сразу почувствовал резкий кисло-соленый запах. Что-то вроде запаха завалявшегося на солнце козьего сыра и гнилых помидоров.

Под трусами обнаружился смятый комочек черной кудрявой растительности, из которого торчал, точно гриб-моховик, толстый короткий член. Красная блестящая головка, покрытая слизью, вяло выглядывала из синюшных морщинистых складочек крайней плоти. И еще этот запах. Запах.

Кудэр снова натянул джинсы, надел футболку. Вымыл лицо, шею и руки с мылом.

* * *

...встал Гензель с постели и хотел пойти во двор, чтобы набрать камешков, как в прошлый раз. Но мачеха заперла дверь, и Гензель не смог выйти из хижины.

Рано утром мачеха разбудила их и дала им по куску хлеба. Пошли они в лес, а Гензель по дороге крошил хлеб в кармане, останавливался и бросал хлебные крошки на дорогу...

* * *

В одной из урн рядом с Кельнским собором обнаружили две банки, почти до половины заполненные пивом. Он выпил их, покопался в мусоре еще, но больше выпивки не было.

Он присел на ступеньки собора, положил лохматую голову на руки и затрясся всем телом. Наверное, кашлял. Или рыдал. Или и то, и другое сразу.

Через некоторое время Кудэр почувствовал, что кто-то трогает его за плечо. Он затих. Потом медленно поднял злое, мокрое лицо. Девочка лет пятнадцати, с маленькими металлическими колечками в бровях, носу и нижней губе, протягивала ему монетку. Один евро.

Он взял.

III ДЕТЕНЫШ

Наверху что-то заскрежетало, заискрившись, хлопнуло. Кто-то из детей вскрикнул, все стали задирать головы, тщетно пытаясь что-нибудь разглядеть. Мальчик не смотрел вверх. Он смотрел туда, на мертвеца, и на электрическую лампочку в его руках. На лампочку, которая вдруг зажглась – одновременно с этим хлопком наверху, – и мерцала теперь в

бледных дрожащих руках, покачиваясь, наклоняясь, истекая ароматным воском...

Мальчик закрыл глаза. Что-то снова гроыхнуло, противно затрещало сверху.

– А вдруг трос порвется и мы свалимся вниз? – прошептала ему на ухо кудрявая девочка. – Мне страшно.

Ее волосы легонько щекотали Мальчику щеку. Но ее запаха – фруктового шампуня и мятной жвачки – он уже не ощущал. Только запах этой дрожащей свечи, такой сильный, настырный запах... и очень знакомый... Вспомнил. В Пещере Ужасов теперь пахло точно так же, как в церкви. А чем пахнет в церкви? Воском, ладаном, что ли?.. Главное – не открывать глаза...

– Мне страшно, – настойчиво повторила девочка.

Он хотел придвинуться к ней поближе. Он хотел сказать ей: «Не бойся». Он хотел сказать: «Трос очень крепкий, он не может порваться». Но он не успел. Холодная, такая холодная, ледяная рука погладила его по лицу, потом больно сжала шею, вцепилась в него мертвой хваткой, мертвой...

Ловко, уверенно, беззвучно Мертвец выдернул Мальчика из хлипкого пластмассового кресла и быстро потащил за собой – вниз, вниз, вниз.

IV ПУТЕШЕСТВИЕ

Что он должен был им сказать? «Здравствуйте, мамочка и папочка»? «А вот и я»? «За последний год я сильно изменилась, но вы не обращайте внимания»?

Он позвонил. По ту сторону засуетились, удивленно зашаркали. Кто-то покорно поволочил тапочки к двери. Наконец шарканье стихло. Желтый дверной глазок напряженно почернел, заполнился недоверчивой темнотой человеческого зрачка.

Он громко сказал, глядя в эту черную точку:

– Добрый день. Я – друг вашей дочери, Маши. Я от Маши.

Неприятное отрывистое эхо разнеслось по лестничной клетке. Маши... Маши... аши...

С той стороны что-то царапнулось о стену, глухо звякнуло, и дверь приоткрылась настолько, насколько позволяла цепочка. Некоторое время отец молча изучал его через образовавшуюся щель. Потом отвернулся и неуверенно крикнул:

– Лиза, пойди сюда, тут какой-то человек...

– Что за человек? – без интереса откликнулась мать откуда-то из глубины квартиры.

– Не знаю, – отозвался отец.

– Что значит: не знаешь? Насчет страховых полисов, что ли?

– Нет, – ответил отец. – Он говорит: от Маши.

Лоснящееся от крема и пота лицо матери показалось в дверном проеме. Она смотрела немного испуганно:

– Вы кто?

– Здравствуйте, я Машин друг. Приятель. Дело в том, что Маша сказала мне... Я тут проездом, понимаете? Мы сначала были вместе с Машей в командировке в Париже, а потом она улетела домой, в Москву... А у меня еще здесь, в Германии, дела... Понимаете?

Понимаете? ...нимаете? ...маете?..

Отец и мать настороженно молчали.

– Ну так вот, и она, Маша, сказала мне, что я мог бы у вас остановиться... на денек. Она ведь вам звонила, предупреждала, правда?

– Никто нам не звонил, – ответила мать ровным, слегка металлическим голосом.

Кудэр помнил, знал этот металл: он всегда появлялся, когда она волновалась.

– Да? Ну, значит она не успела... Или забыла... Я могу войти?

– Кто вы? – снова спросила мать так звонко, что Кудэр вздрогнул и почувствовал во рту кислый вкус железяки.

Полагал ли он, что они узнают его и таким? Конечно, нет. Надеялся ли, что, даже не

узнав, почувствуют в нем свое, родное, примут без колебаний, напоят чаем с бананом и сникерсом? Конечно, надеялся. Да что там надеялся, рассчитывал на это. Поэтому даже не счел нужным подготовить какие-то мало-мальски вразумительные объяснения своего появления. Своего существования.

– Как вас зовут? – спросила мать.

Потом повернулась к отцу и громким прерывистым шепотом заговорила с ним. На лестничную клетку просачивались с шипением отдельные слова.

Откуда... кажется... весь в грязи... странно пахнет... откуда... может знать Машу... не может... таких знакомых... что-то не то... звонить в полицию... или что-то с ней сделал... плохое предчувствие... что-то... плохое предчувствие... мое сердце... чувствует...

– Меня зовут Антон.

– Мы никаких Антонов не знаем, – сказала мать. – У Маши нет таких знакомых.

Впервые за много лет ему остро, пронзительно-остро захотелось обнять маму – и чтобы она его обняла.

– Может, давай позвоним ей в Москву? – дрожащим от волнения голосом предложил отец, – спросим, что да как.

– Конечно, давай позвоним. Тем более мы уже давно не звонили, – жизнерадостным алюминием откликнулась мать.

Кудэр подумал, что они похожи на школьников, очень неумело разыгрывающих дурацкую сценку из новогоднего спектакля.

– Дома не берет трубку, – спустя пару минут сообщила мать. – А мобильный телефон отключен.

– Можно мне войти? – снова спросил Кудэр и почувствовал, что надвигается очередной приступ кашля.

– Нет, нельзя, – твердо сказала мать.

– Уходите, – сказал отец.

– Ну пожалуйста! – почти крикнул Кудэр и тут же согнулся пополам и начал кашлять – громко, безнадежно, остервенело.

Каждый хриплый вдох, каждый отвратительный выдох дробился и умножался кафельным эхом лестницы.

Сквозь едкую пленку слез, налипшую на глаза, он снова взглянул в лицо матери – чужое, расплывающееся, меняющее свои очертания в полосе уютного электрического света.

– Лиза, закрой дверь, он наверное, заразный, – сказал ей отец.

Кудэр увидел, что светлый промежуток, связывающий его, корчащегося на лестничной клетке, и родителей, шепчущихся там, внутри, сокращается, сокращается, становится уже. Мать медленно закрывала дверь.

Откуда-то извне, незнакомая, сумасшедшая, пришла ярость. Кудэр бросился к ним, грязными, липкими от пива пальцами вцепился в дверь, резко рванул ее на себя. Неуверенно брякнула натянутая цепочка. Кудэр просунул руку внутрь и стал быстро-быстро тереть эту цепочку, дергать из стороны в сторону, пытаюсь отстегнуть.

– Впустите меня! Немедленно впустите меня! – хрипел он. – Дайте мне поесть! Вы должны меня накормить! Вы должны меня узнать! Вы не можете меня прогнать! Вот так вот взять и прогнать!

Прогнать ...рогнуть ...огнать...

– Он сумасшедший! – взвизгнула мать. – Полицию! Яша, звони срочно в полицию!

– Сейчас-сейчас, – спокойно ответил отец, – вот только... поправлю тут кое-что... дверку закрою...

Боль – мгновенная, непонятная, настолько сильная, что даже как будто ненастоящая и чужая, – заполнила руку Кудэра, резкими холодными волнами отдалась в голове, в груди, в позвоночнике. Казалось, что его пальцы воткнули, точно в зимнюю варежку, в огромную глыбу льда.

Он завыл, отпустил дверную цепочку и отдернул руку. Она была ярко-красная, с белыми островками вздувшейся кожи. От нее остро пахло мясным бульоном.

– Кипяточком... из чайничка... – услышал он точно во сне деловитый голос отца, прежде чем дверь перед ним захлопнулась.

Пока приезжала и уезжала полицейская машина, он отсиделся в кустах рядом с детской площадкой.

* * *

... – Погоди, Гретель, вот скоро луна взойдет, мы и отыщем дорогу по хлебным крошкам.

Когда вошла луна, отправились они искать дорогу. Искали ее, искали, но так и не нашли. Тысячи птиц летают в лесу и в поле – и они все их поклевали...

* * *

На следующий день, ближе к вечеру, он вернулся туда.

Кусты были очень удобные. Без листвы, но густые и ветвистые, они образовывали прекрасное укрытие. И при этом позволяли хорошо видеть подъезд.

На всякий случай Кудэр пришел немного раньше. Отец обычно выходил в супермаркет около пяти, так что оставалось еще минут двадцать в запасе. В прошлом году, когда он... нет, когда она приезжала к родителям в гости, старик ходил туда каждый день. За сникерса-ми, ну и просто прогуляться. Кудэр надеялся, что за это время привычки отца не изменились.

Он посмотрел на свою руку. Белые пузыри отслоившейся кожи полопались и обмякли, образовав неровные скукоженные воронки. Через дырочки в этих воронках виднелись маленькие островки нежно-розового, поросычьего. Дотрагиваться до руки он не мог. Даже прикосновение к ней воздуха – легкие порывы ветра – были болезненными.

Возможно, ее нужно было обмотать чем-то. Стерильным. И уж точно чем-то намазать. Каким-нибудь специальным кремом от ожогов.

Сегодня. Сегодня у него наверняка появятся деньги, и он сделает все как полагается. Приведет себя в порядок.

Хлопнула дверь в подъезд. Кудэр вздрогнул и посмотрел в просвет между ветками.

Отец вышел из дома и неторопливо зашагал по направлению к магазину. Выбравшись из укрытия, Кудэр пошел следом.

Отец очень любил прогулки. Он полюбил их двадцать лет назад – после того, как почти год ему пришлось провести в инвалидной каталке.

После того, как врач с дежурным, протертым до дыр сочувствием сказал ему, что он, вероятно, уже никогда не будет ходить. После того, как жена металлическим голосом сказала ему, что останется с ним, что бы ни случилось. И что она все простила.

Все простила...

Продолжая следовать за отцом, Кудэр слегка замедлил шаг, извлек из кармана недокурный бычок, чиркнул спичкой. Сдержав кашель, глубоко, до тошноты затянулся, впуская в себя далекие, теперь уже не свои, чужие воспоминания – едкие и бесформенные, как дым...

... – Не при ребенке! Давай хотя бы не при ребенке!

Отец заметно нервничал. У него тряслись руки, он говорил очень громко и неестественно – как будто рассказывал детскую сказку, – а взгляд был затравленный и в то же время какой-то пугающе безразличный, почти сонный.

Маша никогда еще не видела его таким. Она стояла, прижавшись к стене кухни, не

желая оставаться, не решаясь выйти, заткнув обеими руками уши – но не плотно, так, чтобы все равно слышать, о чем они говорят. Кричат. Шипят.

– О ребенке тебе раньше надо было думать!

У матери было красное, все в испарине и слезах лицо и какие-то чужие, как показалось Маше, губы. Верхняя как будто бы стала тоньше и бледнее, а нижняя покрылась мятой, шершавой, темно-бурой корочкой.

– Много ты думал о ребенке, когда с этой своей...

– Замолчи!

– Когда ты. С этой. Своей. Как ее. Там.

– Заяц, иди, пожалуйста, в свою комнату, – он повернул голову к дочери, но не посмотрел на нее, не решился.

«Заяц. Он называет меня “зайцем”, потому что у меня неправильный прикус и передние зубы торчат вперед», – с тоской подумала Маша и осталась стоять на месте.

– Мария, иди к себе, – сказали чужие шершавые губы.

Маша повиновалась, медленно пошла. Уже на пороге своей комнаты она услышала, почувствовала затылком, волосами и позвоночником, как те же губы сказали «мразь», и еще сказали «ненавижу», и «убирайся». Сказали папе.

Он лихорадочно собрал какие-то ненужные вещи – в основном почему-то носки и галстуки – и ушел. Вечером позвонил; Маша подошла к телефону. Он сказал:

– Заяц, меня какое-то время не будет рядом. Просто нам с мамой надо пожить отдельно. Это не значит, что я тебя бросаю. Понимаешь?

– Понимаю, – сказала Маша.

– Мы будем с тобой встречаться. Очень часто. Хорошо?

– Хорошо.

– Помогай маме.

– Да.

– Ну... ладно. Пока, зай. Я еще позвоню. Хочешь – завтра? – Хочу.

Но он не позвонил. Вроде бы именно на следующий день это и случилось. Или, может быть, через день.

Подробностей Маша не знала. Знала только, что машина, в которой ехал отец и Эта, столкнулась с другой машиной. Отца долго не могли вытащить наружу, потому что какой-то железкой ему придавило ноги.

Зато Эту вытащили сразу – и больше о ней никогда не говорили.

О людях в той, другой машине, не говорили тоже.

Мать все время была рядом с ним. Он принимал ее помощь вежливо и безучастно. И у него все время было такое лицо... Такое, будто он давно уже понял, что спит, и вполне успокоился – вот только совершенно не представлял, как ему теперь просыпаться.

Через полгода его ноги, бледные беспомощные ноги в синих тренировочных штанах, стали тонкими, как у ребенка. Еще через пару месяцев ему сделали очередную операцию.

Через год его колени, разукрашенные сеточкой мелких красноватых шрамов, снова стали сгибаться и разгибаться. Он радостно объяснил Маше, что это потому, что ему в коленные чашечки вставили какие-то специальные, очень тонкие металлические штырьки.

– Но их ведь потом вытащат? – испуганно спросила она.

– Нет, – ответил отец и улыбнулся. – Зато я смогу ходить.

– И... что, у тебя колени будут скрипеть и лязгать при ходьбе? – Маша представила себе Железного Дровосека с лицом и улыбкой отца.

– Конечно, нет. Просто я теперь снова буду ходить. Может быть, не так быстро, как раньше, но буду...

...Отец шел медленно. Как всегда – медленно и осторожно. Он миновал маленький,

безлюдный бюргерский дворик и зашел в подворотню. Дальше – насколько помнил Кудэр, после этой подворотни направо – был магазин.

Кудэр лениво взглянул на удаляющуюся сутулую спину отца и замедлил шаг, позволяя ему уйти.

Здесь. Это место.

Выждав немного, он добрал до подворотни и устало прислонился к холодной каменной стене с неопрятным граффити. Толстолапые сине-зеленые буквы, извиваясь, слиплись в клубок: *Transformation*. Он в последний раз затянулся, выбросил докуренный до фильтра бычок и сплюнул себе под ноги вязкую горьковатую слюну – вместе с размякшими крошками недавно съеденной булки, вместе с ошметками бесхозных, прогоркших воспоминаний. Потом прикинул, сколько ему здесь торчать. Четверть часа, не больше.

Отец вошел в подворотню через десять минут. В руке он держал пакет с надписью *Mueller*. Тихо и озабоченно бормотал себе что-то под нос. Лицо у него было бессмысленное и немного радостное, как у слабоумного.

Кудэр медленно, с усилием отлепился от стены и преградил ему путь. Несколько секунд они молча смотрели друг на друга.

– Я позову полицию, – не то испуганно, не то раздраженно сказал отец и поправил на переносице очки.

– Нет. Не позовешь.

– Я...

– Заткнись. Тут никого нет. Посмотри лучше сюда, папа. Жалко зайчика?

Кудэр сунул отцу под нос свою опухшую ошпаренную руку, и тот покорно уставился на нее. Другой, здоровой, рукой Кудэр ударил его по лицу. Несильно.

Пластмассовая дужка очков с тихим треском отломилась от толстой роговой оправы и повисла на клейком лоскутке изоленды. Старик изумленно ойкнул, снял очки и отступил на шаг. Кудэр тоже немного отошел, наклонил голову набок и стал внимательно рассматривать чистые кремовые отцовские брюки, купленные на распродаже за семь евро. Затем снова приблизился и точным, резким движением лягнул его в правое колено, оставив смазанный бурый отпечаток подошвы на светлой ткани. Отец тонко, по-детски вскрикнул и упал на асфальт. Кудэр подошел к нему вплотную и ударил в левое колено. И потом снова в правое. Туда, где, как он знал, было с десятков красноватых шрамов. Туда, где маленькая удобная железка скрепляла какие-то важные косточки и сухожилия. Туда.

Прозрачная пластиковая упаковка с замурованной внутри гроздью неспелых бананов вывалилась из пакета на землю. Кудэр подобрал ее, аккуратно засунул обратно. Потом нагнулся, вытащил бумажник из заднего кармана скулившего у него под ногами старика, пересчитал деньги. Положил бумажник туда же, к бананам, – и ушел, весело помахивая пакетом с надписью *Mueller*, точно школьным портфелем.

V ДЕТЕНЫШ

Жарко. Очень жарко. Это было первое, что Мальчик почувствовал. А потом он почувствовал, что лежит на спине совершенно голый, на чем-то твердом, горячем и неприятно скользком.

Мальчик инстинктивно прикрылся рукой. Повернулся на бок, поджал под себя ноги, а потом уже открыл глаза. В комнате было довольно темно – он даже не мог понять, какого она размера. Однако тот участок помещения, где лежал Мальчик, был освещен. Вкрадчиво потрескивало горящее дерево – где-то совсем близко. И в отблесках огня что-то... или, вернее, кто-то... Мальчик зажмурился.

Потом снова открыл глаза. Какое-то уродливое волосатое существо стояло рядом с ним и шумно его обнюхивало.

– Фу, что за вонь! – существо пару раз чихнуло и отступило в темноту.

Мальчик осторожно втянул носом воздух. В помещении, где он находился, стоял резкий запах хвои, костра и подгоревшего жира. И еще каких-то трав... Но все-таки вонью это было сложно назвать; запах казался скорее приятным...

Мальчик попытался встать, но ноги беспомощно заскользили в какой-то жидкости – ему показалось, что это подсолнечное масло, – а пол словно заходил ходуном. Приглядевшись, он понял, что под ним не пол, а что-то вроде огромного чугунного подноса. Поднос был подвешен к массивному крюку на потолке на четырех железных цепях. При каждом движении Мальчика цепи слегка качались, поскрипывая.

Он осторожно уселся на корточках. Ступням было очень горячо.

В следующую секунду Мальчик понял, где находился костер. Прямо под ним.

«Закричать, – подумал Мальчик, – кричать, кричать, кричать». И продолжал тихо сидеть на корточках.

– Меня тошнит, – сказал высокий, капризный голос из темноты, – от этого запаха.

– Меня тоже, – поддакнул второй, еще более писклявый.

– Потерпите, – пробасил в ответ голос, который принадлежал, как показалось Мальчику, чихавшему существу.

– Зачем я должен терпеть? – не унимался писклявый, – что это вообще?

– Мясо, – раздраженно сказала существо.

– Какое мясо?

– Живое.

– Как это – живое?

– Настоящее.

На некоторое время разговор затих. Кто-то сосредоточенно сопел в углу.

– А что все-таки значит: настоящее?

– Это значит – человеческое. Живого человека.

Мальчик почувствовал, что к хвойному аромату примешивается теперь явственный запах паленой кожи. Его кожи. Он закрыл глаза и тихо заплакал.

Что-то скрипнуло – кажется, входная дверь – и в помещение вошел еще кто-то.

– Человечьим ду-у-ухом пахнет, – неприятно подвывая, пропел старческий надтреснутый голос.

Мальчик услышал, как чьи-то шаркающие шаги приближаются к нему. Мелко-мелко трясущиеся, холодные пальцы провели по его лицу.

Мальчик открыл глаза.

Перед ним, навсегда согнувшись в поясице, стояла отвратительная горбатая старуха, шурила и без того малюсенькие слезящиеся глаза и улыбалась влажно-мерцающими в свете костра лиловыми деснами. Из верхней, впрочем, кокетливо высовывался единственный зуб: длинный и желтый. Нос старухи, своей формой и пористостью напоминавший чудовищных размеров гриб-мутант, с шумом и свистом втягивал в себя и выталкивал наружу горячий, продымленный воздух. Она была одета в старомодное платье с вышивкой, длиной чуть ниже колен. На ногах – трухлявые башмаки с острыми загнутыми носами. Ноги у старухи были разные. Одна обтянута сухой пожелтевшей волосатой кожей. Другая – без кожи вовсе. Просто белая матовая кость. В башмаке.

Мальчик громко, пронзительно завизжал.

– Человеческий детеныш, – констатировала старуха. – Где вы его взяли?

– Мертвец принес из Чудо-града, – откликнулось из темноты у нее за спиной чихавшее существо. – Мы его сейчас съедим.

Старуха протерла слезящиеся глаза неожиданно белоснежным шелковым платочком, шамкнула несколько раз беззвучно, словно пробуя какое-то невысказанное пока слово на вкус, и захихикала – неприятно, с присвистом.

– Нет, – все еще хихикая, сказала она.

– Как это – нет? – изумилось существо, и, шагнув из темноты, приблизилось к

Мальчику. Следом за ним, громко топоча босыми ступнями по дощатому полу, на свет выбежала целая стайка малюсеньких суетливых карликов, с кривыми ногами и непропорционально большими головами.

– Нас тошнит, тошнит! – запищали карлики.

– Что значит – нет? – снова спросило существо, три раза оглушительно чихнуло и тут же – вдогонку – рыгнуло.

– Да то и значит, – сварливо ответила старуха. – Не надо его есть.

– Почему это? – существо повысило голос.

– Потому что я против. Он мне нравится.

– Но... если мы его не съедим... что же мы с ним будем делать?

– Оставим у нас. Будем воспитывать. Я могу взять его к себе, – сказала старуха. – Я люблю маленьких мальчиков. И, кстати, снимите его с костра. А то он и вправду сейчас поджарится.

– Не сниму, – ответило существо. – Я есть хочу.

– И мы, и мы хотим есть! – завопили карлики.

– Ну тогда я сама, – сказала старуха, и ловко подцепив Мальчика большими когтистыми руками, сняла его с костра и положила на пол рядом с собой.

– Ах ты старая карга! – заорало существо и бросилось на старуху. – Сука! Уродина одноногая!

Какое-то время они катались по полу, нанося друг другу слабые неуклюжие удары. Карлики, повизгивая, повалились сверху и тоже принялись дубасить и их, и друг друга мелкими кулачками.

Мальчик лежал неподвижно и смотрел.

– Ну ладно, хватит уже, Костяная, – устало просипело из клубка подергивающихся тел волосатое существо.

– Согласна. Хватит уже, Лесной, – пыхтя, откликнулась старуха.

– Эй, отвалите, – прикрикнул Лесной на карликов.

Те продолжали самозабвенно молотить кулаками.

– Я вам что велел?! – угрожающе тихо сказал Лесной.

Карлики, испуганно залопотав, отползли в стороны. Только один продолжал увлеченно долбить кулачком старухину ногу-кость.

– Ты меня не слушаешься, – мягко, по-отечески сказал ему Лесной. – Сейчас я тебя убью.

Двумя пальцами он обхватил тоненькую шею карлика и поднял его в воздух. Карлик, испуганно пища, задрывал ногами. Лесной сжал пальцы. Писк перешел в хрип. Лесной сжал сильнее. Несколько раз конвульсивно дернувшись, карлик тихо обмяк в его руке.

– Будете знать, – наизидательно произнес Лесной и бросил маленькое бездыханное тельце на пол, рядом с Мальчиком.

Старуха задумчиво посмотрела на трупик, потом на Мальчика. Повернулась к Лесному и сказала:

– Послушай. Насчет детеныша. Пусть нас Бессмертный рассудит.

* * *

– Мальчик, ты чей? – снова спросил Бессмертный громким сиплым шепотом.

– Я... Я – мамин, – ответил Мальчик.

– Господи, что за дурак! – устало просипел Бессмертный. – Ну хорошо. Как тебя зовут? Мальчик промолчал.

– Как, говорю, тебя звать, мальчик? – Бессмертный постарался шептать громче.

– Нельзя говорить незнакомым людям свое имя, – ответил Мальчик.

– Ваня его зовут, – вмешалась старуха.

– Молчи, Костяная. Я пока тебя не спрашивал.

– Я не Ваня, – обиженно сказал мальчик.
– Ты ври, ври, да не завирайся, – сказал Бессмертный. – Что значит – «не Ваня»? Ты же мальчик?

– Мальчик.

– Человек?

– Человек.

– Ну так значит ты – Ваня. Только ты мне об этом сам должен сказать. Давай еще раз. Я тебя спрашиваю: как тебя звать, Мальчик?

– Незнакомым людям...

– Да ты, Ваня, не беспокойся. Я не человек, – ухмыльнулся Бессмертный. – Так что ты вполне можешь мне представиться. Итак. Скажи мне, как тебя зовут?

– Я не Ваня, – тихо сказал Мальчик, и его губы сами собой скривились, хотя он очень старался не заплакать. Крупные горячие слезы потекли по лицу, предательски повисли на кончике носа и подбородке.

Бессмертный тяжело вздохнул и раздраженно махнул рукой.

Он был очень стар, невероятно стар. Настолько, что мог говорить только шепотом. Настолько, что через его изможденное тело при желании можно было разглядеть предметы, которые стояли позади. Тощие, почти прозрачные руки и ноги непрерывно тряслись: вероятно, он страдал болезнью Паркинсона. Яйцевидная, лысая, обтянутая тонкой пленкой кожи голова непроизвольно кивала, словно все время соглашалась с чем-то.

Бессмертный повернулся к старухе:

– Слушай, да на кой черт он тебе сдался? По-моему, он абсолютный дурак.

– Он еще маленький, – сказала Костяная. – С возрастом он изменится.

Бессмертный посмотрел на нее без всякого выражения своими древними выцветшими глазами и несколько раз кивнул – не в знак согласия, а так, от старости.

– Отдай мне детеныша, Бессмертный, – продолжила старуха.

– Что ты будешь с ним делать?

– Я его воспитаю. По нашим законам.

– Зачем тебе это?

Старуха нахмурилась. Потом сказала неохотно:

– Было одно предсказание.

– Ай, да что мне эти твои предсказания... – раздраженно, одними губами прошелестел Бессмертный. – Устал я. Дай-ка присяду.

Бессмертный отступил в темноту и завозился там, кряхтя. Задел что-то: послышался звук разбитого стекла.

– Да включите вы свет нормальный, ебен-ть! – зашипел Бессмертный. – Шею можно сломать.

Костяная отступила в темноту, к стене, нащупала выключатель и ткнула в него длинным скрюченным ногтем. С десятков продолговатых трубочек-ламп дневного света, жужжа, засияли на потолке. В помещении стало ядовито-светло, как в операционной. Карлики сморщились и запищали, заслоня маленькими ладошками глаза.

– А костер потушите, – устало прошептал Бессмертный.

– Как это – потушите? – взвизгнул Лесной. – Да что же это такое делается? А зажарить? А съесть?

– Какой-то ты сегодня чересчур кровожадный, Лесной.

– Да я...

– Он гномика убил! – завопили вдруг хором карлики. – Он троллика убил! Троллика-гноми-ка! Гномика-троллика!

Бессмертный брезгливо покосился на труп карлика на полу.

– За что ты его?

– Да вот... Ослушался.

– А, ну-ну, – Бессмертный зевнул. – Пойду я, наверное, восвояси. Спать хочется. Да и девка у меня там...

– Гномика! Тролля! – визжали карлики.

– Заткнитесь, – сказал Бессмертный и направился к выходу. – А ты это... – он повернулся к Лесному, – Ваню не трогай. Пусть остается.

Дверь за стариком медленно, со скрипом закрылась.

– Ха. Ха. Ха. – громко и зло сказала старуха. – Ну что, съел?

– Да иди ты... – отмахнулся Лесной.

– Вот и пойду, – сказала Костяная. – Пойдем, Ваня.

Она взяла Мальчика за руку и вывела на улицу.

Лесной посмотрел им вслед. Невесело сплюнул на бревенчатый пол.

– Ну-ка, вы, шестеро, идите сюда! – приказал он карликам.

Они нерешительно подошли.

– Знаете, что это? – Лесной продемонстрировал им длинный железный прут, заостренный на концах.

– Волшебная палочка?

– Нет. Не угадали. Это – шампур.

Карлики стояли словно парализованные и испуганно рассматривали прут.

– Сампур, – тихо шепелявя, повторил один из карликов.

Лесной по очереди насадил их на острие и, медленно поворачивая над угасающим костром, зажарил.

VI ПУТЕШЕСТВИЕ

В гостиничном номере, который снял Кудэр, было даже довольно уютно. Все в светло-бежевых тонах, на стенах – какие-то жантовые пейзажики в аккуратных картонных рамках. Кроме того, там был маленький холодильник с мини-баром, телевизор и, главное, – ванна. Настоящая, большая, нелепая светло-розовая ванна, которую он на две трети заполнил водой.

Он не принимал ванну уже больше недели, и теперь ему захотелось оттянуть удовольствие. Когда воды набралось достаточно, Кудэр завинтил кран и вернулся в комнату. Засунул в холодильник отцовские полужелтые бананы, четыре сникерса, упаковку колбасы и картонную коробочку с каким-то хитрым плавленым сыром, начиненным перцем, чесноком и укропом. Разложил на журнальном столике купленные по дороге бинты, вату, обезболивающее и мазь от ожогов. Потом вытащил из бара запотевшую зеленую бутылку с пивом, открыл, с наслаждением прислушался к короткому дружескому шипению и, зажмурившись, слизнул с ледяного горлышка мягкую горьковатую пену. Потянулся за пультом, включил телевизор. Сделал два больших глотка пива и развалился было в большом плюшевом кресле в углу, но мысль о ванне – о теплой, прозрачной, готовой принять его в себя, укутать, запеленать и укачать, как грудного младенца, воде, – уже через пару секунд согнала его с места. Кудэр отнес недопитую бутылку в ванную и поставил на белый кафельный пол, в маленькую блестящую лужицу воды.

Потом он разделся догола, поморщившись от запаха собственного тела, открыл две маленькие гостиничные упаковки с шампунем, и еще две – с крохотными вонючими брусками мыла, отправил содержимое всех четырех упаковок в воду и, не стараясь даже убрать с лица идиотскую ухмылку, забрался в ванну сам.

Наслаждения не было. Только обидная, острая боль в руке. Соприкосновение воспаленной, полопавшейся кожи с мылом и хлоркой. Почти плача, Кудэр нашарил в мгновенно почерневшей воде растаявший мыльный кусочек, вынул из ванны пробку, включил душ и здоровой рукой намылился, размазывая по незнакомому волосатому телу коричневую слякоть.

Наконец выключил кран и неловко выбрался из ванны, опрокинув злосчастное пиво на пол. Пиво, которое он собирался прихлебывать из горлышка, нежась в теплой воде. Выругавшись, Кудэр сдернул с батареи белое махровое полотенце и, случайно задев жесткими накрахмаленными ворсинками ошпаренную руку, скривился от боли.

Волдыри выглядели хуже, чем с утра. Он не смог бы даже объяснить, чем именно хуже, но что-то явно было не так. Цвет, размер?.. Приглядевшись повнимательнее, Кудэр наконец понял, что изменилось. Маленькие, ярко-розовые, как поросычья шкурка, пятнышки, которые он обнаружил на руке утром, теперь поблекли, помутнели и приобрели какой-то сизо-зеленоватый оттенок.

Кудэр покрыл больную кисть густым слоем мази и плотно замотал бинтом.

Боль немного утихла.

* * *

В номере стало душно. Он открыл настежь окно, но и там, на улице, воздух был теплым и влажным, как в парной. Кудэр посмотрел вверх – на темные, маслянистые и густые, как ртуть, тучи. И тут же почувствовал, как от этой небесной свинцовой тяжести у него начинает болеть голова.

Он проглотил две таблетки обезболивающего и, не одеваясь, растянулся на широкой, пружинистой кровати – прямо поверх покрывала. Уже засыпая, он услышал отдаленные громовые раскаты и скорее почувствовал, чем увидел, как за окном полыхнула молния. Начался ливень. Крупные частые капли падали на крыши домов, на газоны и на асфальт с треском и громким шипением. Звук был такой, как будто там, снаружи, кто-то готовил на безразмерной раскаленной сковородке гигантскую яичницу...

«Дождь – это хорошо, – подумал Кудэр сквозь сон, – станет легче... кому-то станет легче... даже если в легкой одежде... и ночью... лес...»

...Я была там, в лесу. Моросил дождь, но облака не заслоняли луну; она была яркой и белесовато-желтой, точно лампа дневного света. Жирные, раскормленные воробьи и голуби облепили всю тропинку. Их мокрые перья топорщились в разные стороны, обнажая участки тонкой, полупрозрачной птичьей кожи.

Они клевали хлебные крошки, копошились и дрались прямо у моих ног. Они не боялись меня – они попросту меня не замечали. Большой белый голубь, закрыв от удовольствия круглые змеиные глаза, давился хлебной коркой, опершись прямо на мою ногу своей прохладной перепончатой лапкой. Я пнула его в бок. Продолжая давиться, голубь недовольно курлыкнул и клюнул меня в косточку на щиколотке.

Дождь усиливался. Я была одета в тонкое летнее платье, и оно неприятно липло к спине и животу. Я стояла на тропинке давно. Я очень замерзла.

Зато я была собой.

Наверху что-то затрещало; поползла по швам плотная небесная ткань, приоткрыв на секунду ослепительную электрическую белизну по линии разрыва. Затем снова склеилась, срослась.

Напуганные молнией, птицы разом поднялись в воздух. Покружили немного над тропинкой и исчезли, точно растворившись в воздухе. Я наклонила голову и пригляделась. Крошек на земле не осталось – они склевали все.

А потом я услышала, что кто-то медленно идет по тропинке, приближаясь ко мне. Я не видела, кто. Я пыталась убедить себя, что бояться нечего. Вряд ли это был кто-то большой или агрессивный: слишком тихо и неуверенно звучали шаги.

Я вглядывалась в темноту, а шаги все приближались и приближались. Наконец он медленно вышел на освещенный участок тропинки.

Теперь я знала, кто это был. Мальчик.

Мой сын.

Он подошел ко мне. Его босые ноги утопали в грязи. Он казался совсем худеньким и очень, очень бледным в свете луны. Его голова была гладко выбрита.

– Я так старался вернуться домой, мама, – он говорил ровным, бесцветным голосом. – Я хотел вернуться по крошкам. Но кто-то убрал все крошки, которые я разбросал. Когда взошла луна, я отправился искать дорогу. Я искал ее, искал... Но так и не нашел. Потому что не было крошек.

– Тысячи птиц летают в лесу и в поле, – ответила я сыну, – они-то все и склевали.

– Погладь меня по голове, мама, – он смотрел остановившимся взглядом куда-то в ночь, сквозь меня.

Я осторожно погладила его по безволосой голове – кожа под моей рукой была шершавой, холодной и мокрой. Я отдернула руку и заплакала.

– Не плачь, мама.

Он опустил на корточки и закрыл свою голову руками, заслоняясь от дождя.

– Я не могу вернуться домой. Может быть, ты придешь ко мне, мама?

– Прости меня, – я плакала, и слезы смешивались на моем лице с дождевыми каплями. – Прости.

– Пойдем со мной. Пожалуйста, пойдем со мной, – он говорил устало и безразлично.

– Куда? Куда нам идти? – кажется, я говорила так же.

– В Убежище.

– Но я не знаю, где оно.

– Это в России. Тебе нужно вернуться в Россию.

– Как мне найти там Убежище?

– Три-девять, – сказал он и улыбнулся, продолжая таращиться в пустоту. – Такой адрес: три-девять. Убежище Тридевятых...

Он говорил еще что-то, но я уже не могла расслышать его. Ощетинившись, превратившись в одну большую темную кляксу, лес начал выталкивать меня из себя; тропинка у меня под ногами вдруг вся размякла, стала жидкой, стала грязным потоком, и этот поток подхватил и поволок меня куда-то, вниз, вверх, во все стороны сразу – наружу...

Подушка Кудэра была мокрой от слез. И спина тоже намокла: капли дождя, дробясь об оконную раму, отскакивали под прямым углом и летели на кровать, и на пол, и на тумбочку из светлого дерева. Он перевернул подушку другой стороной, забрался под покрывало и заснул снова – глубоким, тяжелым сном без сновидений.

* * *

Кудэр спустился к завтраку к девяти. Доверху набрал тарелку, положив туда столько колбасы, ветчины, сыра, помидоров, булочек, яиц и крекеров, сколько могло уместиться. Потом еще взял кукурузных хлопьев с молоком, несколько йогуртов и пару стаканов апельсинового сока. Но, уже усевшись за стол, с грустью понял, что аппетита у него нет. Он поковырялся в кукурузных хлопьях, очистил яйцо и надкусил. Желток внутри почему-то был совершенно синим. Почувствовав приступ тошноты, Кудэр отодвинул тарелку. Глотнул сока – слишком теплого, слишком кислого. Посидел еще немного за столом и пошел к себе в номер.

Он сел в плюшевое кресло и включил телевизор – просто чтобы не быть в тишине. До половины выкурил сигарету, закашлялся. Кружилась голова. Он закрыл глаза, снова затянулся и почувствовал, как тяжелые волны – мутные ритмичные волны, поднимавшиеся внутри него, от желудка к легким, от легких к горлу, – неприятно качают его, вверх-вниз, вверх-вниз, усыпляя, убивая его тело.

Его тело. Судя по всему, оно чем-то болеет, это тело, а может быть, умирает.

Эта мысль его не встревожила. Почему-то не было страха – так же, как не было удивления, когда случилась сама подмена. Когда она оказалась внутри этого неприятного, потного, хрипящего человеческого мешка. «Трансформированный»... так, кажется, сказал одноглазый человек на вокзале. Маша-растеряша... Все потеряла... Потеряла себя.

А теперь еще эта рука. Кудэр с трудом поднялся, размотал бинт – последний слой накрепко прилип к коже – и почувствовал слабый, едва уловимый запах гнили. Он осмотрел кисть. Лопнувшие волдыри от ожога превратились в зеленоватые нарывы. Впрочем, боль уменьшилась. Он снова намазал руку мазью и замотал чистым куском бинта.

Потом спустился вниз, на ресепшен, и попросил градусник у вертлявого рыжего немца, мрачно изучавшего порнографический журнал. Рыжий, вздрогнув, оторвался от чудовищной папуасской чаровницы – с толстым морщинистым животом, обвислыми черными грудями и гигантским с кольцом в сплюсненном носу – и медленно удалился. Через пару минут он действительно вернулся с градусником, сунул его Кудэру и, сморщив в улыбке конопатую мордочку, сказал:

– You look really bad.⁹

– I think I'm sick,¹⁰ – ответил Кудэр.

– May be I should call a doctor?¹¹

– No. Nein, bitte.¹²

– OK, – немец поднял на него бессмысленные небесно-голубые глаза и снова уткнулся в свой журнал. – Have a nice day.

Обливаясь потом, Кудэр вернулся в номер и измерил температуру. 38,5°С.

Он лег на кровать и уставился в телевизор, бодро стрекотавший с самого утра. На экране суеилось несколько невыразительных человечков в пиджаках и галстуках. Сначала они неистово пожимали друг другу руки, надолго сцепляя пальцы, картинно застывая в рукопожатии под вспышками фотоаппаратов. Потом неторопливо расселись за круглым столом, зашелестели бумагами, заговорили поочередно в микрофоны. Внизу экрана красовалась надпись «Прямая трансляция». Не то заседание правительства, не то какие-то переговоры – понять было невозможно... Противный стрекочущий голос за кадром комментировал происходящее по-немецки, а Кудэр знал на этом языке не больше десяти слов.

Он уже потянулся за пультом, чтобы переключить канал, как вдруг одна из «говорящих голов» в углу экрана привлекла его внимание. Худой человек с землистым лицом, с маленькими, вечно опущенными глазками... он казался очень знакомым. Несколькими секундами позже человек отхлебнул из стакана воды и, не отрываясь от бумажки, заговорил. Камера поползла вправо, лениво зацепила его, прицелилась. Наплыв – и вот уже почти весь экран заполнило угрюмое неподвижное лицо, обтянутое серой, пористой, в оспинах и угрях, кожей. Кудэр приподнялся на кровати, сделал громче звук и – да. Да. Этот человек говорил по-русски. Кудэр узнал его. Имя так и не вспомнил, но это лицо... Он. Новый российский президент.

Кудэр поставил звук на максимум, но речь президента, заглушаемую бодрым немецким переводом, все равно слышал лишь отчасти. ...Дать оценку проделанной работы и наметить основные направления развития страны... Затронуть ряд принципиальных идеологических и

⁹ – Вы действительно неважно выглядите (англ.).

¹⁰ – Кажется, я заболел (англ.).

¹¹ – Может, позвать врача? (англ.)

¹² – Нет (англ.). Нет, пожалуйста (нем.).

политических вопросов... меры, направленные против олигархических группировок, обладающих неограниченным контролем над информационными потоками и обслуживающих исключительно собственные корпоративные интересы... Важнейшая задача в сфере государственного строительства – укрепление Российской Федерации... Построение эффективного государства в существующих границах... Оптимизация управления... Кадровые перестановки на всех уровнях... государственные силовые структуры... Федеральная служба безопасности будет полностью реформирована...

От мерцания экрана заболели глаза. Кудэр зажмурился, сжал гудящую голову руками и постарался сосредоточиться, понять, о чем все-таки речь, но смысл ускользал от него. Слова, обильные и бессвязные, мелкими, горячими каплями просачивались в мозг, обжигали его и растворялись без следа.

...Восстановить целостность страны... нам нужна сильная армия... сильная страна... единая, неделимая...

Пот тонкими теплыми струйками стекал по лбу, шекотал брови.

«У меня лихорадка. И бред», – подумал Кудэр. За ровным, безжизненным голосом президента ему явственно слышался еще один голос, женский. Тихо, слегка картаво эта женщина произносила свои, совсем другие слова.

* * *

...Единая, неделимая Россия... – Выгляжу я, честно говоря, так себе. Не лучшим образом выгляжу. Я такая, знаете, в шляпе, зеленой, войлочной, и в фиолетовом демисезонном пальто с большими позолоченными пуговицами... – Что касается состояния экономики и финансов страны... – Еще я в синей клетчатой юбке, а под ней у меня поддеты теплые шерстяные колготы: ну, такие, как в детстве носят, в садике. Хотя я уже не девочка... – Экономика России вошла в стадию стагнации... жесткие меры и даже, возможно, шоковая терапия... – У меня резкий запах. Когда я снимаю пальто, это хорошо заметно. От меня пахнет сладкими застарелыми «Шанэль №5» и чем-то подгнившие-цитрусовым. Летом я храню пальто в сундуке с сушеными апельсиновыми корками, чтобы моль не завелась, – может, поэтому... – А не влачить жалкое существование, позорное для страны с такими внутренними ресурсами, как Россия... на фоне тяжелейшего экономического спада, нестабильных финансов... – Зрение у меня минус четыре. Я ношу очки в роговой оправе. Чтобы их не терять, я просверлила в дужках две аккуратные дырочки и туда вставила цепочку...

Кудэр открыл глаза и уставился на экран. Президент продолжал говорить. По левую руку от него сидела неопределенного возраста блондинка в строгом клетчатом костюме и рассеянно листала какую-то тетрадь – или блокнот...

Наконец он умолк. Кто-то из присутствующих (сонное лоснящееся лицо лишь на секунду мелькнуло в кадре) заговорил вопросительно по-немецки. Блондинка усердно застрочила в толстом блокноте, потом, склонившись к президенту, почти касаясь его ужасной кожи, зашептала в ухо перевод. Президент кивнул, отхлебнул из стакана, бросил быстрый взгляд в камеру и снова уткнулся в свои бумажки. Стал отвечать.

Кудэр внимательно следил за тем, как он читает, как открывает и закрывает рот, как двигаются его губы – и слышал теперь, вроде бы, только те, нормальные, «президентские» слова. И вот тогда, уже почти поверив, что все остальное ему только померещилось в болезненном полубытии, – тогда он заметил. Алакрез.

Есть такой прием в фотографии. Его очень любил один Машин коллега-фотограф – сама же она редко им пользовалась, потому как занималась в основном репортажной съемкой, а «алакрез» предназначался для художественных изысков... Так вот, есть такой

прием. К объективу фотоаппарата подносится маленькое зеркальце. Так, чтобы оно заслоняло объектив, скажем, наполовину, или на треть. Зеркальце нужно поворачивать, найти наиболее интересный ракурс, «вписать» отражение в реальную перспективу и – щелк... у вас получается странная, волшебная фотография. Через нее, едва различимый, тянется шов реальности и сна. В ней – все, что было в кадре, и еще что-то сверх – нежное, расплывчатое, полупрозрачное, – бонус с того света. Скромный привет из зазеркалья. Похожего эффекта можно добиться, если снимать два кадра подряд, не перематывая пленку, – похожего, но грубее. Без волшебства. Тогда это будет просто мультиэкспозиция. А с волшебством – алакрес. Зеркала...

На экране телевизора, помимо основного изображения, Кудэр увидел еще что-то. Губы президента, – которые шевелились, причмокивали, отхлебывали, складывались в трубочку, – эти губы иногда тускнели, полурастворялись, и их заслоняли вроде бы те же самые губы – но только совершенно неподвижные, бледные, плотно сжатые. Он не говорил. В одной какой-то нечеткой, расплывчатой, зеркальной телепараллели он сидел совершенно неподвижно и молчал. Зато говорила она – женщина, сидевшая рядом.

Вот она пишет в блокнот, уважительно склоняется к его уху, тихо шепчет, поправляет свои очки в изящной, тончайшей золотой оправе... И в то же время – она говорит, пристально глядя прямо в камеру. Про шляпы, юбки и апельсиновые корки. И нет никакого блокнота. И нет изящных очков и светлых волос. Подтянутую универсальную блондинку, двоясь, расплываясь, заслоняет плохо одетая широкоскулая улыбающаяся тетка. На ней огромные очки в роговой оправе, а из-под идиотской шляпы торчит пучок рыжих, выкрашенных хной волос.

...Нос у меня совершенно нормальный, хотя некоторым он кажется длинным. На самом же деле рот – главная моя неприятность. Вот он действительно длинный. Тянется через щеки прямо к ушам, отчего я немного похожа на лягушку. Губы у меня довольно тонкие, но при этом сочные и с синюшным оттенком. А когда я открываю рот, сразу заметно, что у меня отколот кусочек переднего зуба. Еще я очень сутулюсь, и у меня даже что-то вроде маленького горба. Совсем маленького – если не приглядываться, то и не видно... – ...более эффективная социально-экономическая политика... Результатом чего будет являться экономический подъем... факторы роста...

Страшно заболела голова. Кудэр на секунду отвел глаза от экрана, а когда посмотрел на него снова, все изображение превратилось в одну мельтешащую, дробящуюся на маленькие квадратики-пиксели муть. Вспомнилось одно школьное развлечение...

Перемена. Маша сидит на парте, держит в руках какой-то листок. Из-за ее плеча на листок таращатся другие дети. «Посмотрите на картинку внимательно и попробуйте разглядеть в ней жирафа», – читает она надпись внизу. А там точки. Там нет никакой картинки, никакого жирафа – только точки, маленькие, черненькие, назойливые. «О! Я вижу!» – радостно вскрикивает сзади какая-то девочка. «И я!» – «И я», – «Ух ты! Действительно – жираф!» Они все видят. Она – нет. Никогда. Ни разу. Она не увидела жирафа за этими точками. Потому что, кроме точек, там ничего не было. Но не могли же они все врать?

Кудэр сощурил слезящиеся глаза. Посмотрите в телевизор внимательно и попробуйте разглядеть в нем своего президента. И какую-то бабу, которая говорит за него. Это даже проще, чем увидеть жирафа... Это ведь не точки... Это не дети... Просто высокая температура... Вот он, жираф... Просто бред... бред...

Телевизор, и тумбочка, и вся комната – все это вдруг рывком дернулось, точно тронулся какой-то невидимый поезд, и медленно поплыло у него перед глазами. А потом стало темно; остались лишь яркие вспышки-крапинки – желтые и красные отметины на сетчатке.

...До сих пор не установлены имена людей, – хором сказали в темноте два голоса,

мужской и женский, – которые покушались на мою жизнь...

Немецкий перевод заглушил конец фразы. Кудэр несколько раз моргнул, но черная пелена перед глазами только сгустилась.

...Абра кадабра, мы везли кадавра, – нараспев, чуть картавя, заговорил женский голос, и никто не стал переводить. – Ать два ать, на базар продавать, с дыркой во лбу, да в дешевом гробу... Абра кадабра

Мы везли кадавра
Красавчика-покойника
Везли себе спокойненько
Но казаки-разбойники
Крибле крабле
В дороге нас ограбили
И абра кадабра
Украли кадавра
Крабле бум
С дыркой во лбу
Абра кадабра
Мы везли кадавра
Ать-два ать
На базар продавать
Крибле да крабле
В дороге нас ограбили
Крабле да крибле
Остались мы без прибыли.
Абра кадабра
Мы везли кадавра...

Кудэр ощупью нашел на телевизионном пульте кнопку выключения и, уже теряя сознание, ткнул в нее пальцем.

* * *

...Дети очень устали и сильно проголодались: ведь кроме ягод, которые они собирали по дороге, у них не было ни куска во рту. Но они все шли и шли – пока наконец не добрались до какой-то избушки. Подошли дети ближе, видят – избушка-то не простая: она вся из хлеба сделана, крыша у нее из пряников, а окошки – из сахара.

Вытянулся Гензель во весь рост и отломил кусочек крыши, а Гретель стала лакомиться окошками. Вдруг послышался изнутри чей-то тоненький голосок:

– Кто там ходит под окном? Кто грызет мой сладкий дом?...

VII ПУТЕШЕСТВИЕ

Кудэр околачивался на Кельнском вокзале уже несколько дней – и все еще не видел ни одного подходящего лица. Уже с трех часов он начинал попеременно заходить в каждую вокзальную забегаловку – пил кофе в одной, покупал арабский дёнер в другой, брал холодный длинный сэндвич с ветчиной, листом салата и сыром в третьей, хрустящий крендель с инкрустированным сердечком апельсинового желе – в четвертой... Все это имело одинаковый кисло-горький вкус. Все это он не мог есть.

Русская речь слышалась повсюду. Русские сидели практически в каждом кафе – и с каждым часом их становилось все больше. Кудэр вглядывался в их лица – пристально, нагло,

устало. Потом тащился в вокзальный туалет и точно так же рассматривал в зеркале собственное лицо – в сотый, в двухсотый раз стараясь мысленно сфотографировать его. Чтобы эти черты намертво отпечатались в мозгу. Чтобы больше не казались чужими.

Выйдя из туалета, он возвращался обратно – смотреть, искать. Но не видел никого подходящего. К шести вечера прожорливая русскоязычная толпа, увешанная чемоданами и рюкзаками, заполняла собой, казалось, все вокзальные фастфуды; а в семь исчезала бесследно. В семь уходил поезд Кельн – Москва...

– Бонжур, Мари!

Это было на третий день. Днем. До поезда оставалось еще много часов, но Кудэр зачем-то притащился на пустую платформу – ту, с которой этот поезд уходил каждый день. Присел, сгорбившись, на скамейке. Закурил.

Чьи-то шаркающие шаги раздались чуть в стороне – ближе – еще ближе – совсем рядом с ним. Кто-то стоял у него за спиной и смотрел ему в затылок. Возможно, собирался ударить. Задушить. Или раскроить череп. Кудэр не оглядывался: ему было лень шевелиться. Ему было все равно. И только после того, как он услышал это:

– Бонжур, Мари!

...только тогда он повернул голову.

Низкорослый седой старичок с бельмом на глазу улыбался ему гнилой улыбкой.

– Маша-растеряша! Маша-растеряша! У-у-у! – старичок показал Кудэру белесый язык. – Чего же ты тогда убежала, в Париже-то? Я ведь не кусаюсь...

В Париже... ну да, действительно, в Париже. Сумасшедший одноглазый клошар – и с ним тогда был еще один...

– Чего тебе надо? – Кудэр вскочил на ноги. – Ты что, следишь за мной? Ты кто вообще? Старик захихикал.

Кудэр резко протянул руку и, перегнувшись через скамейку, схватил его за ворот грязной рубахи, надетой наизнанку. Маленькая слюдянисто-белая пуговица нежно звякнула об асфальт и неслышно покатила по перрону.

– Я тебя спрашиваю, ублюдок, – прошипел Кудэр и с силой встряхнул старика. – Ты кто. На хуй. Такой.

– Ой какие мы нервные! – старик с трудом говорил сквозь смех. – Ой какие мы плохие слова знаем! Разве приличные дамы говорят такие слова?

– Я тебе сейчас мозги вышибу, – прошипел Кудэр.

– А-а-а, как страшно! – радостно взвизгнул старик. – Ой, мамочки мои! Ой, хи-хи-хи! Люди добры-яя! Убива-юют!

Кудэр выпустил из рук воротник.

– Ну вот, совсем другое дело. Позвольте представиться, – старик согнулся в три погибели, ернически раскланялся, помахивая воображаемой шляпой, – Алекс. Мы, впрочем, уже виделись. Я имел честь быть представленным вам на вокзале *Paris Nord*. Кстати, мы и без того знакомы уже довольно давно, и если вы будете столь любезны и дадите себе труд... – он снова хихикнул, – ...ну ты, короче, меня знаешь, Маняша. Напряги свои извилины, вспомни. Алекс. Леша. Дядя Леша.

– Да какой, к черту... дядя? – Кудэр медленно опустил обратно на скамейку. – Что вообще происходит?

Неожиданно злость прошла. Вместо нее навалилась усталость – свинцовая, невыносимая, смертельная.

– Что происходит – это, Маш, философский вопрос... угощайся, – Алекс уселся рядом, вытащил из кармана пачку «Житана» без фильтра, протянул Кудэру.

Тот взял. Закурили.

– Эх, Маша, Маша... Растеряша... Маня-Ма-няша... Манья. Знаешь хоть, кто такая Манья?

– Кто?

– Манья – безобразная старуха с клюкой, – сообщил Алекс. – Она бродит по свету, ища

погубленного ею сына... Это, между прочим, не я – это уважаемый Владимир Иванович Даль сказал. Аж в 1881 году. Так то.

Кудэр молча уставился в землю. Заметил, что стоптанные, дырявые ботинки у его собеседника надеты не на ту ногу: правый – на левую, а левый – на правую...

– Он уже некоторых потихоньку туда перетаскивает, – задумчиво сказал Алекс.

– Кто... он?

– Ну не Даль же! Наш Мальчик. Кто же еще?

– Я не понимаю. Не понимаю. Я совсем... я вообще не понимаю, о чем ты говоришь. Что значит «перетаскивает»? Куда? Что ты знаешь? Объясни.

– А волшебное слово? – Алекс мрачно ухмыльнулся.

– Пожалуйста. Пожалуйста, объясни мне, – покорно сказал Кудэр.

– Объясню, только ты сначала отгадай мою загадку.

– Какую еще загадку?

– А вот какую: живая живулечка, сидит на живом стулечке, живое мяско теребит.

– Не знаю.

– Э-э-э, да ты же даже не подумала, Маша. Ты знаешь, знаешь! Ну?

– Нет. Я не знаю. Я сдаюсь. Что это?

– Не «что», а «кто», глупая. Это грудной младенчик. Давай другую загадку...

– Пожалуйста. Ну не умею я загадки разгадывать. Скажи... скажи мне хоть что-нибудь.

– Плохие времена наступают, дорогая моя. Мальчик – ты знаешь, я его не слишком-то люблю... но в чем-то он прав, – так вот, он хочет взять некоторых в Убежище. Тебя вот... Мужика твоего. Ну и нас, конечно. Честно говоря, не думаю, что из этого что-нибудь путное выйдет... Но не исключено. Он уже многому научился – у нас. По крайней мере, трансформировать, – Алекс насмешливо взглянул на Кудэра, – он явно умеет недурно... Отличный нищий из тебя получился. Или – отличная Манья...

– Кто такие «вы»? Кто такой Мальчик? – прошептал Кудэр.

– Кто мы – это тоже философский вопрос. Мы... Нечистые. В лесу живем – так ведь? А еще в некоторых из вас живем. Ну, по крайней мере, – вылезаем... Ладно, не суть. Неважно. А Мальчик, – Алекс посмотрел Кудэру в глаза своим заплывшим бесцветным глазом, – он ведь сынок твой, Маша... Которого ты нам отдала. Лет уже этак пять назад. Вспоминай, вспоминай, ну? И меня вспоминай. Мы с тобой познакомились – ты еще с животом ходила. Вспоминай, дурочка... Ты теперь можешь. Твое тело теперь как помойка – специальная такая помойка для всяких воспоминаний. Загляни в себя. Тебе совсем недолго осталось... так что нечего время терять. Ну, все. Увидимся.

Старик поднялся со скамейки и пошел прочь. Не оборачиваясь, махнул тощей желтой рукой на прощанье.

Кудэр устало посмотрел ему вслед. Выбросил окурочек на землю, съежился на скамейке, закрыл глаза и наконец заглянул – в себя. С отвращением и любопытством поворошил вонючий, полусгнивший мусор чужого прошлого.

– Действительно – помойка... – сказал сам себе тихо.

Вспомнил.

На даче...

* * *

...На даче она его видела. Давным-давно. Ну, конечно, – на даче «у черта на рогах». До Звенигорода на электричке. Дальше на автобусе или маршрутке – Дюдьково, Супонево, Ершово, Фуньково... Вот где-то за Фуньково. Остановка – «Пионерлагерь». Трехэтажное грязно-белое здание, огороженное черной решеткой. Большой серый пустырь: горки мусора тут и там, обуглившийся автомобильный остов, вросший в пыль и щебенку искореженными, проржавевшими своими внутренностями. И лес. Большой, хвойно-березовый, бесконечно занудный лес.

По этому лесу нужно было идти пешком еще минут сорок: дачный поселок находился прямо в чаще. Просто с десяток убогих бревенчатых домиков на поляне, в кольце мутно-коричневых комариных болот.

В одном из этих домиков Маша все лето снимала комнату – когда была беременной.

Хозяйка дачи... – как же ее звали? Выглядела молодо... Галина...

Галина Сергеевна, точно. Очень следила за собой.

Кожа на лице, медицинскими ухищрениями утянутая к ушам, была не по-юношески сухой, но гладкой и без единой морщинки. Умные, суетливые, неопределенного цвета глаза придавали ее лисьему, вытянутому в острый треугольничек лицу выражение потешной любознательности. Ну и, наконец, волосы. Такие прекрасные, густые, длинные. Переливающиеся и блестящие, цвета воронова крыла – это были волосы совсем молодой женщины.

Впрочем, реальный возраст Галины Сергеевны – а было ей далеко за шестьдесят – Маша при первой же встрече легко определила по рукам. Руки были старые, мелкоморщинистые, покрытые бурыми пигментными пятнами. Неприятные руки.

Кажется, она была какая-то странная. Странная, странная... Что-то такое она однажды сказала... или сделала...

Кудэр открыл глаза. Скрутил себе самокрутку, пару раз затянулся. Потом снова зажмурился, через яркий красно-желтый узор на сетчатке вгляделся туда, в свое темное нутро. В чужую жизнь, которую неопрятной грудой бессвязных эпизодов кто-то свалил в его теле-контейнере.

Нащупать нужное – возможно, не так уж сложно. Был какой-то дурацкий разговор... Это? – нет, не то... И это – не то... Вот, вот оно! Нужное воспоминание: тяжело переваливаясь с ноги на ногу...

* * *

...точно ожиревшая утка, Маша вошла на кухню. Убедилась, что дяди Леши там нет: дядя Леша, хозяйкин муж, был психом, и Маша его побаивалась.

Медленно опустила на деревянный икеевский стул. Положила руки на живот. Живот отозвался на прикосновение – напрягся, затвердел, застыл. В последнее время это происходило все чаще. В такие моменты Маше казалось, что у нее под кожей – большой стеклянный шар. Гладкий, твердый. Идеально круглый.

Это обозначало, что уже недолго. Недолго осталось ждать.

– Ты что-то какая-то бледненькая сегодня, – сказала Галина Сергеевна.

– Наверное, давление пониженное, – ответила Маша.

– Да, наверное. Давай я тебе кофе сварю? Оно хорошо давление повышает.

– Да нет, спасибо. Кофе, я думаю, не стоит. Вредно.

– Это почему это вредно?

– Ну, от него, во-первых, пульс учащается. А во-вторых... ну, вообще, вредно для малыша.

– Чуть это все! – бодро сообщила Галина Сергеевна, снимая с гвоздика над плитой маленькую серебристую турку.

– Да нет, врачи говорят...

– Не пугайся! – Галина Сергеевна включила кофемолку, и все другие звуки потонули в неистовом реве.

– Врачи говорят... – снова начала Маша, когда рев прекратился.

– А я говорю: чуть! – перебила Галина Сергеевна. – Я тебе вредного не предложу. От моего кофе ничего, кроме пользы, никогда не было...

– Ладно, – сдалась Маша.

– Я тебе сварю такой... со специями... – Галина Сергеевна, высунув от усердия кончик языка, сыпала в турку какие-то ароматные порошочки из разноцветных хрустящих

пакетиков. – Будешь потом еще просить...

– Хорошо, хорошо, уговорили.

– Вот. – Галина Сергеевна решительно поставила на стол перед Машей чашку с черным дымящимся кофе. – Пей.

– А сливки у вас есть?

– Сливки? Какие еще сливки? Не-етушки. Этот напиток, милая моя, пьют без всяких там сливок.

Маша обычно пила кофе со сливками, но спорить было лень.

– Ну, хорошо, но сахар-то хотя бы можно добавить?

– Сахар там уже есть, – раздраженно ответила Галина Сергеевна. – Вообще все, что надо, там уже есть. Пей давай. А то остынет.

Маша подула на кофе и стала пить. Было действительно очень вкусно. Чувствовалась корица и еще какие-то пряности.

– Спасибо, Галина Сергеевна, – сказала Маша, отставляя чашку с осевшей на дне гущей.

– Не за что, Машенька. На здоровье.

Галина Сергеевна взяла чашку, повертела ее в руках.

– А хочешь, я тебе погадаю на кофейной гуще? – спросила она вдруг.

– Вы разве умеете? – удивилась Маша.

– Ну конечно, умею. Раз предлагаю. Так что – погадать?

– Ну давайте, – вяло согласилась Маша. – Я, правда, в это все не очень-то верю...

– А это неважно, веришь ты или нет, – мрачно и как-то обреченно отозвалась Галина Сергеевна. – Сейчас, подожди-ка секундочку...

Она взяла блюдечко и опрокинула на него Машину чашку. Несколько секунд подержала так, плотно закрыв глаза и что-то беззвучно бормоча. Потом снова перевернула чашку вниз дном и уставилась внутрь, на замысловатые кофейные разводы.

– Ну что там? – спросила Маша тем же тоном, каким спрашивала у акушера-гинеколога о результатах очередного УЗИ матки.

Галина Сергеевна молчала, испуганно и как-то даже слегка восхищенно глядя в чашку.

– Что там? – занервничала Маша.

– Да вот... что-то не вижу почти ничего, – нехотя отозвалась хозяйка, и Маше сразу стало ясно, что та, наоборот, видит, и видит, скорее всего, плохое.

– Что-то не так? Скажите мне, пожалуйста. А то ведь я все время теперь буду думать, переживать...

– Да ты ведь сказала, что не веришь в такие вещи?

– Не верю... Но сейчас как-то мне... не по себе. Так что?

– Ну, хорошо. Ой, жарко здесь что-то... – Галина Сергеевна засунула свою старую дрожащую руку в молодые, блестящие в солнечных лучах волосы, зажала несколько темных прядей между пальцами и вдруг легким привычным движением сдернула все это сияющее великолепие с головы.

– Так это не ваши волосы, – растерянно прошептала Маша.

На гладком, молочно-белом, влажном от пота черепе Галины Сергеевны тут и там виднелись оазисы седого наэлектризованного пуха.

– Ну да – парик. Из натуральных волос, – не без гордости пояснила хозяйка. – Ты слушать-то будешь?

– Буду, – кивнула Маша, все еще разглядывая неожиданно открывшуюся хозяйкину лысину.

– Так вот. Родится у тебя мальчик, Мария...

– Это я и так знаю. На УЗИ говорили.

– Если ты будешь перебивать, я больше ни слова не скажу, – обиделась Галина Сергеевна.

– Ой, простите, простите. Не буду.

– Родится у тебя мальчик. Красивый мальчик. И будет ему имя – Иван.

– Ну уж нет, – снова встряла Маша. – Я назову его Яша – в честь моего папы.

– Не перебивай меня. Иван будет его имя, как бы ты ни назвала его, глупая. И будет он тебе хорошим сыном – да только вот ты будешь ему плохой матерью. И будет он умным, веселым и здоровым, пока не исполнится ему семь лет. А дальше...

– А что дальше?

– А дальше я совсем ничего не вижу, – снова соврала Галина Сергеевна, но Маша не стала ее уговаривать: ей не очень-то хотелось слушать продолжение.

– Что, на дне этой дурацкой чашки написано, что я буду плохой матерью? – ехидно спросила она.

– Да, – ответила хозяйка. – Так написано. Так тому и быть.

Галина Сергеевна мало походила на оракула, и псевдопровидческий тон, который она взяла, Машу очень раздражал.

– Ну, это мы посмотрим, – сказала она зло, взяла из рук Галины Сергеевны чашку и сунула под струю воды.

– Ну и правильно. Не обращай на всю эту ерунду внимания. Ты бы погулять, что ли, сходила, Машенька, – сказала хозяйка уже совершенно нормальным тоном, – свежим воздухом подышать. Малышу-то полезно.

Галина Сергеевна промокнула взопревшую макушку салфеткой и водрузила парик на место.

– Ну да, схожу, – Маша медленно поплыла к выходу.

– Постой. А ты, может, знаешь что... отдай его мне, а? Я деток люблю.

– Что?! – изумилась Маша. – Кого отдать?

– Ну ребеночка твоего... я, конечно, имею в виду – на лето... – стушевалась Галина Сергеевна, – я бы с ним нянчилась... я деточек... люблю...

Маша вышла из кухни, не дослушав. И подумала, что если хозяйка еще хоть раз вернется к этой теме... «отдай его мне»... нет, ну ничего себе!.. если еще хоть раз она услышит что-то подобное, ноги ее больше не будет в этом доме.

Но больше Галина Сергеевна ни о чем подобном не говорила. Да и вообще стала к Маше как-то заметно холодней и говорила с ней редко.

А вот сумасшедший дядя Леша приставал с разговорами по-прежнему. Дядя Леша был шизофреником, алкоголиком, убежденным христианином, патриотом, антисемитом и философом. Опасное сочетание. Когда с ним случалась белая горячка...

Кудэр открыл глаза, резко вскочил со скамейки.

– Не сейчас, – сказал сам себе вслух.

Воспоминания, спутавшиеся в скользкий живой клубок, крепко цеплялись друг за друга – попробуешь вытащить одно, а за ним уже тянется, извиваясь, второе, третье... И вот уже кажется, что этот клубок – просто один невероятно длинный червь чьей-то судьбы, чьей-то жизни – завязанный узлами, свернувшийся кольцами. Развязывать и разматывать его сейчас? Нет. Времени нет.

В семь уходил поезд Кельн – Москва. Нужно было идти на вокзал, снова искать подходящее лицо.

* * *

В семь уходил поезд Кельн – Москва...

На четвертый день Кудэр почти потерял надежду. От холодных сэндвичей, кока-колы и лошадиных порций аспирина сводило желудок. На вокзале было жарко. На вокзале было холодно. На вокзале было трудно дышать, трудно двигаться. Тупо, угрожающе ныла под намокшими бинтами рука. Он не разворачивал эти бинты уже второй день, чтобы не видеть

того, что под ними – зеленоватых нарывов, на которые совершенно не действовал крем от ожогов.

Подходящего лица опять не было. Кудэр привычно отправился к зеркалу, заглянул в свои маленькие, болезненно поблескивающие глаза. Умылся холодной водой, потом этой же водой, из пригоршни, запил очередную таблетку аспирина.

Выйдя из уборной, он поплелся было обратно, к витринам с булками, бутербродами и гамбургерами – но на полпути остановился, увидев справа от себя вывеску *Internet*, которую раньше не замечал.

Интернет-кафе? Почему бы и нет. Проверить почту, получить письма из прошлой жизни. Несколько минут побыть собой.

Кудэр уселся за единственный свободный компьютер. Экран его мерцал так сильно, что сразу стали слезиться глаза. [www](http://www.yandex.ru), – он неуклюже ткнулся в клавиатуру толстыми смуглыми пальцами, – yandex.ru.

Логин: masha33@yandex.ru

Пароль: [kunstkamera](#)

Войти.

Неправильная пара логин-пароль! Авторизоваться не удалось. Попробуйте ввести логин и пароль еще раз.

masha33@yandex.ru. [kunstkamera](#)

Неправильная пара логин-пароль! Авторизоваться не удалось.

Забыли пароль?

Не забыл. Не забыла. Не забыли, нет. Просто... а на что он, собственно, рассчитывал?

Кудэр вытер здоровой рукой слезящиеся глаза. Закрыв [yandex](http://yandex.ru). На ядовито-зеленом, фосфоресцирующем рабочем столе обнаружилось еще одно маленькое окошко – с какой-то рекламой. Машинально Кудэр развернул его во весь экран:

www.zdvig.com, www.zdvig.de, www.zdvig.fr, www.zdvig.sz, www.zdvig.ru...

The most clickable site in the Web! Available in 33 languages!

Join us now – you still have a chance!

Он вытер рукавом потный лоб. Осторожно покосился на экран соседа справа: выпучив глаза и прикусив от напряжения язык, тот в экстазе молотил по клавишам. Кудэр прищурился, стараясь разглядеть «адрес» сайта: www.zdvig.de/forum.

Он кликнул левой кнопкой мыши в русскоязычную версию.

* * *

www.zdvig.ru

Хорошо, что вы заглянули на этот сайт. Хорошо – потому что теперь у вас есть шанс. Шанс на спасение.

Вступление

Все материалы на нашем сайте посвящены одной теме – вернее, одному явлению. Его можно называть по-разному: Последняя Катастрофа, Конец Времен, Конец Света, Великое Перемещение, Сдвиг Полусов... Какое бы название вы ни выбрали – суть останется неизменной. Апокалипсис. Именно о нем идет речь на нашем сайте.

Многолетние исследования и вычисления талантливейших ученых из Международной научно-исследовательской академии футурологии (МНАФ) [кликни здесь: подробнее о МНАФ] не оставляют ни тени сомнения в том, что в

самое ближайшее время планете Земля предстоит пережить Сдвиг Полюсов. Огромная планета – гигантское Второе Солнце – приближается к Земле. В ближайшее время эту планету уже можно будет различить на небе невооруженным взглядом.

Возможно, кому-то Второе Солнце покажется красивым. Возможно, оно действительно красиво. Но сейчас не время тешить свои эстетические наклонности. Не время для прекрасных порывов. Эта планета несет с собой смерть.

Второе Солнце глобально изменит земные магнитные поля, сместит с орбиты Луну. Все это приведет не только к Сдвигу Полюсов, но и к «сдвигу» в головах людей – ни для кого не секрет, что Луна непосредственно влияет на настроение и самочувствие человека – и начнется Третья Мировая Война.

Однажды, много тысячелетий назад, Сдвиг Полюсов уже произошел. Катастрофические последствия – Великий Потоп [кликни здесь: подробнее о Великом Потопе] – подробнейшим образом описаны как в Библии, так и в других священных книгах, например, в Коране. Когда эта страшная катастрофа произошла на нашей планете в прошлый раз, немногим удалось спастись [кликни здесь: Ноев ковчег].

Давайте будем мудрее на этот раз. Давайте подготовимся к катастрофе. Давайте спасемся. Не стоит унывать и отчаиваться. Кто-то, конечно, погибнет. Но всех остальных ждет Великое Перемещение, Счастливый Судный День и новый Золотой Век.

Глава 1

Возможно, кого-то не убедят научные изыскания ведущих ученых мира. Ваше недоверие можно понять. Но учтите, что ученые не одиноки в своих прогнозах.

Грядущие события предсказывал и Нострадамус [кликни здесь: подробнее о Нострадамусе] – а ведь до сих пор его предсказания сбывались все без исключения, случались разве что незначительные расхождения по срокам. Приведем здесь отрывок из интересующего нас предсказания:

Великая империя вскоре будет перенесена В маленькое место, которое очень скоро увеличится, Место весьма ничтожного, незначительного графства, В середине которого Он водрузит свой скипетр.

Вы все еще сомневаетесь? Ученых и Нострадамуса вам не достаточно? Что ж. Имейте смелость. Посмотрите фактам в глаза: об этом не первый год твердят ясновидящие, посылают сигналы инопланетяне, предупреждают во время спиритических сеансов умершие...

Что нужно знать, чтобы спастись:

Доказано, что во время Сдвига Полюсов сильнее всего пострадают прибрежные районы, места горных разломов, те части суши, которые расположены недалеко от вулканов. Действующие это вулканы или потухшие – неважно. Во время Сдвига Полюсов активизируются абсолютно все вулканы.

Обреченные города

В результате Сдвига Полюсов произойдут страшные катаклизмы: наводнения, землетрясения, разломы земной коры, извержения вулканов, таяние ледников, сходы лавин, тайфуны, цунами. Хотите верить тем, кто утверждает, что все это – исключительно результат повышенной солнечной активности или результат техногенной деятельности человечества? Вперед! Вперед, к верной гибели.

Если же вы не наивный доверчивый профан – ознакомьтесь с нижеследующим списком.

Краткий список городов, которые будут полностью уничтожены в первый же день Сдвига (в алфавитном порядке):

Аддис-Абеба, Алжир, Афины, Багдад, Буэнос-Айрес, Вашингтон, Венеция, Глазго, Гонолулу, Дамаск, Детройт, Джакарта, Дублин, Иерусалим, Каир, Катманду, Куала-Лумпур, Ливерпуль, Лион, Лиссабон, Лондон, Мекка, Мельбурн, Мехико, Милан, Монреаль, Монтевидео, Найроби, Неаполь, Никосия, Новый

Орлеан, Нью-Йорк, Париж, Рейкьявик, Рига, Рим, Сидней, Токио, Филадельфия, Флоренция, Ханой, Хартум... [смотри подробнее: полный список обреченных городов]

Где будет Убежище

После Катастрофы низко расположенные участки земли будут, естественно, затоплены. Лучшим местом для жизни на Земле станет...

* * *

Кудэр раздраженно отвернулся от компьютера ...Вы все еще сомневаетесь?.. Ученых и Нострадамуса вам не достаточно?.. Если же вы не наивный доверчивый профан – ознакомьтесь с нижеследующим...

Обычный шизофренический бред. Такого мракобесия в сети предостаточно. Единственное – стиль какой-то уж больно знакомый. ...Не время тешить свои эстетические наклонности... Не время для прекрасных порывов... Кто же так говорит? Кто, кто так говорит? Или – пишет?

Кудэр снова уставился на экран. Пиксельная рябь, казалось, все усиливалась. Свихнувшиеся буквы, маленькие, черненькие, быстро-быстро дрыгали тонкими лапками, суетливо покидали свои гнезда-слова, бежали в разные стороны. Кудэр старался уследить за ними – от напряжения пот и слезы текли по его лицу, – но поймать взглядом расползающихся уродцев, вернуть их на место и понять их язык он больше не мог. Чертов монитор.

– Вайне нихт, майн фройнд, – подал вдруг голос сосед справа. – Эс ист нох нихт зо хофф-нунгслог.

– I don't understand German. I am from Russia, – отмахнулся, не глядя на него, Кудэр.

– Рюсски? – радостно взвизгнул сосед. – Тоже как автор этот портал – рюсски? Это надо гордиться. Он важный великий чьеловек. Он помочь всем. А я сказать тьебье: нье плачь, друг. Всьо еще можно спасти... Ещью есть время...

Кудэр изумленно уставился на него.

– ...Очень рад встречать тебя, – продолжал стрекотать парень, – мой отец родом из Россия, я очень любить эта страна. Я как раз ехать в Россия, практиковать язык, это пьервых, и, натурально, спасаться в убежищ, это вторых...

– А когда ты едешь? – спросил Кудэр.

– Сегодня, семь вечерь. Это уже осталось три чьаса. Я выбираю поезд. Самольот не выбираю. Из-за Второе Солнце может прийти излучение, отключаться аппаратура самольот, боюсь авария. Мне уже пора, – немец встал, просеменил к хозяину интернет-кафе, расплатился. Потом надел на спину ярко-оранжевый рюкзак. – Еще хотеть идти в кнайпе пить пиво до отъезд. До свидания. А ты не грусти, не плачь...

– Я не плачу, у меня просто глаза слезятся. Но все равно – спасибо, – ответил Кудэр и впервые за много дней улыбнулся.

У парня было *то самое* лицо. Черные курчавые волосы, смуглая кожа, маленькие, карие, близко посаженные глаза, резкие, неприятные черты. Лицо, которое Кудэр так долго искал, – похожее на его собственное. Тщедушное тельце, прилагавшееся к этому лицу, похожим на тело Кудэра не было. Но это как раз не имело значения.

– О, когда ты улыбаться, очень, очень лучше, – сказал немец и каким-то совершенно бабьим жестом заправил за ухо прядь волос. А потом подмигнул.

«Педик, что ли? – подумал Кудэр. – Если педик, это даже лучше. Правда вот паспорт у него немецкий...»

– Меня зовут Кудэр, – медленно и вятно, точно обращаясь к умственно отсталому, сказал он. – А тебя как зовут?

– Томас. А ты давно увлекаться этот портал? – немец подошел к Кудэру поближе, жеманно махнул рукой в сторону его монитора.

Руки у Томаса были маленькие, с тонкими, неприятно подвижными пальцами и подозрительно опрятными круглыми ноготками.

– Давно, – снова улыбнулся Кудэр.

Томас понимающе кивнул, опустил глаза и аккуратно, двумя пальцами, снял со своей брючины прилипший волосок.

– Я тоже еду на семичасовом поезде, – сказал Кудэр. – Если хочешь, мы можем пока выпить пива вместе.

– Это для меня удовольствие, – немец оскалил в улыбке маленькие хомячьи зубки.

VIII ПУТЕШЕСТВИЕ

Когда немец был уже достаточно пьян, Кудэр спросил его:

– Как будет по-немецки «больной»?

– Кранк, – доверчиво хрюкнул Томас.

– А как будет по-немецки «влюбленный»?

– Ферлибт, – Томас облизнул сухие губы острым розовым кончиком языка.

– А «слепой»?

– Блинд.

– Глухонемой?

– Таубштумм. Но зачем тебе такие слова?

– Ни за чем. Просто интересно. Как сказать – «интересно»?

– Интересант...

– Слушай, а как пишется слово «глухонемой»? Ты можешь его для меня написать – ну хоть на салфетке?

– Зачем салфетка? – Томас пьяно хихикнул. – Я имею блокнот.

Он вынул из рюкзака маленький блокнот с каким-то мускулистым негром на обложке. Вырвал небесно-голубого цвета страничку. Потом порылся в рюкзаке еще и извлек оттуда футляр с паркеровской ручкой.

– Это подарок от мой друг, – он помахал ручкой в воздухе. – Что ты просишь писать, я нъемного забыл?

– Напиши: «Извините, я глухонемой». И еще напиши: «Я еду в Москву навестить друзей».

– Хорошо. Ты меня удивить, но я написать для тебя, – Томас стал выводить на голубой бумажке слова крупными детскими буквами. – Только я за это просить кое-что.

Он аккуратно просунул голубой листочек с каракулями в горячую руку Кудэра. Потом нерешительно накрыл ее своей прохладной ухоженной лапкой.

– Что ты хочешь попросить? – Кудэр не отдернул руку.

– Мы допить пиво и вместе идти в тойлет на банхоф... то есть как это... вокзал, о'кей?

– Конечно. С удовольствием.

* * *

– Да, да, да, да, йа, йа, йа, йа, – сосредоточенно пыхтя, бормотал Томас.

– Тише. Да тише ты... услышат, – раздраженно шепнул Кудэр.

Они стояли в кабине туалета на Кельнском вокзале. Немец, со спущенными штанами – прижавшись лицом к двери, Кудэр – позади него. Здоровой, правой рукой он гладил тощие томасовы ляжки.

– Возьми меня, майн ферлибт, – громко пискнул немец.

В соседней кабине раздраженно спустили воду.

– Ну возьми-и-и, – канючил Томас.

Кудэр почувствовал подступающую к горлу тошноту.

– О, ты есть такой горячий, – ворковал немец, – это ты так хотеть меня, да?

– Это у меня температура под сорок, идиот, – еле слышно, сквозь зубы прошептал Кудэр.

– Я не совсем слышать тебя, любимый.

– Да, это я так хотеть, – сказал Кудэр громче. – Только подожди минутку. Мне надо сначала кое-что сделать.

Кудэр снял руку с ягодицы Томаса, уселся на унитаз и стал разматывать бинт.

– Ты хотеть показать мне свою рану? – немец почему-то очень обрадовался. – А где ты ранить себя, я забывать спросить? Где... Майн гот! Шайсэ! Что это? У тебя совсем больной рука! Тебе срочно нужно идти больница! Это очень опасно тебе! Это есть очень серьезный...

– Хорошо, хорошо, я пойду в больницу, – прошептал Кудэр. – Но сначала – мы ведь сделаем то, что собирались?

Он снова поднялся, прижался к Томасу, положил здоровую руку ему на живот.

– О'кей, – размяк Томас – о'кей, о'кей, о'кей... Но потом ты сразу идти больница, нье поезд. И я хотеть идти с тобой. Я хотеть сдать билет... Я хотеть...

Кудэр прижался к Томасу еще теснее, с омерзением погладил его волосатую грудь, тонкую цыплячью шею с сильно выдающимся острым кадыком. Провел пальцами по губам – немец блаженно чавкнул, – ласково обхватил синий, плохо выбритый подбородок – чуть снизу, чуть слева...

Больной, левой рукой он погладил Томаса по голове. Жесткие черные волосы немца отточенными лезвиями царапнули воспаленную кожу. Кудэр глубоко вдохнул и полностью погрузил руку туда, в колючие, острые завитки. Застонал от боли. Немец отзывчиво застонал в ответ. Кудэр взъерошил ему волосы на затылке, завел руку правее.

Нож лежал у него в кармане – уже четвертый день, – но сейчас Кудэр не собирался его вынимать. Его руки – большие, смуглые, грязные руки – очень хорошо знали, что делать. Возможно, они уже делали что-то такое однажды. Или дважды, трижды, кто знает... Его чужое, больное, потное тело – оно просто помнило, как убивать.

Кудэр стиснул зубы и резко, изо всех сил повернул голову Томаса – вправо и вверх. Цыплячья шея покорно хрустнула. Немец один раз конвульсивно дернулся и тут же обмяк, стал медленно сползать на пол. Кудэр подхватил его под руки, с трудом развернулся вместе с телом в тесной кабинке и, шумно дыша, привалился спиной к двери.

– Alles gut? – жизнерадостно поинтересовался из соседней кабинки мужской голос.

– Everything OK, – хрипло выдохнул Кудэр. – Thank you.

Держать немца на весу больше не было сил. Кудэр осторожно опустил тело на пол, прислонил к своим ногам. Ужасно кружилась голова. Насквозь пропитавшаяся потом футболка липла к телу и мешала дышать. Сдержав приступ кашля, Кудэр стянул с себя вонючую тряпку, повесил ее на крючок. Потом наклонился, снял с костлявой руки Томаса большие бело-золотистые часы, тупо уставился на циферблат: *Rolex* ... дорогие, кажется... евро триста, по крайней мере... сегодняшнее число – 20 апреля... время – 18.30... до отхода поезда осталось всего полчаса... тридцать минут... а в каждой минуте шестьдесят секунд... шестьдесят нужно умножить на тридцать... еще два нуля – но это потом, потом... а пока шесть на три... зачем это нужно?... зачем нужны эти цифры: шесть и три?... это какая-то ошибка, были другие цифры... кажется, три и девять... да, именно: три девять... такой адрес... я теряю сознание... три девять... ребенок сказал ей адрес... ребенок не мог ошибаться...

Чтобы не упасть, Кудэр схватился руками за фанерные перегородки сортира. Медленно и без боли, мягкими, ритмичными рывками что-то выходило из него – уходило от него – оставляло его оболочку. Это было... совсем легко; это было почти приятно. Он посмотрел на скрючившееся тело у себя под ногами, на чистый лоснящийся унитаз, на белую стену позади унитаза. Эта стена вдруг покачнулась, дрогнула, пошла трещинами, осыпалась на пол

крупными, мягкими хлопьями. И там, за стеной, он увидел лес, утопающий в росе и тумане, и узкую тропинку, освещенную желтой луной. Полной грудью Маша втянула аромат влажной хвои и хотела уже шагнуть туда, на тропинку, но голос – равнодушный, бесцветный детский голос сказал ей:

– Сейчас еще не время, мама.

– Почему? – спросила она. – Я хочу туда. Пожалуйста. Спаси меня. Освободи меня.

– Потерпи еще сутки. Тебе нужно сначала вернуться, – он говорил спокойно и сухо, и голос его становился все тише, – в Россию, это в России... Здесь ты его не найдешь, наше Убежище... Три девять...

...Три девять... Кудэр вздрогнул и открыл глаза. Он сидел на полу, привалившись к мертвому немцу. Часы *Rolex* валялись рядом – и на них было без четверти семь. Кудэр тяжело поднялся, взял с бачка унитаза свой влажный, с зеленоватыми пятнами бинт, торопливо намотал обратно на руку, надел часы – без четырнадцати минут семь – поверх бинта. Наклонился, пошарил в карманах спущенных Томасовых брюк. В одном был паспорт – твердая бордовая корочка с тощим золотым орлом и надписью *Europäische Union Bundesrepublik Deutschland Reisepass* — золотыми буквами. Кудэр быстро открыл его, пролистал – какой-то десятизначный номер... имя, фамилия – *Tomas Mohl* ... физиономия на фотографии – чуть моложе, чем надо бы... но ничего, сойдет... рост – на четыре сантиметра ниже – но не будут же они измерять... цвет глаз – совпадает, естественно... везде эти дурацкие чахоточные орлы – серовато-розоватые... Вот она, российская виза. Желтенькая с коричневым. А вот еще одна, нежно-салатовая – Республика Беларусь.

В другом кармане Кудэр обнаружил бумажник. Но билета не было ни в одном. Без тринадцати минут семь. Кудэр открыл бумажник, вытащил из него и запихнул к себе в карман пятьдесят евро. Дрожащими пальцами принялся перебирать остальное. Свернутые вдвое и вчетверо лохматые бумажки, календарики, кредитки, дисконтные карточки, маленькая фотография какого-то угрюмого белобрысого мордоворота... Билета не было. Без двенадцати минут семь. Кудэр заскулил, вывалил содержимое кошелька прямо на спину Томаса, еще раз все просмотрел – билета не было. Он сгреб бумажки в кучу и бросил в унитаз. Без одиннадцати минут семь. Кудэр стянул с немца яркую клетчатую рубашку, обшарил ее – билета не было – и надел на себя. Потом поднял Томаса с пола, усадил его на унитаз, прислонил спиной к стене. Без десяти семь.

Труп слегка покачнулся, клюнул носом и стал заваливаться вправо. Кудэр подхватил его, вернул на прежнее место. Осторожно уложил на левое плечо Томаса его птичью голову на вывернутой шее. Маленькими темными глазками Томас уставился в потолок. Он выглядел благодарным и заинтригованным.

Ну куда ж ты дел свой билет, урод? Без девяти минут семь. Без девяти минут семь.

Внезапно до него дошло. Маленький оранжевый рюкзачок валялся в углу. Кудэр схватил его, рыча, расстегнул молнию, вытряхнул на пол упакованное в пакеты барахло, книжку с ярко-синей надписью «Русский язык» на обложке, фотоаппарат – *Nikon Coolpix 4500*, цифровой... ну, не самая лучшая модель, но вполне себе, вполне себе... Куда же ты дел этот чертов билет?.. А-а-а... ты, наверное, положил его во внутренний кармашек рюкзачка, да?.. Ты же аккуратный у нас, да?.. А где тут у тебя внутренний кармашек?.. Во-от он, внутренний кармашек... Вот он, наш с тобой билетик!

Без восьми минут семь.

Кудэр прислушался – тихо. Осторожно, чтобы не задеть тело, он встал ногой на край унитаза и посмотрел по сторонам поверх сортирных перегородок. В соседних кабинках никого не было. Рядом с раковиной и у писсуара – тоже.

Кудэр на всякий случай проверил, закрыто ли изнутри, взялся руками за перегородки и уже приготовился перелезть, когда в туалет кто-то зашел. Заперся в кабинке. Звякнул пряжкой ремня. Зажурчал. Засвистел фальшиво и грустно.

Без семи минут семь.

Кудэр спустился с унитаза на пол. Посмотрел на мертвого немца. Теперь тот казался не

только заинтригованным, но и немного раздраженным – как человек, которому могут, но упорно не хотят ответить на какой-то очень важный для него вопрос.

Мужик в соседней кабинке перестал журчать и спустил воду, но так и остался внутри. Чем-то зашуршал – газета? О, Господи!.. – и затих. Без шести минут.

– Плевать, – прошептал Кудэр, – я все равно выйду.

Он снова аккуратно поставил ногу на унитаз, помедлил секунду, снял. Наклонился и поднял с пола фотоаппарат *Nikon Coolpix*. Включил – не смог удержаться.

Надо уметь фотографировать страшное. Надо уметь его видеть. Страшное – это вам не кровавые пятна. Не клыкастые монстры. Не выпущенные наружу кишки, не отрубленные руки, не вытекшие глаза. Страшное – это забавная поза. Смешная деталь. Плюс то, что не вошло в кадр. Страшное – это полуголый человек, мирно сидящий на унитазе, с головой, повернутой *немного странно*. Пи-пик. Снято.

Без пяти семь.

Кудэр положил фотоаппарат в оранжевый рюкзак, повесил рюкзак на спину, перелез через перегородку – громко, неловко, но тот, с газетой, внимания вроде бы не обратил, – выскочил из туалета и побежал. Очень быстро, как только мог.

* * *

Задыхаясь и хрипя, он зашел в купе. Без одной минуты семь.

IX ПУТЕШЕСТВИЕ

Сажусь на омерзительно-салатовый плюшевый диванчик. Часто, хрипло дышу. В крохотном трехместном купе я единственный пассажир. Больше никого нет – и не будет: проводница получила от меня пятьдесят евро и клятвенно обещала «не подсаживать».

Здесь есть зеркало – встроено в салатовую дверцу настенного шкафчика, с внутренней стороны. Но я не собираюсь открывать этот шкафчик.

Теперь мне не нужно смотреться в зеркало. Я больше никогда не увижу свое лицо.

Заходит проводница, глупо тычет пальцем в билет, лежащий у меня на салатовом столике. Молча сую его ей. Она радостно кивает, с трудом протискивает кривой толстый зад в дверь купе, уходит к себе.

Теперь мне не нужно разговаривать: все в поезде думают, что я не умею этого делать. Я буду молчать. Всю дорогу я буду молчать. Я больше никогда не услышу свой голос.

Стягиваю ботинки, ложусь на диванчик.

Теперь мне ничего больше не нужно делать. У меня впереди вечер, ночь и еще, наверное, день. Потом я умру.

У меня впереди почти сутки. И все это время я хочу быть собой, а не больным парижским клошаром.

Я буду молчать.

Я буду смотреть в окно.

Я буду думать.

Я скоро, очень скоро умру.

Но пока что...

Я разгребу этот мусор. Покопаюсь в своей помойке. Распутая свой клубок.

Вспомню. Все наконец вспомню.

* * *

...Вдруг открывается дверь и выходит старая-престарая старуха, опираясь на костыль. Испугались Гензель и Гретель и все лакомства из рук выронили.

– Эй, милые детки, как вы сюда попали? Ну, заходите ко мне, я вам зла не сделаю.

Но старуха только претворялась такой доброй, а на самом деле это была злая колдунья, что подстерегала детей, а избушку из хлеба построила для приманки...

* * *

Я помню.

Высокий, широкоплечий мужчина стоит перед зеркалом. У него холодные, умные, равнодушные глаза серо-стального цвета. Густые темные брови. Широкий лоб. Очень короткие, очень жесткие волосы – растут вертикально, ежиком. Я знаю, какое ощущение будет, если по ним провести рукой – как будто гладишь щетку для обуви. Я помню это ощущение.

Я помню. Он был моим мужем.

Помню, как стояла за его спиной и смотрела на его отражение в зеркале. У него были красивые скулы. Очень породистое лицо. Правда, общее впечатление немного портил подбородок – маленький, округлый и, что называется, «не волевой». Моя мать говорила, что такие подбородки бывают у трусов. Что ж... он и был трусом.

У него был смешной нос. Немного приплюснутый, с горбинкой – все думали: сломанный. На самом деле – просто кавказский. Он был наполовину грузином – по матери. Бледнокожим, сероглазым грузином. И имя она ему дала грузинское – Сосо. Иосиф. Оно ему совершенно не шло.

У него был красивый рот. Пухлые, насмешливые – но и беспомощные какие-то – губы. И еще – очень красивые руки с длинными тонкими пальцами.

Руки – это было самое главное в нем.

Каждый день он брал в руки колоду карт и вставал перед зеркалом. Быстро-быстро тасовал их. Сгибал всю колоду, потом с громким щелчком отпускал, точно пружину. Перекидывал из правой руки в левую ровную вереницу всегда покорных ему хрустящих картонок, тянущихся друг за другом, тянущихся к его руке, словно металлические скрепки к магниту.

Если я стояла рядом, он иногда говорил мне:

– Сними.

А я говорила:

– Не заставляй меня в этом участвовать.

Тогда он улыбался – еле заметно, уголком рта, – и в глазах у него появлялась скука:

– Сними. Это просто фокус.

Я должна была сдвинуть часть карт – по направлению к нему. Он брал отделенную мною стопочку, перекладывал под низ колоды, снова что-то там быстро сгибал, щелкал, листал – и вот уже «поднятые» карты снова оказывались сверху. То есть – это я *знала*, что они теперь сверху, потому что он мне говорил. Заметить же, в какой именно момент он проделывал этот фокус, было совершенно невозможно.

Каждый день он брал в руки колоду карт, подходил к зеркалу и стоял перед ним минуту. За эту минуту он выполнял шестьдесят карточных вольтов – по одному вольту в секунду. Иногда он тихо произносил их названия: вольт двумя руками, вольт с мизинцем двумя руками, нахлобучка, трамплин, переброс, разворот, крыша, вертушка, книга, пропеллер, крокодил, этажерка, домино, форточка, волна, бутерброд... Так он тренировался.

Он был профессиональным шулером, мой муж. То есть нет – по специальности он был художником: иногда его приглашали рисовать карикатуры в журнале, где я работала. Так мы и познакомились.

Я помню. Вот он сидит за столом, на котором аккуратно разложены кисти, карандаши,

ручки, краски, ножницы, лезвия, колбочки с чем-то прозрачным и непрозрачным... Осторожно макает кисточку с крошечным пучком тончайших ворсинок в оливковое масло. Наносит едва заметное пятнышко на обратную сторону крестового туза. Вот берет лезвие – быстро делает на ребре какой-то карты маленький, совсем маленький надрез. Красной шариковой ручкой ставит крапинки, проводит черточки, чуть-чуть корректирует заводской цветочный узор... Иногда слегка царапает что-то там ногтем... Или иголкой. Курит. Едва слышно напевает себе под нос. Служе-нье му-у-уз... не те-е-ерпит... колеса-а-а...

Я стою рядом и наблюдаю. Мне приятно смотреть. Мне приятно слушать все это шуршание, поскрипывание, бормотание. Так приятно, что я чувствую, как у меня по спине – где-то между лопатками и еще чуть выше, по шее, по затылку – бегают мурашки. Я смотрю и думаю, какие же...

* * *

...красивые у него были руки. Красивые, быстрые, хитрые. Они умели все – рисовать, показывать фокусы, жульничать, маленькой острой иголкой делать незаметные отметины на рубашке игральной карты, мелкими аккуратными кучками нарезать овощи для салата, нежно массировать плечи, нежно ко мне прикасаться – именно там, именно так, где надо, как надо...

Он говорил, что хотел бы писать картины. Что был бы художником – да только вот, к сожалению, художник нормально заработать не может, а шулер или наперсточник – сколько угодно... Врал. Как всегда врал. Какой там художник! Он просто любил врать. Это было его призванием. В этом он был виртуоз.

Он часто играл в наперстки – обычно на площади трех вокзалов. Иногда на рынках.
– Кручу-верчу, обмануть хочу-у-у! – у него был низкий, приятный голос.

Его коллеги-наперсточки предпочитали работать по трое-четверо: один занимался собственно стаканчиками, другой – «везунчик» – с тупой счастливой физиономией слюнявил грязные пальцы, пересчитывая все прибывающую наличность, третий равнодушно прогуливался в сторонке – на случай, если какой-нибудь лох действительно, чего доброго, окажется слишком везучим и у него придется изымать выигрыш.

Иосиф всегда работал один. Он никогда не прибежал к физическому вмешательству («я фокусник, а не грабитель!»). Он приносил с собой маленький раскладной столик. Ставил на него маленькие непрозрачные стаканчики. Вместо шарика он обычно использовал горошину. Иногда орех. Чтобы все было уютно, по-домашнему. Непрофессионально.

Сначала он несколько раз позволял человеку угадать. И лишь потом начиналась настоящая игра.

Как правило во время игры он даже не прижимал горошину к внешней стороне стакана, с тем чтобы потом аккуратно просунуть ее туда, куда нужно. Она действительно находилась внутри. Последним движением он сильно раскручивал стакан с горошиной – так, что она вращалась внутри него, не выпадая. Край стакана приподнимался, обнажая голый участок стола. И стоящий рядом зритель терял к «пустому» стаканчику интерес, радуясь собственной наблюдательности, тыкал пальцем в другую...

– Извини, дорогой, опять не угадал!

На это я не любила смотреть.

По вечерам к нам часто приходили гости, его приятели – расписать пульку. Перед их приходом он снимал скатерть с полированного стола и тщательно протирал его мягкой сухой тряпкой. Потом протирал полированный шкаф, стоявший позади стола. И еще зеркало, висевшее позади стола.

Когда они приходили, он рассаживал их за этим столом. Спинами к полированному

шкафу. Спина к зеркалу. И говорил:

– Маша, ты не сваришь нам кофе?

Я молча шла на кухню и варила кофе. А он нарезал сыр маленькими ровными ломтиками.

Потом они играли в карты, пили кофе, пили минералку, пили водку и курили. Он улыбался уголком рта. Глазами не улыбался – никогда. Равнодушно и немного рассеянно он всматривался в отражающую поверхность стола, шкафа и зеркала, изучая, запоминая чужие карты.

Я помню. Как потом все это прекратилось – и начался цирк.

Он говорил, что это какой-то новый, частный цирк. На окраине Москвы, в здании давно уже не функционировавшего, отданного под склад кинотеатра «Слава». Его пригласили туда работать фокусником – и вроде бы очень неплохо платили. Какие фокусы он показывал там, что там вообще происходило... я не знаю. Он никогда не рассказывал мне. И никогда не брал меня с собой.

Он стал возвращаться поздно ночью – в два часа, в три часа, на рассвете... Возможно, не было вообще никакого цирка. Возможно, было что-то совсем другое. Врать ведь он умел не только руками – но и глазами, языком, всей душой...

Я помню.

Он возвращался на рассвете, и от него пахло вином, табаком, чужими замусоленными деньгами и чужими застарелыми духами. В полусне я отодвигалась на другой край кровати, чтобы не вдыхать этот омерзительный затхлый запах.

Меня тошнило от его запаха. Меня тошнило от его рук. Меня тошнило почти от всего, с утра до вечера, с утра до вечера.

Уже тогда. Кажется, уже тогда у него кто-то появился. Другая женщина. Когда я была на третьем месяце, у него появилась другая женщина. И потом... И дальше...

Я помню.

Я сижу на веранде дачи в зеленом плюшевом кресле. Он гладит меня по волосам – рассеянно, торопливо. Он думает не обо мне. От его рук пахнет этой дрянью – старыми выдохшимися духами. Он приехал ко мне на выходные, он сегодня уедет. Мы только что медленно прогуливались по лесу. Мы три раза обошли вокруг болота. Он приехал ко мне на выходные, и ему со мной было смертельно скучно. Он сейчас уедет. Сейчас. Уедет.

– Она что, пользуется духами своей прабабушки? – спрашиваю визгливо и зло.

Он отдергивает руку:

– Кто – она?

– Кто? Я не знаю, кто. Эта. Твоя, из цирка. Может быть, она гимнастка? Или дрессировщица тигров? Я не знаю. Может, она ходит по канату? У нее отличная фигура, да? Не то что у меня? – я смотрю вниз, на свои отекающие ноги, на свой живот, упакованный в серо-голубой вельветовый комбинезон на бретельках. Комбинезон для беременных... Я вытираю слезы.

Я превратилась в нелепого Карлсона. Я превратилась в тупого пингвина. Я превратилась в плаксивую дуру. Я превратилась в покрытую кожей капсулу, в которой видит сны, сосет палец, не дыша, живет, шевелится и бултыхается кто-то... что-то.

– О чем ты? Я, честно говоря, не понимаю, – его свинцового цвета глаза пустые, такие пустые. Он смотрит на часы. Он скоро уедет.

* * *

Я терпеть не могла эту дачу. Терпеть не могла вечно сырое постельное белье на узкой скрипучей кровати, вечно сырые деревянные стены, увешанные маленькими уродливыми

иконами, весь в бурых потеках, в пятнах осыпавшейся известки потолок, по углам увитый пушистой сеточкой паутины...

Я терпеть не могла комаров, распухших от моей крови, паучков, придавленных моей тушей во сне... огромных усатых ночных мотыльков, которые в исступлении бились о раскаленную лампочку, а потом тяжело падали на письменный стол, на пол, на мою кровать – или же навсегда оставались там, внутри белого расписного плафона, и извивались, и тихо шелестели в предсмертной агонии...

Я терпеть не могла песочное печенье, которое в немыслимых количествах каждое утро выпекала Галина Сергеевна, – чтобы потом оно день за днем сохло на столе и на подоконнике, засиженное мухами, прогоркшее на солнце...

И букетики мелких полевых цветов, которые она ежедневно приносила ко мне в комнату и ставила в белую узкую вазочку, – их я тоже терпеть не могла.

И еще – тощую черную кошку Эльзу с огромными мутно-желтыми глазами, с короткой блестящей шерстью, с узкой треугольной головой инопланетного пришельца... По ночам она часто запрыгивала в мою комнату через форточку, садилась на подоконник и, размахивая влажным напряженным хвостом, тарасилась на меня – долго, тихо. От этого взгляда я просыпалась. Тогда она аккуратно спускалась с подоконника на мою постель и ложилась ко мне на живот. Она лежала на мне красивой черной кляксой и урчала, то втягивая, то выпуская острые коготки, слегка подцепляя ими мою голую кожу. А он – спавший, просыпавшийся, плававший во мне – отвечал ей изнутри, прикасался ко мне с той стороны, с изнанки. Казалось, они так играли. Они долго могли так играть – через меня. Эльза была очень теплая, почти горячая... И, боясь потревожить ее, боясь пошевелиться, я засыпала снова, убаюканная их игрой и этим теплом.

Я это терпеть не могла...

И если бы Иосиф не настаивал, я ни за что не стала бы жить там все лето. Но он настаивал («Нельзя думать только о себе... В Москве такая духота... Это для твоего же блага... Свежий воздух полезен для ребенка... Я буду приезжать по выходным...»). И я там жила. Все лето – до самых родов.

Я помню.

Каждый день я ходила гулять к болоту, подыхая со скуки, подыхая от ревности. Каждый день я считала, сколько еще осталось этих ужасных дней. До выходных. До конца лета. До родов. Каждый день я слушала похотливое мяуканье Эльзы, воркование Галины Сергеевны и пьяный бред дяди Леши...

* * *

Дядя Леша был шизофреником, алкоголиком, убежденным христианином, патриотом, монархистом, антисемитом и философом. Опасное сочетание.

Каждый день он попеременно надевал одну из трех своих одинаковых белых рубашек. Различались эти рубашки только надписями, вышитыми на спине неумелым крупным крестиком: «Россия для русских», «Спаси и сохрани» и «С пидарами не пью».

В «кабинете» дяди Леши все стены были увешаны иконами с ликами святых, большими календарями с видами среднерусской возвышенности, а также портретами русских царей в золоченых рамах. Вдоль стен тянулись стройные ряды пустых бутылок.

По вечерам дядя Леша крутил диск мертвого телефона, из которого торчал черный обстриженный локон никуда не ведущего шнура, – и доверительно что-то бубнил в ватную тишину растрескавшейся красной трубки. О чем-то просил, докладывал, отчитывался, договаривался...

По воскресеньям дядя Леша часто совершал паломничества в звенигородский Саввино-Сторожевский монастырь. После чего там же, в Звенигороде, заходил в свой любимый кабак «У Патрикеевны», садился на свое любимое место – у кадки с пальмой, – за

стол, накрытый бордовой бархатной скатертью, и заказывал сначала картошку с грибами и апельсиновый сок, а потом графин водки – и нажирался до потери памяти. Домой дядя Леша обычно возвращался на рассвете следующего дня. И если его спрашивали, где он шляется всю ночь, он заплетающимся языком отвечал, что гулял в лесу и видел там чудеса. Реже признавался, что пугал прохожих. Несколько раз местные заядлые грибники, выходявшие на охоту с утра пораньше, действительно заставляли его за этим странным занятием. Дядя Леша стоял, притаившись за деревом, и странно подхихикивал. А когда кто-нибудь проходил мимо, он выскакивал из своего укрытия, размахивая руками и дико крича «у-у-у!».

Но вообще-то в поселке дядю Лешу жалели и уважали – особенно сильно уважали с тех пор, как в один из воскресных вечеров ему явилась дева Мария. Об этом инциденте дядя Леша рассказывал часто и с удовольствием.

Он как раз недавно вышел из «Патрикеевны» и, пошатываясь, углублялся в лес, когда вдруг заметил ее. Дева Мария сидела на березе – на самом верху – и улыбалась дяде Леше мудрой улыбкой. Он попытался затеять с ней разговор, но она упорно молчала и только все улыбалась, улыбалась загадочно, как Чеширский кот. А потом она поманила его пальцем – и дядя Леша послушно полез на березу. Уж очень ему хотелось получше ее разглядеть, а может быть, даже потрогать, если она вдруг позволит. Однако когда до девы оставалось карабкаться всего ничего, она медленно растворилась в воздухе – и дядя Леша от неожиданности упал.

Он сломал себе ногу, вывихнул руку и проколол веткой глаз.

Ко мне у дяди Леша отношение было сложное. С одной стороны, что-то во мне его явно настораживало. Что именно, он и сам до конца не понимал. То ли форма носа. То ли политические убеждения. То ли религиозные убеждения – их отсутствие...

– Ты почему крест не носишь? – спрашивал иногда дядя Леша и тут же вяло махал рукой:

мол, можешь не отвечать, мне-то что, плевать я хотел...

С другой стороны – я почти всегда давала ему денег «на опохмелиться». Кроме того, я «читала книжки» и, значит, «была умная» – это, как ни странно, тоже шло в плюс. Когда дядя Леша был в хорошем расположении духа и относительно трезв, он не прочь был побеседовать о литературе.

– Ты Пушкина любишь?

– Угу.

– Пушкин – это наше все...

Киваю.

– Он, между прочим, и про нас написал.

– Про кого – про вас?

– «Кругом простерлись по холмам вовек не рубленные рощи, издавна почивают там угодника святые мощи...» Это про наш монастырь, ясно? В Звенигороде который. «Угодник» – это святой Савва.

– Да? Интересно.

Когда-то давным-давно дядя Леша тоже, видимо, «читал книжки» и «был умный»...

– А ты Булгакова-то читала?

– Читала.

– Он, между прочим, правильные вещи писал, Булгаков.

– Ну да.

– Я вот, например, кое-чего раньше вообще не понимал. До того, как встретился с...

– Я поняла, поняла, – слушать еще раз историю про знаменательное падение с березы совершенно не хотелось.

– Так вот, я раньше неправильно понимал эпиграф к «Мастеру и Маргарите». Ты хоть помнишь, какой там эпиграф, а, образованная?

– Ну, помню.

- Я, это, тот... кто вечно хочет... ну, как там?
- Зла.
- Во-во, зла... И вечно совершает благо... Раньше я не понимал, почему.
- Почему он выбрал такой эпиграф?
- Да нет! Почему хочет зла, а совершает благо.
- И почему же?
- А потому что – Россия.
- Что – «Россия»?
- Потому что земля русская. Здесь зла нету. Нечистая сила есть, а зла – ни-ни.
- Молчу.
- Я знаю, что говорю – уж ты поверь мне. Иногда мы вылезаем сюда.
- Кто – «мы»?

Лицо дяди Леша приобретает вдруг удивительно вменяемое выражение.

– Мы. Нечистые. Иногда мы просто хотим поесть. Или, например, поиграть. Но разве ж это зло? Какое же это зло? Это не зло. Я прав?

– Ну... наверное, правы.

Шизофреническая дяди Лешина логика была мне абсолютно недоступна. Возможно, он действительно был прав.

Закончилось наше с дядей Лешей общение довольно неприятно. Это было в последний день моей дачной жизни – вечером того же дня у меня начались схватки и меня отвезли в больницу.

Было жарко. Ужасно жарко. Я шла прогуляться по лесу, когда в калитку нетвердыми шагами зашел дядя Леша.

От него несло потом и водочным перегаром. Грязная, местами разорванная рубашка была надета швами наружу. Маленький золотой крестик висел криво, запутавшись в седых лохмах у него на груди. Один его глаз – тот, что был зрячим – заплыл, превратившись в маленькую злобную щелочку в центре гигантского фиолетового синяка. Покачиваясь из стороны в сторону, он подошел ко мне и сказал:

- Ты знаешь, что я видел деву Марию, а?
- Знаю, знаю, – отмахнулась я и отступила на пару шагов, чтобы не вдыхать его запах.
- Я видел ее на березе.
- Да. Вы рассказывали.
- Нет. Об этом я не рассказывал. Я видел ее снова. Я видел ее сегодня. На этот раз мне удалось подобраться поближе... И... и...
- И – что? – почти заинтересовалась я.
- И – ты еще спрашиваешь меня? Ты? Т-ты-х-кх? – от возмущения дядя Леша поперхнулся слюной, закашлялся.
- Да нет, не хотите – не рассказывайте, конечно, – я поняла, что пора прекращать этот разговор.
- Нет уж, я расскажу. А ты послушаешь. У нее был русалочий хвост.
- У деви Марии?
- У той твари, что сидела сегодня на березе. И еще у нее... у нее было твоё лицо, с-сука!

Я инстинктивно прикрыла руками живот и попятилась к дому. Медленно, задом – как-то очень уж не хотелось поворачиваться к нему спиной. Он пошел следом за мной. Он говорил:

– Ты не дева Мария. Ты не дева Мария. Ты не дева Мария. Ты не дева Мария.

Господи, ну чего ж ты столько водки-то жрешь, идиот, да еще, наверное, не закусываешь?... псих ненормальный...

- Ну, естественно, дядя Леш, я не дева Мария, – примирительно согласилась я.
- Ты не дева Мария. Дева Мария была русская.

Я хихикнула.

– А ты жидовка. Жидовское отродье. Вы Христа погубили!

У дяди Леша сильно задрожала нижняя губа. Он, кажется, собирался плакать.

– Да вы успокойтесь... вы, это... не нервничайте, дядя Леш... Сейчас я вам Галину Сергеевну позову... Она вас спать положит...

– Ты не дева Мария, – всхлипнул он. – И пусть они мне не говорят. Ты – Манья. Манья. Старуха с клюкой, которая бродит по свету и ищет своего загубленного сына... Это не я сказал. Это знающий человек сказал! В 1881 году...

* * *

– Чайку? Вафельки? Печеньица? Проводница глядит на меня заискивающе и плотоядно. Она пролезла в купе только наполовину – видимо, лень втягивать внутрь огромный зад – и выразительно тискает в когтистых лапах упаковку печенья «Юбилейное».

Молча отрицательно качаю головой.

Чуть помедлив, она все же вползает в купе.

– Я вам сейчас полочку разложу, ладно? Вы только встаньте.

Я продолжаю лежать.

– Встаньте, встаньте! – она делает идиотские жесты руками: вверх-вниз, вверх-вниз, как будто взвешивает невидимый мешок картошки.

Я встаю и выхожу в коридор. У нее в руках неожиданно появляется что-то вроде гигантского гаечного ключа, и она агрессивно тычет им куда-то в основание плюшевого салатового диванчика. Через пару секунд она ловко выворачивает диванчик наизнанку, превращает его в узкую пластиковую полку. Матрас, шерстяное одеяло и подушка со следами чьей-то древней, застиранной крови пристегнуты к полке серыми синтетическими ремнями.

– Пожалуйста. Битэ! – она улыбается во весь рот.

Я захожу в купе и снова ложусь, прямо поверх ремней.

Она стоит в проходе и пялится на меня. Наконец снова разлепляет свои изгаженные комками перламутровой помады губищи и говорит:

– А у меня к вам маленькая просьбочка будет... Эншульдигунг битэ...

«Уходи. Уходи, кукла. Ну уходи же! У меня осталось так мало времени...»

– Вы с собой сигаретки везете? – спрашивает она.

Снова качаю головой.

– Можно я тогда вам свой блок принесу? Нам, понимаете какое дело, нельзя через таможенню перевозить. Ферштейн? А вам ведь это все равно. Вам один блок разрешается... Я вам принесу, ладно? Вам можно, вам разрешается.

Я свешиваю ноги на пол, сажусь. Я смотрю на нее пристально, в упор. Потом одними губами я говорю ей: «Уйди, дура».

– Ну, извините, – она пятится в коридор. – Эншульдигунг... Если захотите чайку, вы не стесняйтесь... Битэ...

Я закрываю за ней дверь.

За окном уже темно. В черном стеклянном квадрате мелькают желтые огоньки. В черном стеклянном квадрате отражается мое лицо – грубое, мужское, больное, умирающее лицо. За что? За что мне все это?

Я хватаюсь за пластмассовую ручку, опускаю на окно жалюзи из серого кожзаменителя. Я не хочу больше видеть себя. Я ничего не хочу больше видеть. Щелкаю выключателем – и купе погружается в темноту.

Снова ложусь на нижнюю полку. Колеса стучат ритмично и убаюкивающе, но у меня слишком мало времени – я не буду спать. Я больше никогда не буду спать. Я скоро умру.

Колеса стучат уютно, ритмично, заботливо. Я закрываю глаза и включаюсь в их ритм: за что? – за что, за что? – за что, за что? – за что, за что? – за что, за что?...

Глупый вопрос. Я знаю, за что. Я знаю, за что, за что, за что, за что...

X ДЕТЕНЫШ

– Немедленно вызывайте охрану! У нас там дети! – взвыла высокая пухлая дама с черными бараньими кудряшками на голове. – Дети! Вы понимаете, дети?

На слове «дети» дама каждый раз нетерпеливо притопывала каблуком, сильно тарасила пуговичные глаза и зачем-то сгибалась в пояснице, почти касаясь наэлектризованными волосами длинного носа бабки-билетерши.

Билетерша упрямо молчала, глядя себе под ноги, на усыпанный семечными очистками асфальт. Делала вид, что не слышит.

– Что там вообще происходит?

– Позовите администрацию!

– Верните деньги за билет!

– Деньги!

– Дети!

– Деньги!

– Дети!

Позади дамы с кудряшками, которой удалось вплотную подобраться к билетерше, ожесточенно толкались возмущенные граждане. Со стороны казалось, что рядом с Пещерой Ужасов идет демонстрация. Изумленные прохожие, прогуливавшиеся посреди аттракционов Чудо-града, замедляли шаг. Толпа росла.

– Простите, а что здесь случилось? – спросила девушка с целой гроздьё ядовито-зеленых воздушных шариков в руке.

– Да авария какая-то, – неуверенно отозвался вялый пенсионер в берете и без энтузиазма воззрился на обнаженные девушкины прелести. На ней был короткий обтягивающий топ, выше пупка, и обтягивающие же джинсы – такие катастрофически узкие, что бледная девичья плоть набухала и свешивалась поверх синей ткани, как взошедшее тесто, перевалившее через край кастрюли.

– Авария? Господи, пострадал кто-нибудь? – забеспокоилась девушка.

– Неизвестно. Может, и пострадал, – не без злорадства откликнулся пенсионер и лениво перевел взгляд с оголенного торса на шарик.

– Да ладно вам, панику-то нагнетать, – сварливо вмешалась в разговор стоявшая рядом женщина с толстым хнычущим малышом-акселератором на плечах. – Мы только что оттуда, да, Коля? – женщина слегка встряхнула ребенка, и тот разразился плачем. – Все там нормально. Просто электричество выключили.

– Да, людэй катают, а ничего нэ видно, – громко провозгласил веселый бородатый кавказец, – скелэты нэ видно, русалкы нэ видно, Фрэды Кругэр нэ видно! А дэньги назад нэ дают!

– Что?! Что я слышу?! Детей продолжают катать на неисправном аттракционе?! – пронзительно заголосила дама с кудряшками прямо в ухо бабки-билетерши.

Билетерша страдальчески сморщилась.

– Немедленно остановите аттракцион! Слышите, вы, я к вам обращаюсь! – продолжала беситься женщина-барашек.

– Конечно, остановите, детям же, наверное, страшно! – поддакнула девушка-тесто.

Бабка-билетерша оторвала наконец взгляд от шелухи и ответила низким скрипучим голосом:

– Да не катают их там. Усе остановили уже.

– Так почему же они не выходят? – недоуменно спросила барашек.

– Дак а как же ж они выйдут? – удивилась бабка. – Без света-то? Да и кресла-то ведь по тросу-то без света не ездют.

– Вы хотите сказать, что мой ребенок... что наши дети сидят там... висят там в темноте? Просто висят там в этих ваших дурацких креслах в темноте, и никто ничего не предпринимает?

– Да, да, не волнуйтесь, сидят тама себе спокойно. Ждут, пока свет починю.

– Спокойно?! – задохнулась от возмущения барашек и заголосила пронзительно:

– Дети! В темноте! Дети одни в темноте! А вы... А вы! Чтобы вам так же! Чтобы ваших детей так же! Немедленно вызывайте команду спасателей! Вызывайте милицию! У меня там ребенок! Да что ж это такое!

Бабка покосилась на даму с опаской, неодобрительно покачала головой и снова погрузилась в изучение асфальта.

– Ну где у них тут спасатели? – всхлипнула барашек.

– Да не волнуйтесь вы так, – с отвращением погладила ее по руке женщина с акселератором на плечах. – Ну зачем вам спасатели? Их же там не в заложники взяли...

– В заложники, вот именно в заложники! – снова оживилась барашек. – Нам тут ничего не видно. Мы тут ничего не знаем. Мы совершенно не знаем, что там происходит! Пустите меня! – барашек резко рванулась вперед и попыталась оттолкнуть билетершу от входа в Пещеру. – Пустите меня туда!

– Не имею права, – ответила бабка и уперлась всем телом. – Да успокойся ты, полоумная, прости Господи!

– Это я полоумная? – взревела барашек и дернула билетершу за блестящие желтые волосы.

Куцый, дешевенький бабкин парик остался в ее руке.

– Ой, – тихо сказала барашек и разжала пальцы.

– Не, ну женщина, ну вы совсем, что ли? – заступился кто-то за билетершу. – Верните бабуле волосы.

– Да не нужны мне совсем ее волосы... – стушевалась барашек. – Я к ребенку хочу пройти... Или чтобы она вызвала спасателей...

– Ну не могу я никого вызвать, ну не могу, ну, – заныла билетерша, подняла с земли свой парик и нахлобучила его на лысую голову. В синтетической прическе застряли кусочки семечной шелухи.

– Почему не можете?

– Да потому что я тут билеты просто проверяю на входе. Я тут вообще никто!

– А кто тут кто? Ну-ка, кто тут кто? – закудаhtала дама с кудряшками. – Позовите мне тогда того, кто тут кто!

– Тот Кто с вами говорить не станет, – странно огрызнулась старуха.

Из Пещеры вынырнул низкорослый таджик в синей спецовке. Подошел к билетерше и тихо что-то забубнил. Старуха несколько раз кивнула.

– Ну что? Что там? – беспокоились в толпе.

– Да все в порядке, я же ж вам говорила. Починили свет. Все выйдут сейчас.

Через минуту дети начали выходить из пещеры. Вид у них был немного озадаченный – но совсем не испуганный. Родители подбегали к своим чадам, гладили их по голове, прижимали к груди.

Наконец вышли все. Дети потащили родителей к палаткам с ход-догами и минералкой, к лоткам со сладкой ватой, к другим, исправным, аттракционам Чудо-града. Через пару минут толпа у входа в Пещеру рассосалась. Осталась лишь бабка-билетерша, барашек – она держала на руках конопатую девочку с кукольными льняными локонами и нервно всхлипывала от радости – и еще какая-то женщина с грустным лицом.

– Простите, – нерешительно обратилась к билетерше женщина. – Там еще должен был быть мальчик... мой сын... он почему-то так и не вышел...

– Не может быть, – неприятно отозвалась билетерша. – Все вышли, женщина.

Сколько ему лет, мальчику-то?

– Семь.

– Поищите получше, женщина. Небось вышел и сразу убег куда-нибудь.

– Нет, он... Он не мог убежать...

Конопатая девочка завертелась на руках у барашка, оглядываясь на женщину. Потом быстро-быстро зашептала что-то на ухо матери. Барашек изменился в лице, поставила дочь на землю, в свою очередь быстро заговорила.

– Нет, я не выдумываю! Не выдумываю! – громко возмутилась девочка и даже притопнула ножкой для убедительности.

Барашек взяла ее за руку и подвела поближе к билетерше и растерянной женщине.

– Скажи им, Катя. Только, я тебя умоляю, если ты все это просто придумала...

– Я там... мы там катались... и я там сидела, – уставившись себе под ноги, затараторила Катя. – Мы там сидели вместе с тем мальчиком, который... ну, то есть это, наверное, ваш мальчик... мы там ехали в этом кресле... нас было трое: я, он и еще одна девочка, она уже ушла с папой, я видела...

– Катя, не отвлекайся, рассказывай нормально, – вмешалась мать.

– ...Ну вот... мы там ехали, а потом погасили свет... все выключилось... и... и мы стали просто висеть... и раскачиваться... ну, мы просто так сами раскачивались, для смеха... и... там у них что-то сверху хлопнуло... и отвалилось... и... и... там было темно, я не знаю... он... он, наверное, хотел посмотреть, что там такое, и... он, кажется, выпал... он упал... вниз... – девочка подняла наконец на слушателей свои большие светло-карие глаза и захлопала длинными ресницами.

– Гос-споди! Господи-господи! – прошептала билетерша и кинулась в Пещеру. Мать пропавшего мальчика и барашек с дочерью побежали следом.

Засеменив было по узкому, оклеенному фальшивыми пенопластовыми сталактитами коридору вперед, к пустым красным сиденьям, старуха вдруг на полпути остановилась, на секунду задумалась – и побежала обратно. Длинным железным ключом она отперла незаметную дверь в стене, у самого входа в Пещеру. Они спустились вниз по скрипучим деревянным ступенькам – в какое-то темное, захламленное подсобное помещение.

Барашек задрала голову: наверху, освещенные тусклыми электрическими лампами, мрачно чернели тросы. Красные пластмассовые кресла с легким скрипом покачивались на них – туда-сюда, туда-сюда...

Билетерша нашарила на стене выключатель, щелкнула. В помещении стало светло. Там были свалены какие-то грязные деревяшки и балки, поломанные кресла, ржавые крюки, гномы, мертвецы и русалки с потрескавшейся от времени краской. Мальчик лежал в центре комнаты, уткнувшись головой в железную сваю. По дощатому полу растеклась – продолжала растекаться – большая кровавая клякса.

– Гос-споди, да что ж это?.. – тупо изумилась билетерша.

– Вызовите скорую, – мрачно и немного злоратно приказала барашек.

– Да-да. Сейчас вызовем, – покорно ответила старуха.

XI ДЕТЕНЫШ

Первый луч солнца просочился через щель в ставне, прополз по бревенчатому полу. Ярко-лимонной полоской пересек неподвижное лицо Костяной, выхватив из темноты седой клоч волос на виске и вытаращенный глаз с огромным черным зрачком.

Реагируя на свет, зрачок медленно, неохотно сузился.

Костяная обычно спала на спине, с открытыми глазами. На нормальной кровати она спать не могла – у нее была больная спина, и она знала, что с такой спиной можно спать только на очень жесткой поверхности. Так что вместо кровати она использовала что-то вроде продолговатого деревянного ящика. Он стоял на четырех чугунных подпорочках. Матраса в

нем не было. И подушки тоже. Зато в дне было вырублено большое овальное отверстие – в него она, кряхтя и охая, просовывала свой огромный горб перед сном.

То, что некоторые называли ее постель гробом, Костяной было совершенно безразлично. Она не обижалась.

– Гроб так гроб, – спокойно говорила Костяная. – Главное, чтобы спать было удобно.

Вставала она всегда очень рано. Но на следующий день после того, как она взяла к себе Мальчика, поднялась совсем ни свет ни заря. Не спалось.

Еще только-только рассвело. Она сходилась к колодцу, набрала ледяной воды, умылась. Расчесала перед зеркалом редкие пепельно-седые патлы. Потом подошла к спящему Мальчику и долго смотрела на него, любовалась, улыбалась беззубым ртом.

В дверь громко постучали.

Она быстро посмотрела в глазок и открыла; скрипнули несмазанные петли. На пороге стоял, зябко поеживаясь, Бессмертный. Так рано он никогда не приходил к ней. В безжалостном утреннем освещении он казался еще более старым, чем обычно. Кожа на лице и шее была сухая и желтая, как пергамент. А огромные, набухшие мешки под глазами – того же цвета, что столетние ели, растворявшиеся на горизонте. Там, за его спиной.

– Т-с-с! – прошипела Костяная, приложив кривой ороговевший коготь к губам, – он спит. Разбудишь еще.

Она выскользнула наружу, во влажный хвойный туман, и прикрыла за собой дверь.

– Ты чего в такую рань? – спросила просто для вежливости. Она знала, зачем он пришел.

– Хочу спросить кое-что, – прошептал Бессмертный и часто-часто закивал головой. – Насчет этого... человеческого детеныша.

– Ну, валяй, спрашивай.

– Какое было предсказание?

Старуха внимательно посмотрела на него. И сквозь него – туда, на дымчато-синие ели, на темные кляксы туч, вечно заслонявшие восход. Задумчиво пососала во рту свой длинный передний зуб.

– Не томи, – почти беззвучно выдохнул Бессмертный. – Скажи. Какое было предсказание?

– Что он нас всех выпустит, – медленно произнесла она. – Что он сломает Иглу. Что он накормит Того Кто Не Может Есть. И настанет конец времен.

Они стояли молча. Глядели друг на друга древними выцветшими глазами.

– Ну вот, я тебе все сказала. Хотя и не стоило бы. Ты не жалеешь, что оставил его? Ты не станешь преследовать его? Не станешь чинить нам препятствия?

Слабая улыбка чуть скривила тонкие бесцветные губы Бессмертного.

– Нет, не стану. Я очень хочу, чтобы сломалась Игла. Я устал. Я ведь так устал. Я хочу умереть.

Помолчали еще.

– Где же будете вы после Конца Времен? – спросил Бессмертный, просто чтобы поддержать разговор. На самом деле ему это было безразлично.

– Детеныш построит Убежище. Убежище Тридевятых. Я думаю, мы будем там.

– А ты полностью уверена в том, что говоришь? Ну то есть... это все точно?

– В общем-то да. Я сама гадала. Я увидела это предсказание в Черном Напитке, который он выпил до своего рождения. Что может быть точнее?

Бессмертный снова улыбнулся:

– Думаю, ты права. Точнее ничего быть не может. Что ж, – он устало вздохнул и по-стариковски причмокнул, – чайком-то угостишь?

– Еще чего. Мальчишку мне разбудишь. Проснется, увидит тебя, испугается.

– А тебя увидит – не испугается?

– Хам, – дружелюбно ответила Костяная. – Ну, иди, иди... А то девицу твою – у тебя

ведь наверняка там какая-нибудь фифочка заперта, да? – уведет кто-нибудь, пока тебя нет.

– Да плевать мне на это. Ты даже представить себе не можешь, – устало сказал Бессмертный, – насколько давно меня перестали интересовать... бабы.

– А я-то думала – ты у нас влюбчивый. – Костяная кокетливо подмигнула. – Зачем же ты их запираешь?

– Да я и сам не знаю. Привычка, наверное. Просто старикинская привычка... Ладно. Пойду.

XII ПУТЕШЕСТВИЕ

Я хожу по лесу и, кажется, что-то ишу – не помню что. С трудом наклоняюсь, всматриваюсь в мокрую, коричневую, подгнившую траву. Потом замечаю кривую тусклую тень: кто-то стоит за деревом. Без страха и без интереса я подхожу ближе – и тогда он выскакивает мне навстречу.

– У-у-у! – он кричит и размахивает руками.

Он совсем не страшный. На нем рубаха с пестрой вышивкой «Это не зло». Он скалит гнилые зубы и смеется:

– Я просто играю. Поиграй со мной, а?

– Во что? – спрашиваю.

– В потерялки.

– Я не знаю такой игры. Как в нее играть?

– Очень просто, – он снова смеется. – Ты что-то потеряла, Маша. Ты Маша-растеряша. Что ты ищешь? Что ты потеряла?

Внезапно я понимаю, что сплю. Но это не помогает – я все равно не знаю, как мне выбраться из этого сна. И куда.

– Что ты потеряла?

– Не помню.

– А ты посмотри. Посмотри на себя повнимательней.

Вот теперь я чувствую страх. Я чувствую густой, ноющий холод – где-то в центре своего тела. В своем животе.

– Где он? – старик давится от смеха. – Ну, где он, где он, а?

Я опускаю голову. Мой живот... Он плоский. Он совершенно плоский...

– Где твой ребенок, Маша? Маня! Манья! Где твой ребенок? Что ты сделала с ним?

Он прыгает вокруг меня, скалится, смеется, беснуется. Он подбегает к сосне и скребет руками кору. С грохотом стучит кулаками в ствол.

– Что ты сделала с ним? Где он? Где твой паспорт? Где паспорт? Паспорт контролле! Паспорт контролле!..

Я вскакиваю, сажусь. Ничего не видно. Кто-то с грохотом ломится в дверь. Несколько секунд я сижу в темноте, неподвижно. Наконец соображаю, где я.

Черт, все-таки я заснула. Сколько времени я проспала? Сколько драгоценного времени?

В дверь купе стучат все настойчивей.

– Паспорт контролле!

Таможня.

Я включаю свет. Открываю дверь и делаю удивленное лицо.

Толстый низкорослый немец в зеленой униформе смотрит на меня мутными выпученными глазами, неаккуратно замотанными в красную сеточку полопавшихся кровеносных сосудов. У него злое, синюшное, перекошенное лицо. В руках он держит что-то вроде гигантского калькулятора.

Он говорит – быстро и раздраженно, по-немецки.

Я роюсь в заднем кармане штанов, вытаскиваю оттуда бордовый паспорт с золотым

дистрофичным орлом и помятый, небесно-голубого цвета листочек. Тот, на котором детским старательным почерком Томаса выведено по-немецки: «Извините, я глухонемой. Я еду в Москву навестить друзей».

Немец недоверчиво таращится на бумажку. Потом берет паспорт, листает. Смотрит на меня. Смотрит в паспорт. Смотрит в голубую бумажку. Снова на меня. Снова в паспорт.

Потом опять спрашивает что-то по-немецки. Я молчу.

Он недовольно морщится и странно цокает языком. Мне вдруг кажется, что он сейчас сплюнет на пол. Но нет. Брезгливо возвращает мне паспорт и уходит.

Я поднимаю жалюзи и выглядываю в окно. *Frankfurt Oder*. Сонные, не по-европейски мрачные тетки в тренировочных костюмах кучкуются на платформе.

Поезд медленно тащится дальше, но минут через десять снова останавливается.

Веселый рыжий поляк врывается в мое купе:

– Пашпорту прошу!

Протягиваю ему паспорт, голубую бумажку.

Некоторое время рассматривает. Поднимает на меня маленькие, полные водянисто-голубого сочувствия глаза. Быстро выходит, махнув на прощанье рябой, покрытой веснушками рукой.

Когда мы наконец трогаемся, кривозадая проводница снова протискивается в мое купе.

– Сейчас по Польше будем ехать, – сообщает она, дохнув на меня перегаром. – Так что вы дверку-то закройте. Заприте, заприте обязательно. Чтобы потом претензий к нам не было. Что мы с ними в сговоре, это самое... А мы не виноваты. Мы вас честно предупреждаем – закройте дверь купе и не пускайте их внутрь, если будут стучаться...

Поезд слегка качает, и проводница с трудом удерживается на ногах.

– Уберите ценные вещи, – говорит она, указывая на оранжевый рюкзачок. – Это Польша, да... Они здесь иногда залезают.

Я достаю из кармана свою голубую бумажку «Извините, я глухонемой», и на оборотной стороне крупными буквами пишу: «Кто?».

– Как – кто? – удивляется проводница. – Щипачи. Поляки.

«Чай», – пишу я на голубой бумажке.

Она уходит и через минуту возникает снова, с белой чашкой, наполненной кипятком, с двумя кусочками сахара и пакетиком *Lipton* на блюдце. Жаль. А я ждала граненого стаканчика в железном подстаканнике.

Я сажусь к столу. Не запираю дверь – мне плевать. Пусть приходят. Пусть берут что хотят.

Болтаю пакетиком в кипятке – в кипятке... а моя рука под бинтом – интересно, на что она похожа сейчас? нет, не интересно... больше я никогда ее не увижу... Кладу два куска сахара и делаю глоток мутной коричневой бурды. И еще глоток. Потом долго, долго кашляю – и одежда на мне намокает от пота.

Больно.

Через силу я допиваю чай до конца, выключаю свет и снова лезу туда, в свой мусор воспоминаний. Я уже довольно далеко продвинулась. Теперь осталось вытащить самые скользкие, залежавшиеся – со дна.

* * *

– Это кто? Кто это? – грозно выкрикивает акушерка, протягивая мне мокрое, скользкое, красное существо с огромным фиолетовым шлангом, торчащим из живота, с маленькими, закатившимися, без ресниц, глазами.

Кто это? Только что вылезло из меня. Перестало меня мучить. Наконец-то освободило меня. Теперь оно будет со мной. Все время.

– Мальчик, – тупо констатирую я.

– Правильно, мальчик! Хороший мальчик, – кудахчет акушерка. – Три восемьсот! Восемь-девять по шкале Апгар! Ну же, мамаша, радуйся! Чего ты не радуешься? Радуйся давай!

Плохой матерью я была, вероятно, всегда. С самого начала.

Не было у меня радости.

– Как назовешь-то – придумала уже?

– Яша...

– Яша? – акушерка смотрит на меня неодобрительно.

– Ну да. В честь моего отца.

– Такой хороший мальчик, – снова сюсюкает акушерка. – Ему имя Ванечка подошло бы...

Иосиф забрал меня из роддома на третий день, привез домой. Выскочил на пару минут на улицу, купил букет роз, обрезал их снизу, сковырнул с основания стеблей шипы, сунул в вазу:

– Это тебе.

Поставил в коридоре табуретку, полез на антресоли, чертыхаясь, вытащил оттуда электрообогреватель, включил.

Я положила сверток со спящим ребенком на нашу кровать – из суеверия или просто от лени мы не покупали заранее никаких детских вещей, даже люльки.

Запахло горелым маслом и горелыми проводами.

Я огляделась. В нашей квартире было холодно, пыльно и очень аккуратно – никакого бардака, все вещи на своих местах... Наша квартира была как музей. Наша квартира была как место, куда никто давно уже не возвращается по вечерам. Он явно не жил там все это время – что я была на даче, что я была в роддоме...

– Скажи, что нужно купить. Я куплю, – он рассеянно улыбается, смотрит на часы.

Торопится?

– Памперсы, – говорю я. – Соску. Влажные салфетки.

– Хорошо. Еды какой-нибудь купить?

– А здесь что, нет еды?

Молчит. Ждет ответа.

– Купи. Молоко, творог, йогуртов, хлеба... ну не знаю, еще чего-нибудь...

– Фруктов?

– Мне нельзя фрукты.

– Почему?

– У ребенка может быть на них аллергия.

– Понял. Солнце мое... Я сейчас сбегая все куплю, а потом побегу на работу, ладно? А вечером приду – и мы тогда как-то отметим, да? Может, вина купить?

– Мне нельзя вино.

– А, ну да, извини...

– Ты. Сейчас. Пойдешь на работу?

– Ну, мне нужно, Маш...

– Ты... ты не мог отменить эту свою работу хотя бы сегодня? Ты оставишь меня здесь одну?

– Я же говорю: я вернусь вечером, и мы отметим, – он улыбается, вежливо прячет за улыбкой раздражение.

– А ты вообще... чувствуешь хотя бы что-то? – я понимаю, что не нужно ничего говорить, что нужно остановиться, но уже не могу.

– В смысле?

– Ну, например, к ребенку.

– Конечно, чувствую.

– И что же?

– Ну, я же его отец... есть же какие-то... чисто природные... инстинктивные вещи... чувства...

Я явно раздражаю его все больше. Он уже не улыбается. Он снова смотрит на часы.

И тогда – от обиды, от страха, что ли... или просто по глупости – я говорю ему:

– С чего ты, собственно, взял?

– В смысле?

– С чего ты взял, что ты его отец?

– Что? Маш – что... ты сказала?

Он плотно сжимает губы. Так плотно, что они белеют. И у него становится странное лицо. Какое-то неподвижное – как у деревянной куклы. Мне приходит в голову идиотская мысль, что он хорошо подошел бы на роль Щелкунчика в детском спектакле.

Я отвожу глаза. Жду еще какого-нибудь вопроса, жду криков, жду оскорблений – но он молчит. Тогда я снова смотрю на него и говорю в это неподвижное, в это застывшее, в деревянное это лицо:

– Может быть, не ты его отец.

– Да? А кто же?

Он вдруг... улыбается. Меня охватывает злость. И я отвечаю:

– Ты его не знаешь. Я сама его видела один-единственный раз в жизни. Познакомились на выставке фотографий... Потом зашли в кафе пообедать. Выпили. Потом... Он очень много говорил. Он все время говорил – даже во время... этого. Это было как раз... Короче, не исключено, что...

Я наконец замолкаю.

Теперь он смотрит *совсем* странно. На секунду мне кажется, что он сейчас меня ударит. Или встанет и молча уйдет, хлопнув дверью. Но он не шевелится. Он вообще не шевелится – только слегка щурит свои свинцово-серые безразличные глаза, точно пытается разглядеть какой-то маленький нечеткий предмет вдалеке.

Просыпается ребенок, пищит жалобно и грустно. Я беру его на руки.

Иосиф опасливо косится на нас, говорит:

– Ты не возражаешь, если я выйду покурю на лестнице?

И выходит, не дожидаясь ответа.

Потом – когда он возвращается – я говорю, что пошутила, соврала, выдумала. Прошу прощения. Плачу. Хожу за ним по квартире, как собачка.

Он говорит:

– Ничего, я так и понял.

– Как?

– Что ты пошутила. Придумала... Ладно, мне надо идти.

Он выходит в магазин, возвращается с продуктами, снова уходит.

Он возвращается под утро.

* * *

Кто-то скребется в дверь купе. Осторожно приоткрывает ее.

В тусклом свете, сочащемся из вагонного коридора, вырисовывается силуэт – невысокий, сутулый человечек в темной куртке с накинутым капюшоном. В руках у него небольшой маломощный фонарик. Ну, вот и он, обещанный польский воришка.

Он тихо притворяет за собой дверь. Светит фонариком по сторонам. Наконец выхватывает из темноты мое лицо – с открытыми глазами.

Молчим. Он меня видит, а я его – нет. Я говорю в темноту:

– Бери что хочешь, мне наплевать.

Он хихикает – и это гнусавое хихиканье я узнаю.

Он говорит:

– Пардон, я просто ошибся купе. Все, что нам было нужно, мы у тебя давно уже взяли,

Маша. Маша-растеряша...

Он выключает фонарик и выходит.

* * *

...Они взяли? Если бы! Я сама. Я сама отдала.

* * *

Кое-что еще осталось на моей свалке. Одно. Самое главное. Самое грязное. Но сейчас я совершенно не могу об этом думать. Возможно, стоит все-таки что-нибудь съесть. Это придаст мне сил.

Шатаюсь, я иду по вагону – и только тогда понимаю, как мне плохо. Приходится держаться за поручни – иначе я упаду. Мои ноги подгибаются, гадко трясутся, приклеиваются к полу, становятся все тяжелее и мягче. Еще немного – и они растекутся густым горячим желе по ковровой дорожке, которой выстлан вагон, утянут меня за собой, вниз, и я впитаюсь в жесткий коричневый ворс...

Я иду. У меня ноют мышцы, кости, суставы. У меня болит даже кожа, даже поверхность глазных яблок... С усилием втягиваю в себя слишком плотный, слишком тягучий, спрессованный воздух. Выдохнуть его обратно еще сложнее. Он застревает где-то на полпути, цепляется за меня, царапает легкие. Напрягаясь всем телом, я все-таки выдавливаю его из себя – маленькими порциями, со свистом.

У меня кружится голова. Пульс стучит в ушах. Этот стук сливается со стуком колес, этот стук такой резкий и громкий... Он рвет мои барабанные перепонки изнутри и снаружи, он оглушает меня, разрушает меня...

Я добираюсь до купе проводницы и показываю пальцем на упаковку «Юбилейного».

Она протягивает мне печенье. Смотрит с подозрением.

– Пьяный, что ли? – спрашивает. – Чего шатаешься-то? Плохо тебе? Чайку, может?

Отрицательно мотаю головой и уползаю обратно к себе.

– Немец – а туда же, – слышу за спиной ее ворчливое бормотание.

Ну да, туда же... Туда же, где немец...

Ем свой последний в жизни ужин: откусываю кусочек печенья – оно кажется мне кисло-горьким, – давась, проглатываю, запиваю остатками холодного чая.

Бесполезно. Нет сил, нет.

Кажется, я умру прямо сейчас.

* * *

Я ныряю в пустоту, холод и тьму. Погружаюсь в ничто.

Здесь невнятный треск, шипение и прерывистый стук – это пульсирует, устало всхлипывая, это все еще плещется во мне горячая красная жидкость, удерживая, не отпуская меня. Это все еще бессмысленно борется со смертью моя кровь, упрямо не желает остановиться, застыть, остыть.

Сквозь свой шум я вдруг слышу что-то еще... как будто случайно ловлю неизвестную радиоволну среди трескучих помех.

– Тебя тоже здесь бросили? – тоненьким голосом спрашивает девочка.

– Бросили... – грустно отзывается другой детский голос. Мальчишеский.

Я его знаю.

– Мне не нравится этот мир, – говорит девочка.

– Мне тоже, – говорит мальчик.

– Если бы кто-то мог сделать так, чтобы он исчез, я была бы совсем не против.

– Я могу.

- Ты можешь сделать так, чтобы исчез мир?
- Если ты хочешь...

XII ПУТЕШЕСТВИЕ

...и скрежет зубовой... скрежет... Умерла?

Ан нет, пока нет... Серое, промозглое утро. Я все еще жива. Подвывая, поезд медленно тащится через мокрый бурый пустырь, заляпанный пятнами ржавого снега. Потом с визгливым стоном останавливается – словно гигантский раненый ящер, уставший волочить по железнякам и деревяшкам свое длинное тяжелое брюхо.

В мутное от дождевых разводов окно я вижу останки других ящеров – десятки, сотни колес от разных поездов свалены на пустыре. Четыре бездомные собаки – совершенно одинаковые, грязно-белые с рыжими пятнами – лениво и бесцельно бродят среди этих колес, обнюхивают их, вяло помахивая нелепыми загогулинами-хвостами.

- Это уже Брест? – доносится чей-то голос из коридора.
- Брест, Брест... Здесь мы долго будем стоять, – отвечает кто-то.
- А скока?
- Да часа три, не меньше.
- Почему?
- Колеса будем менять...
- Блин... А вечером еще российская граница?
- Ну, граница-то да – станция Осиновка... Но там таможни не будет. У нас же с Белоруссией общее типа пространство...

Потом опять какой-то поляк, опять «пашпорту прошу», опять даю бордовую корочку, голубую бумажку, ему же это абсолютно не интересно, ему все равно, он почти не смотрит ни на меня, ни в мои документы, выходит из купе, шипит себе что-то под нос – надо думать, по-польски, но мне чудится:

– Скатертью дорожка!

И еще:

– Ад есть.

Мне это только чудится. Из-за высокой температуры.

Потом приходит белорус – и ему не все равно.

Надпись на моей голубой бумажке он не понимает. Мне приходится написать по-русски:

– Я глухонемой.

Я ему явно не нравлюсь. Мое молчание выводит его из себя. Он вытряхивает все мои – то есть Томасовы – вещи из оранжевого рюкзака, перебирает худыми костлявыми пальцами, недовольно ощупывает швы одежды.

– Огнестрельное оружие? Колюще-режущие предметы? Наркотики? Взрывчатые вещества?

Ну да, сейчас я выложу на стол пару стволов, большой пакет героина и перочинный ножик в придачу, придурок.

Молча смотрю на него, безо всякого выражения. Мне почти смешно.

– Сигареты – больше одного блока? Есть? – хищно косится по сторонам.

А то... У меня тут целый склад. Ну, давай, давай, ищи сигареты, больше одного блока.

Молчу.

– Незадекларированные товары, подлежащие декларации?

Без комментариев.

– Что-то здесь не так... Что-то нечисто... – сам с собой рассуждает белорус. – Куда, собственно, направляемся?

Молчу.

«Куда едете?» – пишет он аршинными буквами на моем голубом листочке.
«На кладбище», – пишу в ответ буквами помельче – и впервые за пару дней улыбаюсь.
В прошлый раз, помнится, моя улыбка предназначалась Томасу...
– Не понял, – мрачно сообщает белорус.
«Посетить могилы родственников в России», – дописываю я.
– Встаньте, пожалуйста.
Сижу, молчу.
– Встаньте.
Сижу.
Он жестами показывает, что нужно встать.
Пошатнувшись, встаю.
Он принимается ощупывать меня – с головы до ног. Недовольно мычу.
– Терпи-терпи! Это еще цветочки, – говорит он. – У смородины они с тобой еще не то будут делать... Там, блин, такая граница... такая таможня... мало не покажется!
У смородины?.. Граница?.. Цветочки?.. Интересно, кто из нас бредит: он или все-таки я? Скорее, я... Это ведь я умираю.
– Ну, скатертью дорожка, – говорит белорус и выходит из купе.

* * *

Жалостливо подвывая, железный ящер втискивается в какой-то крытый застекленный амбар и резко останавливается, истерично взвизгнув. Дальше ехать некуда: это тупик, ловушка. С разных сторон к нему осторожно приближаются люди в оранжевом, окружают его. У них в руках гигантские копья-отвертки, отбойные молотки и гаечные ключи. Что-то грохочет под потолком – оттуда высовываются большие железные крюки, покачиваясь, ползут вниз, царапают ящерицу спину. Он терпит, подрагивая. Затравленно дышит в лица окруживших его людей горелой резиной.

Они подходят к нему вплотную – и умело разрубаят надвое. Хвост – три или четыре последних вагона – быстро увозят куда-то по рельсам. А тело осторожно приподнимают домкратом.

Мне, сидящей внутри этого тела, передается вдруг его дрожь, его ужас.

Сейчас ему сменят колеса – и отпустят его. Он уйдет.

Это будет уже не он.

Впервые за долгое время мне становится страшно.

И еще очень холодно.

Странно – но паника придает мне сил. Я вскакиваю с полки. Трясущимися руками я расстегиваю пряжку ремня, стягивающего матрас и одело. Рву полиэтиленовый пакет с влажным салатным постельным бельем. Быстро стелю. Снимаю сверху еще два одеяла – кладу на постель и их. А потом, часто дыша, забираюсь внутрь – туда, под матрас, подо все это шерстяное, теплое, влажное.

От страха и холода меня трясет крупной дрожью.

Господи, пусть я останусь здесь. Спрячусь, зарююсь в этом тряпье – и буду спать, и буду ездить туда-сюда в этом поезде. Я никого не трону, я тихо-тихо, как мышка, как будто меня вообще нет, я ничего не буду видеть, слышать и помнить. Я не хочу никуда вылезать отсюда – из этого кокона, из этого поезда, из этого тела, из этого мира... Оставь меня здесь, оставь меня! Я боюсь. Оставь меня здесь. Забудь про меня. Не тронь меня. Я не хочу шевелиться. Я не хочу умирать.

Я не хочу вспоминать – то, что осталось вспомнить.

Я трясусь так, что стучат зубы. То, на чем я лежу, тоже трясется: значит, ящера, который меня везет, все еще мучают – подлаживают под здешнюю дорогу... Как меня

подлаживают – под нездешнюю... Мы с ним содрогаясь вместе. И с каждым толчком то последнее, что осталось во мне, перекачивается легко и беззвучно, поднимается с моего дна, ищет выход – пока, наконец, не выкатывается наружу, точно старая копеечная монета из дырявой подкладки брюк.

Вот теперь я помню. Это случилось несколько лет назад.

* * *

– ...Не отвлекайся, рассказывай нормально!

– ...Ну вот... мы там ехали, а потом погасили свет... все выключилось... и... и мы стали просто висеть... и раскачиваться... ну, мы просто так сами раскачивались, для смеха... и... там у них что-то сверху хлопнуло... и отвалилось... и... и... там было темно, я не знаю... он... мальчик... ваш мальчик... он, наверное, хотел посмотреть, что там такое, и... он, кажется, выпал... он упал... вниз...

Он упал вниз, да. Ему было тогда семь лет.

И я забыла все это? Нелепую позу, липкую черную лужу и железные сваи? Грязные носилки, обтянутую непромокаемой клеенкой банкетку в машине скорой помощи, капельницы и прозрачные трубочки? Больницу, подписи там и сям, «к медицинскому персоналу претензий не имею», и «предупреждена», и «разрешаю», и «не несут ответственность»? Как я забыла это?

«Период восстановления после столь тяжелой черепно-мозговой травмы может растянуться надолго», – сказал вскоре после операции врач.

Через три месяца меня попросили забрать его.

За три месяца ничего не изменилось. Он по-прежнему был в коме. Он питался через зонд и ходил под себя – мой ребенок, мой мальчик-овощ.

Я помню, теперь я все помню.

* * *

Мы привозим его домой и кладем его на кровать. Он завернут в теплое одеяло. Он тяжелый и неподвижный – как большой спящий младенец.

В нашей квартире холодно.

Иосиф молча идет в коридор, ставит табуретку, лезет на антресоли. Чертыхаясь, снимает оттуда обогреватель. Включает.

Остро пахнет горелым маслом и горелыми проводами.

– Что же нам делать? Что же нам теперь делать, Сосо?

– Скажи, если нужно что-то купить – я куплю.

– Памперсы – наверное, самого большого размера, – говорю я. – Влажные салфетки. Одноразовые шприцы. И... там возьми у меня в сумке рецепты... Очень много всяких лекарств...

Я плачу. Иосиф смотрит мимо меня. У него застывшее лицо, бледные, одеревеневшие губы.

– Что нам теперь делать? – снова говорю я.

– Мне нужно уехать.

– Куда, на работу?

– Нет. Уехать. Совсем.

– Что ты такое говоришь?

– Я уезжаю. Уезжаю я, Маш.

Уезжаю. Уезжаю. Уезжаю. Что-то мешает мне понять смысл этих слов. Черная трещина мешает мне понять смысл...

Я медленно усаживаю на кровать свое оцепеневшее тело — сюда, рядом с безжизненным свертком, — и молча наблюдаю, как тонкая черная трещина, только что появившаяся во мне, увеличивается, расползается, затягивает в свою бескровную пустую темноту мои чувства и разум, привязанности и страхи, надежду и отчаяние, причины и следствия... Еще с минуту я жду, пока мой треснувший мир окончательно развалится, осядет, осыплется мелкой пылью и снова застынет. И когда в нем наконец прекращается всякое движение, я опять могу двигаться, думать, говорить.

Говорю:

— И куда же ты уезжаешь.

Черт, звучит как утверждение. Мой голос пока не до конца подчиняется мне. Пробую еще раз:

— Куда ты уезжаешь.

Увы. Вопросительная интонация по-прежнему мне не дается.

— В Италию, — отвечает Иосиф. — У нас там новый проект. Ну... связанный с цирком.

— С цирком, да? — о, получилось, получилось вопросительно!

— Да, с цирком, — он наконец смотрит мне в глаза — виновато и нагло.

— А как же мы? Как же он? — я киваю на сверток.

— Он... Прости, Маша, я не могу. Считаю, что я трусил. Но это слишком... это слишком тяжело для меня. Слишком большая ответственность. Если бы я только... если бы я хотя бы мог быть уверен, что это мой сын...

— Что?!

— Маша. Понимаешь, Маша. То, что ты мне тогда сказала — помнишь, когда мы приехали из роддома... Я ведь не идиот. Я ведь понимаю, что это не выдумка. Все это время... я помнил. Нет, я... конечно, люблю его. Как своего. Но так... — теперь уже он кивает на сверток, — так я ну совсем не могу. Это будет нечестно. Это будет притворство. Маша. Как только я устроюсь, я буду присылать вам деньги. На это ты всегда можешь рассчитывать...

Я спрашиваю:

— Все эти годы, все эти семь лет у тебя кто-то был, да?

Он хорошо, он просто прекрасно умеет врать, но я знаю, что сейчас он будет говорить мне правду.

И он отвечает:

— Да.

Я спрашиваю:

— Ты уезжаешь с ней?

И он отвечает:

— Да.

Я спрашиваю:

— Ты никогда не вернешься?

И он отвечает:

— Не знаю.

* * *

Когда Иосиф уехал, когда я осталась одна — один на один — с неподвижным, безмолвным ребенком, я отдала его. Да, отдала, отдала. В интернат для даунов... То есть не только для даунов — для детей с тяжелыми заболеваниями мозга. Просто в основном там были дауны...

Что мне еще было делать?

Ясно, что. Оставить дома. Нанять сиделку. Самой стать сиделкой. Нести эту ответственность. Нести этот крест. Отказаться от всего остального. От фотографий, от амбиций, от поездок, от вечеринок, от мужчин, от надежды иметь семью... потому что

одинокая женщина с семилетним ребенком – это одно, а одинокая женщина с семилетним полутрупом – совсем другое...

Я отдала его в самый лучший приют. Действительно самый лучший – его не так-то просто было найти.

Прежде чем отдать его туда, я побывала и в других местах. Я многое видела там.

Я видела детей, которые в двенадцать лет весили шесть килограммов – скособоченные скелетики, обтянутые прозрачной голубоватой кожей, с паучьими ножками и ручками толщиной в палец, со счастливыми остановившимися глазами. Если бы их хорошо кормили, многие из них могли бы ходить. А так – в их дистрофичных конечностях не было сил даже на то, чтобы ползать.

Если бы с ними занимались, многие из них умели бы разговаривать – плохо, невнятно, но все же... Но их никто не учил говорить.

И еще – там пахло так же, как в лисьем питомнике, где я однажды фотографировала для какого-то журнала взбесившихся лис – метавшихся по клеткам, отгрызавших себе и своим сородичам хвосты, в беспамятстве пожиривших собственных детенышей... В приютах, где я побывала, дети-дебилы, дети-дауны, дети-имбецилы не метались и не бесились, нет. Они спали, мычали и копошились на непромокаемых клеенках в скрипучих зарешеченных кроватях – по шесть, по семь, по восемь детей в каждой. И они никогда не дрались. Наоборот, они *улыбались*. Я сфотографировала эти улыбки.

Они улыбались друг другу и еще кому-то невидимому там, за решеткой...

Но вот пахло у них так же, как у тех лис – болью, экскрементами и отчаянием.

Потом я уничтожила все фотографии.

Интернат на Каширской, куда я отдала своего мальчика, был гораздо лучше. На порядок лучше. Его директор, высокий худой мужчина с неопрятной бородкой – очень сутулый, очень печальный, очень болтливый, – все время выбивал для приюта какие-то западные гранты, тщательно подбирал персонал, разрабатывал всякие экспериментальные программы, способствующие развитию детей... Кажется, он был хорошим человеком.

Главное – в его приюте пахло не так, как в других. Все равно немножко по-лисьи, но хотя бы не так сильно, не так пронзительно.

Там все было чистенько, аккуратно.

Там детей кормили хорошими питательными смесями из зондов и из пластмассовых ложечек.

Там им меняли памперсы несколько раз в день.

Там у каждого была своя кровать.

Там было множество всяких приспособлений – что-то укрепляющих, что-то развивающих... Инвалидные кресла, безопасные качели – для тех, кто может сидеть. Вереvoчные канаты и веревочные лестницы, турники, качели, ходунки – для тех, кто может двигаться...

Ходунки. У моего мальчика тоже такие когда-то были – когда он учился ходить. Он был очень смешной в этих ходунках. Все время натывался на мебель и удивленно так смотрел на меня. Ждал, пока я его разверну...

...Игрушки, кубики, пирамидки, большие резиновые мячи – для тех, кто может играть.

– ...У нас некоммерческое заведение, государственное. Но никакой материальной помощью мы, сами понимаете, никогда не брезгуем, – говорит мне директор как-то даже слегка просительно.

– Конечно, конечно! – я вынимаю из сумки конверт.

Там довольно большая сумма. Практически все, что мне за последние годы удалось отложить, плюс еще то, что прислал Иосиф.

Я торопливо плачу деньги. За моего мальчика. За то, чтобы они забрали его у меня.

Директор заглядывает в конверт, кивает:

– Спасибо.

Потом поднимает глаза. Он смотрит на меня осуждающе. А может быть, мне это только кажется. Может быть, ему все равно.

– Если хотите, я могу устроить для вас небольшую экскурсию, – говорит он. – Показать, как тут у нас и что. Вам же, наверное, интересно, где вы оставляете своего сына?

Издается? Нет, вроде бы нет. Кажется, у него добрые глаза. И очень усталые.

– Да, покажите, пожалуйста.

Я совершенно не хочу здесь задерживаться – но не могу так уйти. Вот так просто взять и сразу уйти.

– Клавдия Михайловна, можно вас на минутку? – зовет кого-то директор.

К нам, прихрамывая, подходит женщина – толстая, с некрасивым добродушным лицом.

– Это наша нянечка, Клавдия Михайловна, – объясняет он. – А это мама нового мальчика.

Клавдия Михайловна вежливо улыбается, смотрит было на меня, но тут же отводит взгляд.

– Клавдия Михайловна, переоденьте, пожалуйста, нового мальчика и отвезите в палату, – директор поворачивается ко мне. – Ну, пойдете.

Я делаю пару шагов и оборачиваюсь. Я смотрю на него в последний раз. На нового мальчика. На нового мальчика.

На моего мальчика.

* * *

– ...Это вот у нас палата для лежачих – вашего сына мы положим либо здесь, либо в соседней, она точно такая же.

Пустая белая комната. Шесть белых кроватей с частыми железными прутьями, какие-то угрожающего вида агрегаты рядом с каждой – и больше ничего. На полу – линолеум с невразумительным истертым рисунком. Наверное, это от него исходит легкий запах хлорки и взопревшей резины. На окнах – белоснежные ромбики решетки... – зачем?

Чтобы не сбежали?

Одна кровать пустует, остальные пять заняты. В них лежат маленькие, худые, неподвижные чудища с большими головами и неестественно скрюченными руками.

– К ним приходят родители? – спрашиваю я.

– Обычно от таких тяжелых детей родители отказываются сразу, в роддоме. И приходят потом крайне редко... – он задумчиво смотрит на детей своими усталыми спаниэльскими глазами. – Да нет, пожалуй что, вообще не приходят.

– Я буду приходить регулярно.

Зачем я это говорю?

– Ну, вы-то, конечно, будете. Но у вас ведь другой случай, – отвечает директор. – Ваш ребенок, слава богу, здоровым родился. И вы с ним столько лет прожили...

– А здесь еще много детей, которые... ну... такие... не с рождения, а после травмы?

– Вообще-то, не очень. Обычно таких детей родители все же сами... – он как-то очень уж подчеркнуто смущается. – Одним словом, не очень много.

– А сколько?

– Ну, на самом деле... на самом деле... у нас всего одна такая девочка...

Смотрит в пол, грустно и обреченно. Как будто ему стыдно.

– Вон она, кстати, – директор указывает рукой на одну из кроватей. – Посмотрите, если хотите.

Я подхожу к кроватке и медленно заглядываю туда в ожидании кошмара.

Девочка лежит на спине. Она совсем не страшная – не похожа на остальных лежачих. У нее нормального размера голова. Да и вообще сложена она вполне пропорционально. Пожалуй, она даже красива...

У нее слишком тонкие пальцы и запястья. И в слишком странной улыбке изогнуты бескровные губы – ей то ли хорошо, то ли больно... Слишком скуластое, слишком бледное лицо. Но все равно она очень красива. У нее большие глаза – плотно закрытые. Кожа на голубоватых веках такая тонкая, что видно, как под этой кожей двигаются глазные яблоки. Как будто она быстро-быстро переводит взгляд с одного предмета на другой – рассматривает их, не открывая глаз. Рассматривает меня... Да нет, наверное, ей просто что-то снится.

У нее густые черные кудряшки и длинные черные ресницы – слегка подрагивают... Эти ее волосы и ресницы – что-то в них есть неправильное. Они слишком яркие и блестящие, чересчур кокетливые, какие-то неприлично живые на фоне иссохшего мертвенно-бледного лица.

– Она спит? – спрашиваю я шепотом.

– Да, спит. Она всегда спит – можете говорить громко, – директор вдруг ухмыляется как-то... цинично. Неприятно.

Или мне просто кажется.

– Всегда? – переспрашиваю.

– Всегда. Она в глубокой коме.

– А... она может прийти в себя?

– Все может быть. Даже чудеса. Но с медицинской точки зрения у нее практически нет шансов...

Он смотрит на меня – и глаза у него опять добрые-добрые. Понимающие.

– ...В отличие от вашего сына. У него шансы есть, и очень неплохие.

– Да. Мне говорили в больнице.

– А вот это – наш самый старший мальчик.

Директор указывает на другую кровать. В ней корчится и истекает слюной человекообразный овощ лет шести.

– Самый старший? – переспрашиваю я недоверчиво. – И сколько же ему?

– Ему семнадцать лет.

Кажется, он говорит серьезно. Ну то есть – конечно, он говорит серьезно. С чего бы ему шутить?

– Так что этот мальчик скоро от нас уйдет, – продолжает директор.

Теперь я уже совсем ничего не понимаю. Уйдет? Как это – уйдет? Сам? Или в смысле – умрет, что ли?..

– Уйдет?...

Да что же я все время повторяю за ним как попугай!

– Не сам, конечно, уйдет. Просто его переведут... э-э-э... в другое заведение, – говорит директор.

– В какое?

– Ну, скажем так: в дом престарелых.

– В дом престарелых?

Я как попугай. Как глупый попугай.

– Ну, у нас же учреждение для детей. А по достижении совершеннолетия их переводят в другие места. К взрослым инвалидам и старикам... Увы. Там совсем другие условия и порядки. Там наши дети плохо приживаются. И довольно скоро гибнут.

– А что, нет никакой возможности держать их здесь подольше?

– Нету. Это будет незаконно – они же уже совершеннолетние.

Я смотрю на уродливого совершеннолетнего малыша. Он высовывает язык, складывает его в трубочку и жизнерадостно мычит. А потом улыбается мне.

... – Ну, а здесь у нас активные детки... Сейчас, извините... Клавдия Михайловна! Вы уже разобрались с новым мальчиком?

– Да-да, все в порядке, Петр Алексеич! Оп! Оп!

Клавдия Михайловна возится на мягком цветастом ковре с двумя неуклюжими

существами, похожими на гномов. У них маленькие сплюснутые головы с огромными заостренными ушами, узкие лбы и большие розовые щеки.

Они прыгают вокруг нянечки, а та их щекочет. Радостно повизгивая, гномики падают на ковер, дрыгают голыми, в синяках и коричневых корочках, ногами, смеются. Скалят неровные желтые зубы.

Потом они замечают меня и сразу успокаиваются. Некоторое время изучают меня своими бессмысленными глазами-пуговками, а потом медленно, с опаской начинают двигаться в мою сторону.

Я невольно отступаю на шаг.

– Не волнуйтесь. Они просто хотят познакомиться, – говорит директор.

Гномики подходят совсем близко. Другие дети – в разных концах комнаты – тоже прекращают свою возню и направляются ко мне. Ползут на четвереньках, волочат по ковру непослушные ноги, гремят ходунками. Они обступают меня плотным кольцом – скалятся, морщатся, подергиваются, чешутся, гримасничают, улыбаются. Тянут ко мне свои кривые тонкие руки. Трогают мою одежду. Вцепляются в меня. Говорят что-то на своем непонятном подвывающем языке.

– Чего они хотят? – в панике спрашиваю директора.

– Да просто поиграть, – он смотрит на меня удивленно. – Поиграйте с ними. Или хотя бы поговорите.

Розовощекий гномик пытается взять меня за руку. Я отдергиваю ее – директор удивляется еще больше и сокрушенно качает головой.

Тогда я снимаю с плеча свою сумку, сажусь рядом с ней на корточки и вытаскиваю фотоаппарат. Открываю объектив.

– Хотите, я вас всех сфотографирую?

Они непонимающе глядят то на меня, то на черный предмет в моих руках.

– Ж-ж-ж! – говорит кривой большеротый мальчик и запрокидывает голову. – Хыа-а-а!

Я подношу фотоаппарат к лицу, заслоняюсь от них. Смотрю в объектив. Несколько уродцев испуганно пьются от меня – боятся моей странной штуки. Остальные с интересом ждут.

«Фотоохота», – вертится у меня почему-то в голове. Что это? Откуда это? Фотоохота... Вспомнила – из мультфильма про Простоквашино...

– Сейчас вылетит птичка! – сообщаю я им и чувствую себя полной дурой.

– Пщищка... – мечтательно повторяет за мной гномик.

Комната недостаточно освещена, и я снимаю со вспышкой. Мне не приходит в голову, что вспышка может кого-то напугать.

Но они – они вдруг пугаются ослепительно-яркого света, и жмурятся, и визжат, и убегают, уползают от меня.

Они смотрят на нянечку Клавдию Михайловну и кричат:

– Мама!

Они облепляют ее со всех сторон.

– Мама, мама, мама...

– Простите, я не подумала... – говорю я директору.

Он отмахивается:

– Ничего страшного. Они через минуту забудут.

– А почему они называют ее мамой? – спрашиваю я.

– Да они кого только так не называют! Видимо, это такое слово... подсознательное. Вряд ли они понимают его настоящий смысл... – директор устало трет лоб рукой. – В любом случае, мы их этому никогда специально не учили.

Мы идем дальше. Прогуливаемся...

– Это Аня и Яна. Вы, возможно, читали... Их сейчас временно поместили к нам. А скоро им будут делать операцию...

Ой, нет. Не хочу, нет, не хочу это видеть так близко. В газете, на фотографии – пожалуйста. Но в одном метре от себя – нет.

Двухголовое, двурукое, четвероногое чудовище стоит передо мной. На нем просторная футболка с мультяшным розовым львенком и надписью «The Lion King» – и старушечья клетчатая юбка. Одна голова неохотно улыбается директору, другая серьезно и равнодушно разглядывает меня. Оно понимает, что не нравится мне. Оно чувствует мой страх.

Я не хочу смотреть на него... на них... на него – и все же помимо своей воли прилепляюсь к нему взглядом. Рассматриваю то место, на стыке, откуда его, вероятно, начнут... распиливать, когда станут делить – когда будут пытаться разделить – на Аню и Яну.

Директор торопливо уводит меня:

– Они не любят, когда их так пристально рассматривают. Оно не любит...

... – А это наша Катенька. Привет, Катенька!

Бритая наголо Катенька в смиренной рубашке с разноцветными мишками и собачками сидит на резиновом матрасе, раскачивается из стороны в сторону и мычит на одной ноте – тихо и назойливо. На нас она никак не реагирует. Ее черные – с огромными зрачками – глаза смотрят в переносицу.

– Катенька – это наше чудо...

– Почему «чудо»? – удивляюсь я.

– У нее в голове вместо серого вещества – вода. Практически *только* вода. По всем законам биологии жить она не может. Однако же... Ей уже скоро пятнадцать. Уже совсем взрослая девочка, да, Катенька?

– Ы у, ы у, ы у, ы у, ы у, ы у, ы у, ы у...

Да что же это такое? Пятнадцать? На вид ей не больше семи...

– Эти дети... Они что, не взрослеют?

Директор снисходительно улыбается: как будто я брякнула какую-то глупость – дурацкую, но вполне простительную.

– Можно и так сказать, – отвечает он. – Не взрослеют. У них, как правило, не работает та область мозга, которая отвечает за рост.

– А как же... – кажется, сейчас я скажу еще одну глупость, – ...а когда они стареют, они тоже остаются такими?

У него на губах снова появляется *та* ухмылочка. Циничная и какая-то...

– Они не стареют, – весело говорит он. – Не успевают.

Я наконец выхожу из ада. Здесь, снаружи, пустынно и очень шумно. Мрачный сентябрьский дождь иступленно стегает прозрачными своими хлыстиками все без разбору: серое двухэтажное здание интерната, серые стволы деревьев, серые высотки, серое шоссе, призывно лоснящееся вдалеке, серую землю.

По щиколотку утопая в грязи, я иду к шоссе. Зонта у меня нет. Зачем я туда иду? Ждать под таким ливнем автобуса практически невозможно...

Но возвращаться туда, в интернат, – невозможно совсем.

К тому времени, как я добираюсь до остановки, дождь немного стихает. Теперь он моросит нудно, настырно и безнадежно. Теперь он – как ноющая боль в животе, про которую думаешь, что она не кончится никогда.

XIV ДЕТЕНЬШ

– Петр Алексеич!

– М-да?

– Петр Алексеич, а можно, я его буду Ваней называть, новенького мальчика?

- Зачем?
- Ну, я знаю, конечно, что это не его имя... Но очень уж он на внука моего похож – а того Ваней зовут... Можно?
- Да зовите как хотите. Ему это, я думаю, решительно все равно.
- Спасибо, Петр Алексеич.

* * *

- Ну, здравствуй, Ванюша!

XV ДЕТЕНЬШ

Костяная вернулась в дом. Из заготовленного еще накануне теста стала лепить пирожки – для Мальчика.

– Интересно, какие он больше любит? – прошамкала она себе под нос. – С повидлом или с мясом? Наверное, с мясом... Мясо-то, оно вкуснее...

Она потянулась к миске с фаршем, ткнулась длинным носом в желтовато-красное, ароматное.

– Свеженькое еще...

Разложив пирожки на противне и засунув их в печь, Костяная уселась рядом с Мальчиком.

Она смотрела на него долго, не отрываясь.

От этого взгляда – и, может быть, еще от запаха горячего масла, мяса и сдобы – Мальчик проснулся.

– Ну, здравствуй, Ванюша.

Мальчик посмотрел на старуху, на мутно-белую кость, торчавшую у нее из-под юбки, и беззвучно заплакал. Не сон. Значит, все это вовсе не сон.

– Я... где я? – пропищал он сквозь слезы.

– В нашем лесу, Ванюша, – ответила Костяная. – Пирожок хочешь?

– Я не Ванюша!

– Ну, давай я буду называть тебя Сынок, – сказала старуха. – Или Детеньш. Или, может быть, все-таки Ваня? Ванюша, а? Как тебе больше нравится? А ты зови меня мамой.

– Вы не моя мама.

– Да так ли уж это важно? – ласково прошамкала Костяная. – Здесь все дети называют меня мамой.

– Вы мне не мама! Не мама! – закричал Мальчик. – Где моя мама? Когда она меня заберет? Я хочу к маме!

– Твоя мама отдала тебя нам, – сказала старуха. – Она не собирается тебя забирать. Да ты не плачь, не плачь, сынок. Вот – хочешь пирожок? Вкусный. Только что испекла. Не плачь. Тебе будет здесь хорошо. Мы научим тебя жить по нашим законам. По нормальным, не по людским. Мы научим тебя всяким фокусам и чудесам, детеньш. Не плачь. Здесь очень интересно. И весело. Я познакомлю тебя с нашими детьми. Я все тебе здесь покажу. Не плачь...

* * *

Костяная открыла скрипучую дверь и вывела Мальчика на порог.

– До обеда, если хочешь, погуляй, – сказала она. – Но только смотри, не уходи далеко. Потом, как пообедаем – я тебе сама все покажу. Да, и пожалуйста, аккуратнее! Не споткнись, не сломай себе чего-нибудь. Ты нам нужен целеньким... Здоровеньким... А то туман здесь бывает, знаешь, какой – сам черт ногу сломит! Что поделаешь... Такой климат... Такая

местность... Эх, такая жисть...

Заборматывая последние слова, Костяная удалилась обратно в дом.

Мальчик отошел на несколько шагов от избушки и действительно сразу оказался в сером, холодном облаке тумана. Огляделся по сторонам – почти ничего не видно.

Осторожно, маленькими шажками, вытянув перед собой руку, он пошел вперед. Вскоре рука прикоснулась к чему-то твердому, шершавому. Забор. Мальчик подошел поближе и пригляделся. Забор этот был сделан из непонятного материала. Совершенно точно – не из дерева. Из каких-то странных грязно-белых палочек, склеенных между собой. Палочки были разной длины и толщины – от совсем коротеньких и тоненьких, размером с детский пальчик, до больших, странно изогнутых, как ноги в коленках, как ноги в коленках, как... кости!

Мальчик пронзительно, по-девчоночьи взвизгнул. Кости. Человеческие кости. Забор из человеческих костей.

Суетливо спотыкаясь, он пошел вдоль забора. Где-то здесь должен быть выход. Должно быть что-нибудь вроде калитки... вот. Вот она.

Туман тем временем стал еще гуще. Мальчик вслепую нащупал что-то – не то ручку, не то дверной засов – и дернул. Закрыто. Дернул еще раз, содрогнувшись от смутного омерзения, – ручка была обтянута сверху чем-то холодным, гладким и... мягким, что ли. Какой-то кожей необычной выделки... Дверь по-прежнему не открывалась, но, как показалось Мальчику, все же немножко подалась.

Он обхватил ручку плотнее (указательным пальцем нащупал на ее кожаной поверхности какой-то выпуклый, твердый кружочек – кнопка? Нет, не кнопка... А рядом еще один кружочек, поменьше, и еще...) и стал трясти и дергать изо всех сил.

Что-то хрустнуло – и калитка с визгом и стоном распахнулась, а холодный гладкий предмет остался у мальчика в руке. Довольно тяжелый предмет. Машинально он поднес его к глазам, чтобы получше рассмотреть.

Это был отломанный кусок человеческой ноги – колено и все, что ниже. Зеленоватая безволосая кожа. Черные, короткие – почти круглые – ногти. *Это* было здесь вместо засова...

Мальчик молча выронил обкромсанную конечность на землю и с полминуты простоял над ней, совершенно неподвижно, молча.

А потом побежал. Выскочил в распахнутую калитку и побежал что было сил – спотыкаясь и падая, не разбирая дороги, совсем ничего не видя из-за тумана и из-за едких слез, залепивших глаза.

– Ваню-ю-ю-ша! – услышал он за собой срывающийся, испуганный голос старухи.

Она бежала за ним, задыхаясь и нелепо прицокивая своей костью. Топ-тук, топ-тук, топ-тук...

– Кто-нибу-у-удь! Остановите его-о-о! Задержите его-о-о! Держите детеныша! Убье-е-ется!

Мальчик оглянулся – ничего, ничего не видно! – и побежал быстрее. Постепенно старуха отстала. Голос ее слышался теперь едва-едва – где-то далеко позади.

А потом, пробежав еще немного, он вдруг наткнулся на что-то – и упал, больно проехавшись по земле локтями и коленками и ткнувшись лицом в мокрую густую траву.

– Ну вот и попался! – сказал противный скрипучий голос. Знакомый голос.

Мальчик съежился, свернулся на земле клубочком и застыл.

Чья-то сильная жилистая рука взяла его за шкуру, подняла с земли, грубо встряхнула.

– Давай-ка я тебя все-таки съем, – сказала волосатое существо, дыхнув Мальчику в лицо водочным перегаром.

Топ-тук, топ-тук, топ-тук, – снова слышалось совсем рядом.

– Я т-те съем, Лесной! – пыхтя, сказала старуха. – А ну отдай детеныша! Забыл, что ли, чего Бессмертный сказал?

– Да подавись ты! – Лесной неохотно разжал пальцы и выпустил Мальчика.

– Пойдем, Ванюша. – Костяная повертелась в тумане и ловко вцепилась своей

когтистой пятерней в безвольно повисшую руку Мальчика.

– Тьфу ты, твою мать! – сплюнул им вслед Лесной.

– А ну не ругайся при детях, – процедила Костяная, не оборачиваясь.

– Баба-Яга, костяная нога! Жопа жилена, манда мылена! – заорал Лесной и захохотал гнусаво и хрипло.

– Алкаш! – сварливо выкрикнула Костяная.

– Я хочу домой, – тихо сказал Мальчик. – Пожалуйста. Я домой хочу.

– Домой?.. Ну так мы и идем домой, Ванюша... Сейчас кушать будем. Я борщик сварила... И пирожки еще остались – с утра. Идем, сынок. Идем.

Топ-тук, топ-тук, топ-тук...

XVI ПУТЕШЕСТВИЕ

Он позвонил мне где-то через неделю, директор интерната.

Он позвонил и сказал:

– У меня для вас хорошая новость. Ваш мальчик сегодня вышел из комы.

Может быть, две-три секунды – две-три секунды между этими его словами и следующими его словами – и были моим счастьем? Бесконечным, оглушительным, беспримесным счастьем, которое по-настоящему, которое один раз в жизни?

– Я могу его забрать?

– Да, но... вы должны понимать, что «вышел из комы» – еще не значит «пришел в сознание».

– Что... что вы имеете в виду?

– Я имею в виду, что ваш ребенок теперь может шевелиться, самостоятельно принимать пищу, возможно, даже ходить... Но – по крайней мере, пока – он как бы совсем не воспринимает окружающую действительность.

– Но он... он хотя бы узнает меня, если я приду?

– Боюсь, что нет. Я же объясняю вам: сейчас он ничего не воспринимает.

Мне захотелось повесить трубку.

– Так вы придете? – словно почувствовав это, забеспокоился директор.

– Да, конечно.

– Сегодня?

– Да. Думаю, да.

Я не пришла. Ни в тот день, ни после. Никогда.

Чтобы не видеть, во что он превратился. Чтобы не знать, какое у него стало теперь лицо, и какое выражение – если есть хоть какое-то... – застыло в его глазах, и какие звуки он теперь издает... Чтобы не видеть, какие он строит гримасы, и как он раскачивается из стороны в сторону, и как он *теперь* улыбается. Чтобы не видеть. Не знать.

XVII ДЕТЕНЫШ

– Покушал? Ну вот и молодец, – сказала Костяная после того, как Мальчик, давась и плача, съел суп и пирожки. – А теперь – тихий час. Ложись спать, Ванюша.

– Я не буду спать, – сказал Мальчик.

– Как это не будешь? Почему? – удивилась Костяная.

– Не хочу.

– А чего же ты хочешь?

– К маме хочу.

– К маме, к маме... Вот заладил. Хорошо. Не хочешь спать – не надо. Так уж и быть.

Но только сегодня – в порядке исключения. Дальше у нас будет тихий час строго по расписанию.

– Дальше? – переспросил мальчик.

– Ну да. Дальше. Пока ты здесь будешь жить.

– И сколько же я здесь буду жить?

– Ну, – старуха зажмурилась, что-то прикидывая, – по закону – до восемнадцати лет.

– По какому закону?

– По вашему, сынок, по вашему. По человеческому... Ладно – рано тебе еще про такие вещи думать. Пойдем лучше. Давай руку.

– Куда пойдем? – отшатнулся Мальчик.

– Познакомлю тебя кое с кем.

– Я не хочу, – сказал Мальчик и вцепился обеими руками в бревенчатый стол.

На всякий случай. Если она вдруг попробует тащить его силой.

– И что же ты будешь здесь делать? – поинтересовалась Костяная.

– Сидеть и ждать маму.

Старуха разразилась противным квакающим смехом:

– Много же лет ты... ык... так просидишь... ык... ой... так насмешил – аж икота напала! Пойдем со мной.

– Не хочу.

Старуха вдруг перестала смеяться. И икать перестала.

– Придется, – сказала она. – А то...

Что-то в ее лице изменилось. Нос, и без того крючковатый, заострился и как-то странно побелел. И губы тоже побелели. И приоткрылись – нет, скорее, оскалились, обнажив длинный гнилой зуб... клык.

– А то сожгу, – прошипела старуха и указала когтем на печь. – Пирожок из тебя сделаю, Ваня... Терпенье мое не бесконечно. Ты меня лучше не зли, сынок. Ну?! Пойдешь со мной?

Мальчик отпустил стол, медленно протянул Костяной свою дрожащую руку и испуганно сказал:

– Пойду. Хорошо, я пойду с вами.

– Не «с вами», Ванюша, а «с тобой», – Костяная мгновенно подобрела и расплылась в беззубой улыбке. – Мы с тобой будем запросто – на ты.

– Пойду с тобой, – послушно повторил Мальчик.

– И еще – называй меня все-таки мамой, а? – елейным голосом попросила Костяная.

– Вы мне... ты мне не мама, – прошептал Мальчик.

– Я же уже говорила тебе – это неважно. Здесь все детишки меня так называют. Ну?

Мальчик молчал.

– Давай я тебе помогу, – затараторила Костяная. – Давай... я тебе говорю: сейчас мы пойдем кое с кем познакомимся, *сынок*. А ты мне скажи: хорошо, мама. А то...

– Хорошо, мама, – глотая сопли и слезы, сказал Мальчик.

– Ну вот и славненько, – взвизгнула Костяная и погладила Мальчика по мокрой щеке. – Пойдем. Да ты не смотри на меня так, Ванюша... Я же на самом деле добрая... Я редко из себя выхожу... Ну – не бойся...

* * *

Костяная слегка подтолкнула Мальчика к массивной темно-коричневой двери.

– Иди. С ним тебе нужно встретиться в первую очередь.

Мальчик сделал несколько шагов и остановился в нерешительности.

– Постучать? – спросил он.

– Необязательно. – сказала она. – Можешь просто войти. Он ждет тебя.

– Он – кто?

– Тот Кто Рассказывает, – ответила Костяная. – Тот Кто Не Может Есть.

– А ты пойдешь... мама? – спросил Мальчик.

– Нет. Я подожду тебя здесь.

Мальчик взялся за тяжелое бронзовое кольцо на двери и потянул на себя. Дверь со скрипом открылась. Он шагнул внутрь.

Там было просторно и светло. Через всю комнату тянулся огромный стол, накрытый ослепительно-белой скатертью. Он был сервирован на множество персон.

От удивления Мальчик раскрыл рот. На этом столе были все, абсолютно все лакомства, которые только можно было себе представить. Курица-гриль в чесночно-сметанном соусе, утка с яблоками и грецкими орехами в винной подливке, поросенок на вертеле, жаркое, шашлыки и отбивные, сыры с дырками, сыры с плесенью, сыры, истекающие нежными соленоватыми каплями влаги... Салаты, винегреты, рагу... Блины со сметаной, блины с вареньем, блины с черной икрой и блины с красной рыбой. Пирожки с яблоками, с капустой, с картошкой, с черносливом... Торты, пироги, фрукты, пудинги, мороженое, конфеты... Все. А еще, в больших хрустальных чашах, – жидкий, тягучий, цвета янтаря мед и пиво, темное, как нефть. С густой и белой, точно деревенская сметана, пеной.

Во главе стола, на старомодном стуле с изогнутыми ножками и высокой спинкой, сидел человек средних лет. Все остальные стулья пустовали.

– Садись, угощайся, – сказал человек приятным грудным голосом.

Мальчик переступил с ноги на ногу.

– Не стесняйся, – снова позвал тот. – Кушай.

Мальчик сел за стол. Положил себе на тарелку кусок утки, салат и оливки и стал есть, украдкой поглядывая на хозяина.

У него было странное лицо, у этого человека. Очень умное, очень худое, изможденное и неухоженное. Густые неопрятные усы, почти полностью скрывавшие рот, плавно переходили в длинную бороду-веник. Буйная растительность на лице была измазана чем-то блестящим и липким. Жесткие кудрявые волосы склеивались в подозрительные застарелые сосульки.

– А вы не будете кушать? – спросил Мальчик.

– Нет, – грустно произнес человек. – Не буду. Я – Тот Кто Не Может Есть. Я – Тот Кто Рассказывает.

– Почему вы не можете есть?

– Не могу глотать, – ответил Тот. – Ты, Ваня, бери, бери себе еще. А я пока расскажу тебе одну историю. Вернее, начало одной истории. Называется «Светлый промежуток».

Мальчику понравилось название. Он взял пару блинов с черной икрой и приготовился слушать.

Светлый промежуток

Начало одной истории

Жил-был на свете мальчик, и звали его Ваня. Однажды Ваня вместе с мамой пошел в Чудо-град – тот, что в Парке Горького – кататься на аттракционах. И вот, когда он катался на маленьком смешном красном кресле в Пещере Ужасов, с ним произошел несчастный случай. Он очень сильно ударился головой. Так сильно, что у него пошла кровь из носа и из ушей, и он потерял сознание.

Некоторое время он так пролежал, а потом приехала скорая, и Ваню повезли в больницу.

В машине мальчика положили на жесткую, трясущуюся от езды банкетку, накрытую вонючей оранжевой клеенкой, сделали ему четыре укола в вену, потом поставили капельницу, а глубоко в горло затолкали трубку, чтобы ему было легче дышать. Чтобы он вообще мог дышать.

К тому моменту, когда Ваню привезли в больницу, его пульс стал очень медленным.

Он совсем не шевелился.

Мальчику сделали рентген и компьютерную томографию. Потом еще уколы. Наконец к Ваниным родителям, которые все это время ждали в коридоре, вышел нейрохирург и сказал, что будет делать операцию. Еще он сказал: «умеренная кома», «прогрессирующая внутричерепная гипертензия», «внутричерепная гематома», «трепанация черепа», «поставьте ваши подписи здесь и здесь»...

– Кстати, ты знаешь, что такое трепанация черепа? – спросил Тот Кто Рассказывает.

– Нет, – помотал головой Мальчик. – Что это?

Ему совсем не нравилась эта сказка.

– Когда делают дырку в черепе. Это... очень древняя традиция. Давным-давно, в эпоху неолита, маленьким детям делали эту дырку, чтобы через нее вылетели плохие духи, а внутрь проникли хорошие. Тогда еще не было ни больниц, ни медсестер, ни общего наркоза, ни скальпелей. Ребенку давали выпить напиток из трав, а потом делали операцию кремниевым скребком. Большинство детей после этого умирали. Но те, кто оставался в живых, обретали мистическую силу. Они вырастали и правили другими людьми, потому что умели делать всякие волшебные вещи. А после смерти из их черепов вырезались амулеты...

...Родители поставили свои подписи. Мальчика побрили налысо и отвезли в операционную. Во время операции сердце у Вани стало биться совсем редко, а потом и вовсе остановилось. Но после электрошока забилося снова. Это была клиническая смерть. Не настоящая.

Через три дня в отделение реанимации, где лежал Ваня, пустили его маму.

Она его не узнала.

Ваня по-прежнему находился в коме. Его голова была плотно забинтована. Вся правая сторона лица превратилась в один огромный зелено-фиолетовый синяк. Из рта и носа торчали какие-то трубочки. Глаза были закрыты.

Врач – тот, что делал мальчику операцию, – отвел ее в свой кабинет, дал стакан воды и, когда она перестала всхлипывать, стал говорить о надежде. Он говорил, что нужно ждать. Он говорил, что головной мозг имеет очень высокие компенсаторные и адаптационные возможности. Он говорил, что о реальных последствиях травмы можно судить только после окончания острого, промежуточного и отдаленного периодов травматической болезни мозга. И что при тяжелых черепно-мозговых травмах эти периоды длятся несколько лет.

– Он будет таким несколько лет? – спросила мать и снова заплакала.

– Нет. Скорее всего, нет. В ближайшие дни он должен прийти в себя. Я надеюсь.

– А... пока он такой... он... как он ест?

– Мы кормим его через зонд. Вводим пищу прямо в желудок. Дробно, пять-шесть раз в сутки в виде питательных смесей. У вас ко мне есть еще вопросы?

– Да... нет. Вот, – она положила на стол конверт с деньгами, – пожалуйста, все что ему понадобится. Любые лекарства, процедуры, любые... господи... смеси.

Врач, который делал Ване операцию, был неплохим человеком. Он действительно надеялся, что Ваня поправится. И он искренне не подозревал, что если Ваня не поправится – то из-за него. Из-за того, что он совершил ошибку.

Тот Кто Рассказывает умолк и погрузился в задумчивость.

Мальчик поерзал на стуле и отодвинул от себя подальше тарелку. Ее остывшее содержимое мерзко пахло сдобой и рыбой.

– Какую ошибку?

Тот Кто Рассказывает пододвинул к себе две чаши – с медом и пивом. Через тонкий хрусталь он грустно смотрел на мед цвета янтаря. Наконец он снова заговорил.

...Большую ошибку. Он пропустил светлый промежуток. Тот, что наступает через некоторое время после удара – но еще до того, как гематома разрастается и сдавливает мозг. Иногда во время светлого промежутка человек приходит в сознание. Иногда – нет. Тогда это называется «стертым светлым промежутком». В любом случае, хороший врач должен распознать светлый промежуток и срочно сделать операцию. Потому что потом делать ее практически бесполезно. А врач, который оперировал Ваню... он упустил момент. У Вани был «светлый промежуток», но тот его не заметил.

Одним словом – Ваня так и не пришел в себя.

– Он умер? – спросил Мальчик.

– Нет, – ответил Тот. – Физически – нет. Но он не мог больше видеть живых, слышать их и говорить с ними. Он не умер. Он переместился.

– А духи?

– Что – духи?

– Ну, те, хорошие духи? Они вошли в него через дырку в черепе? Он получил мистическую силу?

– О да, – вяло отозвался Тот. – Что ж... Вот и сказочке конец.

Он помолчал немного.

– И я там был. Мед-пиво... эх!.. – Тот Кто Рассказывает поднял чашу с медом, отхлебнул из нее большой глоток и закашлялся. Бледное его лицо побагровело. Шея напряглась так, что, казалось, кожа, обтягивающая вены и сухожилия, сейчас лопнет.

Жидкий ароматный мед цвета янтаря вылился обратно изо рта Того Кто Не Может Есть, медленно потек по усам.

– Уходи, – сказал Мальчику Тот, отдышавшись. – Позже я позову тебя снова и расскажу еще одну сказку. А сейчас – иди. Не смотри. Мне надо кое-что закончить.

Тот Кто Не Может Есть взял в руки чашу с пивом цвета нефти.

Мальчик соскочил со стула и, не попрощавшись, кинулся к выходу.

Закрывая за собой дверь, он услышал бульканье, хрип и надсадный кашель.

XVIII ДЕТЕНЫШ

Она действительно была не такая уж злая, эта старуха. Она очень вкусно готовила – причем именно те блюда, которые Мальчик любил. И вообще старалась ему всячески угодить. На ночь, перед сном, она приятно расчесывала ему волосы черепаховым гребешком – и даже пыталась петь песенки своим надтреснутым голосом. А если он наотрез отказывался спать после обеда – она не настаивала. Через несколько дней Мальчик даже стал думать, что это была просто шутка такая – насчет печки. Просто уловка – в воспитательных целях.

Однажды утром, когда Костяная возилась на огороде, он подошел к ней и робко сказал:

– Отпусти меня, пожалуйста.

– Что, Ванюш?

– Отпусти. Меня. Ну пожалуйста. Отпусти.

– Ты опять за свое? – наморщила желтый лоб Костяная.

– Опять...

– Куда ж тебя отпустить?

– К маме.

– Это невозможно, сынок.

– Почему? Ну почему – невозможно?

– Потому что, во-первых, отсюда пока нет дороги. Для тебя. То есть – ты можешь попробовать разные наши способы, но этому еще придется учиться... Во-вторых, твоя мама и сама не очень-то хочет, чтобы ты к ней вернулся...

– Неправда!

– Правда, правда, Ванюша.
– Нет, не правда! Вы врете! Ты врешь! Зачем ты врешь?!

– Да не вру я, Ванюша. И перестань, пожалуйста, плакать. Ну что ты, ей-богу, как девочка? Мама сама тебя нам отдала. И очень хорошо сделала. А вернуться ты к ней не сможешь... Но, если очень захочешь – можешь попробовать ее к нам как-нибудь...

– Сюда? Она может прийти сюда?

– Ну, не совсем сюда... В другое место. Мы туда все, наверное, пойдем.
Мальчик перестал плакать и посмотрел на старуху – пристально, по-взрослому.

– Я не понимаю, – сказал он.

– Вот и хорошо! – обрадовалась почему-то Костяная. – Хорошо, что не понимаешь. Тебе еще рано такие вещи понимать.

– Я все равно убегу, – упрямо сказал Мальчик и шмыгнул носом.

– Сопли вытри, – Костяная протянула ему мятый шелковый платочек.
Мальчик шумно высморкался.

– Все равно убегу, – повторил он.

– Ну что ж, – устало вздохнула Костяная, – не хотела я всяких наглядных демонстраций... Да, видно, придется. Что ж... Беги.

– Что?

– Беги, говорю. Все равно обратно вернешься.
Старуха потрепала его по волосам – длинный коготь неприятно царапнул Мальчику голову.

– Больно, – обиженно отстранился Мальчик.

– Ой, прости, Ванюша, прости, радость моя, – нервно засюсюкала Костяная, – что ж это я, дырявая голова... Забыла, что у тебя шов там...

– Что у меня... там?

– Шов, сынок, шов, – ответила она.
Мальчик вдруг вспомнил странную сказку, которую рассказал ему Тот Кто Не Может Есть.

...ты знаешь, что такое трепанация черепа?..

Костяная повернулась и молча уковыляла в избушку, оставив Мальчика одного.
Он оторопело поглядел ей вслед, потом провел по своей голове рукой. Действительно – там что-то было. Какая-то неровная длинная корочка...

...Он умер? – Нет. Физически – нет. Но он не мог больше видеть живых, слышать их и говорить с ними...

– Это не про меня, – сказал Мальчик. – Нет, это не про меня. Это не про меня. Я все равно убегу. Я убегу отсюда.
Тумана на этот раз практически не было. Быстрым шагом Мальчик пошел в сторону леса.

Никто не погнался за ним.

* * *

– Я убегу. Все равно убегу. Все равно убегу. К маме... – повторял Мальчик в такт собственным шагам.
Это задавало хороший темп:
– Я – убегу – все равно – убегу – все равно – убегу – к ма – ме...
Он шел уже очень долго – а лес все не кончался. Хотелось есть и пить.
Мальчик решил было набрать каких-нибудь ягод – но оказалось, что в этом лесу нормальных ягод не водилось. Не было земляники, черники, голубики... Висели, правда,

какие-то большие бело-зеленые гроздья на засохших колючих кустах – но они совсем не казались съедобными.

Мальчик поискал заячью капусту – кисленькие такие трилистники, – но и ее не нашел.

К вечеру стало холодно и спустился туман. Мальчик перестал бубнить себе под нос – и ритм шагов сразу нарушился.

Теперь он то тащился еле-еле, то вдруг бежал со всех ног, то метался туда-сюда, и скоро совсем уже перестал понимать, с какой стороны он пришел и куда направляется.

Когда наступила ночь – темная, беззвездная, ледяная, – Мальчик присел под деревом и стал думать о том, что обычно случается с детьми, которые оказываются в лесу ночью одни. Что с ними случается? Конечно, их съедают волки. Волки со светящимися зелеными глазами. Или еще какие-нибудь хищники. Разрывают на части, жуют и чавкают. В крайнем случае, детей убивают разбойники. А если очень повезет – они умирают сами, от голода и жажды. А еще их могут заклевать летучие мыши. И совы... совы, у которых поворачивается голова... вокруг шеи... быстро-быстро... как карусель... и можно кататься на этой карусели... с бутербродом в руках... черный хлеб с вареной докторской колбасой... главное, не уронить... чтобы не вылетел...

* * *

Мальчик проснулся на рассвете, от холода, голода и жажды. Судорожно осмотрел себя – цел. Значит, волки не приходили.

Он поднялся на ноги и стряхнул со штанов налипшие еловые иглы и мокрые желтые травинки. Потом огляделся по сторонам. Небо висело низко, очень низко, как лист плотного серого ватмана, наколотый на острия елей. Ту ч на этом небе не было – но и солнца тоже... Забыли нарисовать.

Вокруг простирался лес. Все тот же лес: сырой, пустой, скучный – и, в общем-то, не страшный. Только вот... чего-то в этом лесу не хватало.

Звуков.

Птицы не пели. Не стрекотали кузнечики. А ветер не шевелил ветки деревьев. Тихо и неподвижно стояли березы, осины и елки.

Чтобы хоть как-то согреться, Мальчик пошел быстрым шагом. Просто вперед – бесцельно. Он еще даже не успел толком устать, когда услышал справа от себя далекий, но отчетливый плеск воды. Мальчик повернулся и побежал на этот единственный звук. К реке, к ручью, к болоту – неважно. В любом случае, там можно будет попить...

Деревья постепенно редели. Там, впереди, уже совсем громко шумела река. Только вот бежать становилось все труднее и труднее. Подошвы странно прилипали к земле, увязали в рыхлой, усыпанной листьями почве – как будто он ступал по большой бурой жвачке. Мальчик остановился и посмотрел себе под ноги. Несколько раз моргнув, не веря: его ботинки медленно погружались в землю. Сначала только подошвы. Потом шнурки. Потом... Мальчик вскрикнул и со шмякающим звуком выдернул обратно одну ногу, затем другую. Это оказалось легко. То есть если это даже такое болото, подумал он, затягивает оно не слишком сильно.

Мальчик отступил на шаг, подождал. Та же история: ноги медленно погружались в землю. Он снова высвободился, осторожно побрел дальше к реке. Под ногами чавкало. Очень, очень странное болото... И цвета странного. Болото – оно ведь должно быть зеленое. А это – земля как земля... Или нет? Какая-то красная... Под листьями толком не видно... Мальчик наклонился, осторожно зачерпнул рукой странную слякоть, прикрытую подгнившей растительностью, и – продолжая идти, чтобы не увязнуть в *этом* по колено, – поднес к глазам.

У него на ладони лежал красно-бурый кусок чего-то мягкого, липкого, студенистого. С резким ягодным запахом. Как кисель...

Продолжая, раскрыв рот, изучать красный колышущийся комочек, Мальчик шел вперед.

Шел не глядя – пока нога его, в очередной раз отлепившись от вязкого берега, на ступила в реку. Ботинок мгновенно промок, и пальцам стало горячо. Мальчик стряхнул с руки комок и посмотрел прямо перед собой – на воду.

Это была не вода.

Белая, теплая жидкость с громким журчанием текла перед ним. Кое-где она пузырилась и булькала, закручивалась в маленькие неглубокие воронки... Желтоватые маслянистые ошметки, точно грязные льдинки, всплывали тут и там на поверхность, а потом снова тонули – или их уносило течение.

От жажды и отвращения у Мальчика свело живот. Он скрючился, присел на корточки и набрал полную пригоршню из этой реки. Осторожно попробовал на вкус. Молоко. Отвратительное кипяченое молоко – с пенками. Сморщившись, Мальчик выпил всю пригоршню, набрал еще – выпил. А потом с ужасом обнаружил, что увяз уже по пояс в кисельном берегу.

Он засучил ногами, высвобождаясь. Здесь, у реки, почва была совсем мягкая, полужидкая. Он дернулся всем телом – слишком сильно, гораздо сильнее, чем стоило бы, – и выскользнул из красного месива прямо в реку. Хотел было подняться на ноги, но не почувствовал дна. Попробовал выплыть обратно на берег, но течение было слишком сильным.

Извиваясь в облаке сладкого пара, белая речка подхватила его и поволокла куда-то. Мальчик побарахтался немного – он умел плавать только по-собачьи, да и то еле-еле – и сдался. Повернулся на спину и закрыл глаза.

Теплые молочные пенки щекотали ему шею и щеки.

Он плыл весь день в болезненной полудреме и очнулся только тогда, когда понял, что течение вынесло его в крошечную мелкую бухту, и он уже не плывет, а спокойно сидит по пояс в теплом молоке – среди длинных пожухлых камышей.

Мальчик поднялся на ноги и легко выбрался из реки. Здесь берег был нормальный: песчано-глинистый, не липкий. Вокруг – все тот же лес; узкая прямая тропинка уходила вдаль, разделяя лес надвое. Поеживаясь от прикосновения к телу пропитавшейся молоком одежды, Мальчик пошел по тропинке, рассудив, что это единственный правильный путь: не в лес же идти? А тропинка хоть куда-нибудь да выведет.

Уже стало смеркаться, когда вдалеке показался домик. Мальчик обрадовался и прибавил шагу, чтобы успеть туда до темноты.

* * *

Тропинка вела от реки к домику – и больше никуда; она упиралась прямо в крыльцо и заканчивалась. Слева, справа и сзади наступал лес.

Мальчик остановился в недоумении: домик был необычный. Маленький, коричневый – вероятно, из глины, – украшенный разноцветными камушками. Сверху – что-то вроде соломенного настила. Но больше всего Мальчика удивило другое: стены, крыша и мутно-желтое окно были сплошь облеплены мухами. Такого скопления мух Мальчик не видел никогда, ни на одной городской помойке. Они деловито ползали по темной лоснящейся глине, сражались за место на оконном стекле, целыми стайками садились на разноцветные камушки и с нервным жужжанием кружили над соломой.

Когда мальчик подошел к домику поближе, мухи неохотно снялись со своих мест и дружным зеленоватым облаком повисли в воздухе, на безопасном расстоянии. Только после того, как они очистили стены, Мальчик понял: то, что он принимал за глину, было на самом деле подтаявшим шоколадом, разноцветные камушки при ближайшем рассмотрении оказались карамелью и орехами, вместо стекла в оконном проеме красовался большой квадратный леденец, соломенный же настил представлял собой ворох хрустящей сдобной соломки.

Пахло все это до тошноты вкусно. Мальчику очень хотелось лизнуть шоколадную

стену или выковырять из нее пару орешков. Останавливало только то, что сладости были засижены мухами, а мухи – источник заразы, это Мальчик знал точно. Он несколько раз обошел вокруг домика, чувствуя, как его внутренности недовольно ворочаются и громко булькают от голода. Наконец он не выдержал: решил, что не будет думать про мух и поест немного. Лучше ведь заболеть дизентерией, чем умереть с голоду.

Дрожащим пальцем Мальчик дотронулся до желтого миндального ореха, заманчиво торчавшего из стены под окном, – миндаль сразу же послушно вывалился из неглубокой ложбинки в подтаявшем шоколаде. Мальчик уже хотел сунуть его в рот, когда услышал, что по ту сторону стены что-то зашевелилось и заскрипело.

Звякнула дверная цепочка; там, внутри, кто-то деловито возился с замком.

– Кто там ходит? – бодро поинтересовался из-за двери женский голос. – Кто грызет мой сладкий дом? – хозяйка неприятно картавила, и у нее получилось что-то вроде «г’ызет».

Мальчик выронил орех и беспомощно уставился на дверь – до сих пор ему как-то не приходило в голову, что внутри этого гигантского торта кто-то может жить.

На пороге появилась женщина. Мальчик посмотрел на нее и поспешно отвел глаза: хозяйка дома вышла к нему абсолютно голой.

– Это ты г’ызешь мой дом? – снова спросила она.

– Извините, – ответил Мальчик. – Я не понял, что...

Что говорить дальше, он не знал.

– Ты голодный, небось? – поинтересовалась она.

– Нет, – сказал Мальчик, и тут же добавил, – то есть, вообще-то, да.

– Ну так это еще не повод кромсать чужие дома! Ладно уж, так и быть, я тебя прощаю. Все равно я тут собиралась делать капитальный ремонт. Ну, заходи, что ли, гостем будешь. Чем-нибудь тебя угощу.

Мальчик нерешительно переступил с ноги на ногу и снова осторожно посмотрел на нее. Голая. Совсем. Спутанная рыжая грива до плеч. Темная поросль, почти шерсть, на ногах. Грудь, невероятно длинные и обвисшие, ловко закинута за спину. Идти к ней в гости совсем не хотелось. Но есть хотелось так, что судорогой сводило живот.

– Спасибо, – сказал Мальчик и зашел вслед за ней в дом.

* * *

В самом доме конфетами и сдобой не пахло; наоборот, отдавало чем-то больничным, аптекарским. Изнутри шоколадные стены были оклеены самыми обычными бумажными обоями и почти полностью завешаны старыми потрепанными коврами с изображениями, в основном, оленей. Вышитый олень у вышитого водопоя – и тут же, за деревом, коварный охотник с невнятным месивом ниток вместо лица: стоит, целится из лука... На следующем коврике – все тот же олень, но теперь из бока его торчит стрела; шелковые красные нити спускаются из раненого места вниз, к дробящейся на маленькие синие крестики воде.

Единственная, очень маленькая, комната и совсем крошечная кухня – все, из чего состоял домик – были чудовищно загромождены: всевозможная мебель, зеркала большие и малые, дурацкие фарфоровые фигурки собачек, лисичек и балерин, наборы хрустальных бокалов, чайные сервизы, тазы, гладильные доски, остов давно отжившего свое телевизора, чучела животных, сумки и коробки, какая-то совсем уж нефункциональная и едва ли имеющая название рухлядь...

– Садись вот сюда, – хозяйка расчистила для Мальчика место у захламленного стола. – Сейчас дам тебе что-нибудь.

Порывшись в буфете, женщина извлекла из него покрытую серебристым мехом тушку какого-то некрупного лесного зверька. С длинными обвисшими ушами – но, кажется, все-таки не зайца. Впрочем, Мальчик никогда не видел вправдашнего живого зайца...

На шее животного виднелись кровавые отметины, оставленные чьими-то клыками.

– Мясо будешь? – спросила женщина.

Она плюхнула тушку на стол и острым коротким ножом принялась снимать с нее шкуру.

– Ой, нет, не надо! – Мальчик вскочил. – Я это не буду.

– Что – вегетарианец, что ли? – усмехнулась женщина.

– Нет, но... Нет, спасибо. – Мальчик направился к двери.

– Стой, – сказала она. – Я тебя пока еще не отпускала. Садись на место.

– Нет, – испуганно сказал Мальчик, открыл дверь – и тут же, взвизгнув, отшатнулся.

На пороге домика сидел волк – крупный и очень тощий – и скалил зубы.

– У вас там... волк, рядом с домом, – промямлил Мальчик.

– А, это Тузик, – отозвалась хозяйка. – Не бойся, он тебя не съест, – добавила она. – Если, конечно, ты не будешь мне перечить... Так что садись на место.

Мальчик, пятясь, вернулся к столу и уселся на прежнее место.

– Так что, мясо будешь? – снова спросила женщина. – Это шиншилла, Тузик ее сегодня сам загрыз. Да, Тузик? Да, мой сладкий?..

Она уже успела содрать со зверька шкуру и теперь извлекала и швыряла в алюминиевый тазик бурые внутренности, от которых шло отвратительное зловоние.

Через час мясо было готово. Она подала его с помидорами и какой-то зеленью.

– Пожалуйста. Шиншилла с кровью.

Мальчик ткнул вилкой лежащий перед ним кусок, и из четырех маленьких дырочек засочилась красноватая жидкость.

– Я не хочу это есть, – сказал он.

– А ты папочкин сынок, – ответила женщина.

– В каком смысле? – удивился мальчик.

– В смысле, такой же упертый, как твой отец.

– Вы знакомы с моим отцом? – Мальчик недоверчиво уставился на нее.

– А то как же. Конечно, знакома. И очень близко, – женщина неприятно гоготнула и погладила себя толстой красной пятерней между ног. – Очень близко, – повторила она.

– Я вам не верю, – сказал Мальчик, – если вы его знаете, скажите тогда, например, как его зовут.

– Его зовут Сосо. Иосиф.

– А... а откуда же вы его знаете? И где он сейчас? И...

– Слишком много ты что-то вопросов задаешь, – оборвала его хозяйка. – Вообще, про твоего отца мне сейчас неохота говорить. Скучно. Я с ним, знаешь ли, в последнее время совсем не общаюсь – все, что мне было нужно, я от него уже получила.

– А что вам было нужно? – спросил Мальчик и прямо-таки кожей почувствовал, что сейчас услышит что-то страшное.

– Не что, а кто, – ответила женщина.

– Кто?

– Ты.

Теперь Мальчику действительно стало *совсем* страшно. Страшнее, чем когда он увидел волка.

– Я рада, что тебе понравилось, – сказала женщина.

Мальчик опустил глаза и обнаружил, что во время разговора машинально съел все мясо. Во рту от него остался неприятный кисловатый привкус – зато живот болеть перестал.

– Кто вы? – прошептал Мальчик.

– Я Злая Колдунья, – ответила женщина и почему-то погладила Мальчика по голове. – Вот он, шрамик, – мечтательно протянула она. – Такой милый шрамик... Такая милая дырочка в таком прекрасном черепе... Мне очень хочется иметь твой череп, Ванюша... Я повешу его на стену. Рядом с чучелом оленя...

– Помогите-и-ите! – завопил Мальчик и соскочил со стула.

С улицы, из-за двери, громко рыкнул волк.

– Все в порядке, Тузик! Успокойся! – крикнула женщина и повернулась к Мальчику. – А ты не ори, дурак: никто тебе здесь не поможет. Да ты не бойся, сейчас я тебя не трону – еще слишком рано... Пока что я тебя отпущу, до поры до времени. Ну что, хочешь уйти?

– Хочу, – прошептал Мальчик.

– Тузик, пропусти гостя, – приказала хозяйка, открывая дверь.

Волк перестал скалиться и, поджав хвост, затрусил прочь.

– Иди, – сказала она Мальчику и указала на лес за домом.

– А что там? – набравшись смелости, спросил Мальчик. – Куда я приду?

– Придешь туда же, откуда ушел.

– Но я не хочу туда возвращаться!

– А кто тебя спрашивает, чего ты хочешь? Выбора у тебя все равно нет: куда бы ты ни пошел, в любом случае рано или поздно вернешься обратно. Из этого леса нет выхода, ты разве еще не понял? Ту т можно двигаться только по кругу.

Мальчик молчал.

– Да нет, ты иди, конечно, куда хочешь, – добавила она. – Просто мне показалось, что ты устал. А тот путь, который я тебе указываю, гораздо короче: ты ведь уже прошел большую часть круга. Осталось совсем чуть-чуть...

* * *

К ночи Мальчик добрался до избушки Костяной.

Она встретила его приветливыми причитаниями, засутилась, растопила печь.

– Ну что, устал, Ванюша?

– Устал, – бесцветным голосом согласился Мальчик.

– Кушать хочешь?

– Хочу.

Она накормила его картошкой с грибами, а потом напоила крепким ароматным чаем. К чаю были пирожки с яблоками.

XIX ДЕТЕНЬШ

На следующее утро Мальчик подошел к Костяной и сказал:

– Я видел Злую Колдунью.

– Ох ты батюшки, – сокрушенно запричитала старуха. – Эту поганую тварь? Да чтоб она сдохла! Тьфу! Тьфу! – Костяная яростно сплюнула себе под ноги. – Она тебя не обидела, сынок? Не сделала тебе ничего плохого?

– Да нет, вроде не сделала, – помотал головой Мальчик. – Даже наоборот, покормила.

– И что – вкусно было? – ревниво поинтересовалась Костяная.

– Нет, – успокоил ее Мальчик. – Очень противно. Шиншила какая-то... жареная. Она говорила странные вещи.

– Кто, шиншила? Батюшки мои, я и не знала, что у нее есть говорящая...

– Да нет, не шиншила. Колдунья говорила.

– А, так это она всегда какую-то ерунду говорит. Дура она просто. Ну – а что она сказала-то?..

– Она сказала, что знает моего папу. И что я ей зачем-то нужен... Что ей нравится моя голова...

– Вот, ей-богу, язык без костей! Чушь всякую мелет, да и только!

– ...И что сейчас пока рано, но мы с ней еще встретимся.

Костяная вдруг заметно погрузтелла.

– Знаешь, сынок, – сказала она. – Это, к сожалению, правда: вы еще встретитесь. Но потом, не скоро.

– Но я не хочу ее больше видеть! Я вообще хочу к маме, понимаешь? Мне здесь не нравится!

Старуха молчала.

– А помнишь, ты говорила, что есть какие-то *ваши* способы увидеться с мамой?

Костяная посмотрела на него как-то странно – не то с сочувствием, не то с насмешкой.

– Ну конечно, помню, сынок.

– И что это за способы?

– Да разные есть... – неопределенно отмахнулась она. – Только все они практически бесполезны.

– И все-таки я хочу знать, – не отставал Мальчик.

– Хорошо, узнаешь. Но для этого тебе все же придется познакомиться с местными жителями. Согласен?

– Согласен.

– Ну, тогда пойдем прямо сейчас, – бодро подскочила Костяная.

С утра до вечера Костяная водила Мальчика от избушки к избушке; все они были очень похожи, и в каждой кто-то жил.

В одной – печальный дракон с тремя шеями и двумя головами; на месте третьей виднелась затянутая коричневой корочкой рана.

– Это наш Трехголовый, Ванюша... Только один богатырь отрубил ему голову. Теперь он очень мучается, бедняжка. Но мы надеемся, что сможем ему как-то помочь. Возможно, сделаем операцию и пришьем какую-нибудь подходящую голову...

В другой обитало хлюпающее бесформенное существо – оно сидело посреди избушки, в огромном тазу с какой-то зеленоватой жижей.

– Это наш Болотный, Ванюша, – пояснила Костяная. – У него внутри водичка. Одна водичка...

– ...Это Лесной, ты его уже видел. Не бойся, он тебя больше не тронет...

– ...Это Бессмертный – помнишь, он объяснял тебе, как тебя зовут?.. В самый первый день, когда ты только у нас появился...

– ...Это наши троллики и гномики...

XX ДЕТЕНЫШ

– ...Не расстраивайся, Ванюша. Мы уж им как-нибудь поможем... Скоро им сделают операцию, и все будет хорошо. Сейчас в медицине чего только не бывает... Ну, а теперь пойдем вот сюда. Нужно ведь со всеми познакомиться, да, Ванюша?

Ирочка, старшая медсестра, резко остановилась посреди коридора, покачнувшись на длинных каблуках. На некоторое время она даже лишилась дара речи. Просто стояла и смотрела, как няня Клавдия Михайловна выводит аутичного мальчика с бессмысленным остановившимся взглядом из одной палаты (той, где живут сямские близнецы) и ведет в другую – к девочке-гидроцефалу.

– ...Познакомься, – донесся из палаты нянечкин голос, – это наша Катенька. У нее в голове водичка. Одна водичка... Так, ну а теперь мы пойдем, знаешь куда?.. Пойдем поиграем с активными детишками...

Ирочка подошла к двери палаты и остановилась, загораживая им путь.

– Добрый день, Ирочка, – сказала Клавдия Михайловна. – Пропустите, пожалуйста. А то вы, извините, прямо на проходе стоите.

– Не пропущу, – сказала старшая медсестра и лихо приподняла черную выщипанную бровь.

Она знала, что лицо у нее при этом становится презрительное, умное и исполненное достоинства. Специально тренировалась перед зеркалом... Правая бровь приподнималась

теперь просто идеально. Левая пока что похуже – не так высоко, и к тому же подло тянула за собой правую – так что вид получался скорее огорошенный.

Словом, чтобы не рисковать – а просто поставить старую курицу на место, – она приподняла правую.

– Что значит – не пропустите, Ирочка? – спокойно поинтересовалась няня, глядя себе под ноги и не обращая ни малейшего внимания на все эти мимические достижения.

– Не Ирочка, а Ирина Валерьевна! – взвизгнула Ирочка, мигом позабыв про брови и связанное с ними достоинство. – Я, между прочим, ваше непосредственное начальство!

Ирочка пришла на вакантное место старшей медсестры совсем недавно и пока еще не успела поставить себя в интернате должным образом. Пожилые няньки и медсестры называли ее «Иркой» и «Ирочкой», а некоторые даже тыкали.

– Что значит – не пропустите, *Ирина Валерьевна* ?

– Это значит... Это значит, что... – от досады и напряжения у Ирочки побелел нос. – Да что вы здесь вытворяете?! Нет, я конечно, понимаю – в этом интернате к детям особый подход, не как в других местах. Но этот мальчик... Чего вы его водите туда-сюда? Вы в своем уме? Он же не воспринимает вообще ничего!

– Все что надо, воспринимает, – невозмутимо отозвалась Клавдия Михайловна. – Да вы не горячитесь так, Ирочка...

– Ирина Валерьевна!!!

– Вот-вот, Ирина Валерьевна... Зачем так волноваться?

– Значит так, – сказала Ирочка и сделала глубокий вдох и выдох, чтобы взять себя в руки. – Так. Я хочу, чтобы вы поняли, любезная Клавдия Михайловна. Во-первых, этот мальчик *ничего* не воспринимает. И никогда уже не будет воспринимать...

– А вы не зарекайтесь...

– Не перебивать! – голос у Ирочки снова сорвался на визг. – Никогда уже не будет воспринимать. Насколько мне известно из его истории болезни – и *вам*, Клавдия Михайловна, это тоже должно быть известно, – у него была тяжелая черепно-мозговая травма, клиническая смерть во время операции, кислородное голодание мозга в течение четырех минут, несколько месяцев глубокой комы... Сейчас у него крайняя степень аутизма. Поверьте мне, он ничего не воспринимает. Это во-первых. А во-вторых – будьте любезны называть ребенка его настоящим именем, записанным в карте. С какой стати вы зовете его Ваней?

– Ну так простите, Ирина Валерьевна... Вы же сами говорите, что он ничего не воспринимает, – тогда какая же ему разница, как я его зову?

– Ему – никакой разницы! – снова заголосила Ирочка. – Ему – ни-ка-кой. Зато мне есть разница! Это интернат для детей с нарушениями работы мозга, а не для медперсонала с аналогичными нарушениями. Что вы здесь устраиваете сумасшедший дом? Я вас спрашиваю! Что вы здесь устраиваете цирк?!

– Да мы, собственно...

– Я буду жаловаться. Я буду писать докладную директору, – теперь Ирочкино лицо покраснело; на лбу выступила испарина. – Я это все так не оставляю.

Громко стуча каблуками, Ирочка пошла прочь по коридору.

XXI ДЕТЕНЫШ

И еще очень много разных странных существ показала ему Костяная: в тот день Мальчик познакомился почти со всеми.

Уже под вечер она подвела его к избушке, стоявшей на отшибе, и сказала:

– Сейчас я покажу тебе одну девочку. Ее зовут Спящая.

Они зашли избушку. Там было чисто, светло (длинные ряды зажженных свечей

располагались вдоль стен) и очень пусто. Собственно, кроме этих свечей и маленькой белой кровати с резными прутьями в доме не было вообще ничего.

Сверху на кровать было наброшено покрывало из легкой полупрозрачной ткани. Старуха подцепила длинными когтями край покрывала и аккуратно сняла его.

– Смотри. Вот она, наша Спящая. Красавица наша!

Мальчик подошел к кровати и опасливо заглянул внутрь, ожидая увидеть очередного монстра.

Девочка была совсем не страшная. Она лежала на спине, и одна ее рука – с тонким-тонким запястьем, на котором просвечивали голубоватые венки, – высывалась из-под одеяла. Ее бескровные губы изгибались в странной улыбке – как будто ей было то ли очень хорошо, то ли очень больно...

Некоторое время Мальчик смотрел, не отрываясь, на ее узкое, бледное лицо с резко очерченными скулами, на длинные, изогнутые ресницы – такие яркие, такие угольно-черные на фоне голубоватой белизны лица. Смотрел на ее блестящие, густые кудри. Кого-то она ему напоминала, эта девочка... Другую девочку... Ту, рядом с которой он сидел в красном кресле – на аттракционе в Пещере Ужасов. У той тоже были длинные ресницы, темные кудряшки и что-то общее в чертах... И все же та, на аттракционе, была лишь жалким подобием этой.

– Какая красивая! – шепотом сказал Мальчик.

– Да ты говори, Детеныш, нормально. Она все равно не проснется.

– Почему?

– Как – почему? Потому что она заколдованная. Она будет спать, пока однажды ее не поцелует...

– Прекрасный принц?

– Ну да, что-то вроде того. Если сам знаешь, чего спрашиваешь?

...Была глубокая ночь, когда они подошли к дому, где жили Брат и Сестра.

– Ну вот, поиграешь немного с детками – и пойдем домой, ладно? – Костяная выглядела очень усталой. – Если хочешь, спроси их, какие есть способы вернуться к маме – они вроде бы знают. Но лично я тебе не советую этим заниматься, Ванюша. Все равно ничего не получится.

В тот вечер Брат и Сестра научили Мальчика, как искать дорогу домой по хлебным крошкам и по маленьким камушкам.

И много, очень много дней и ночей прошло, прежде чем Мальчик убедился в том, что Костяная права: ни камушки, ни крошки, ни какие-либо другие ухищрения не помогали. Из леса не было выхода.

XXII ПУТЕШЕСТВИЕ

Я наконец согрелась.

Вылезаю из-под матраса. Из своего укрытия.

Сажусь.

Уже почти стемнело. Я не включаю свет – так будет удобней смотреть в окно. Бесконечный хвойно-березовый лес растянулся вдоль железной дороги большой мертвой зеброй.

Я почему-то чувствую себя гораздо лучше. Усталость – это да, но в целом вполне себе ничего... Кажется, даже температура спала. Елки-березы, елки-березы... Никогда я их не любила. Есть что-то в них безнадежное... Какая-то обреченность. И еще от них ужасно хочется спать. Даже не спать – зевать...

Мой рот кривится, послушно готовясь выдавить из глотки зевок, открывается все шире и шире. Сами собой зажмуриваются, слегка слезятся глаза. Вот, вот она, уже на подходе,

долгожданная щекотная судорога... сейчас я зевну – нет, не получается... Несколько секунд – и снова приятно и мучительно напрягается гортань, я открываю рот и жду облегчения, жду, когда зевотная волна пройдет через меня, даст мне расслабиться и нормально дышать, глубоко-глубоко вздохнуть... Но слишком густая, клейкая эта волна никак не хочет выплескиваться, медленно утекает в меня и тут же просится обратно наружу... Слезы ползут по моим щекам, я строю гримасы, чавкаю языком, корчусь и таращу глаза. Я просто хочу зевнуть, мне нужно, очень нужно зевнуть... Мне нужно хотя бы вздохнуть... Выдохнуть... Кашлять... Но я не могу – с мягким хлюпаньем что-то сжимается в горле. Там остается лишь маленькая, совсем крошечная дырочка, через которую я тяну, тяну, тяну в себя воздух... его гораздо меньше, чем мне нужно, но это все-таки воздух...

Поезд, покачиваясь, замедляет ход. «О-си-и-новка!» – кричит радостный детский голос в коридоре. И от этой качки, от этого тоненького пронзительного «си-и-и!» мне снова хочется, так непреодолимо хочется зевнуть, что на секунду я перестаю дышать – и крошечная дырочка в моем горле немедленно стягивается и тихо закрывается – навсегда.

Я все еще вижу... елки-березы, елки-березы, елки-березы... навсегда...

Лес.

ЧАСТЬ 3

*– Эта нянька сумасшедшая или преступница. Она все может.
Зачем ее только к нам взяли.*

– Да бросьте, дети, ссориться. Так и до елки не доживешь.

А. Введенский «Елка у Ивановых»

I МОСТ

Есть такой голос – без определенного тембра, не громкий и не тихий, не ласковый и не грубый, спокойный, интимный, уверенный, совершенный, отрешенный, единственно правильный голос. Ему невозможно не верить, невозможно не доверять, невозможно не подчиняться – он знает все. Этот голос иногда говорит с нами во сне. Делится крупинками своего знания. Что-то приказывает. Или объясняет. Или утешает – но это совсем редко...

Утром, когда отвиждал свое будильник, когда съеден завтрак, когда вымыта посуда, когда льется вода в душе, когда во рту горько-сладкое послевкусие ночной неподвижности, растворимого кофе и зубной пасты, – утром его советы, его приказы, его откровения забываются. А если не забываются, то кажутся просто ерундой, бессмыслицей, не подчиняются скучной, неловкой, недоразвитой логике бодрствования. «Пятница – это синий день»... «Не соглашайся играть в реке»... «Сто двадцать шесть»... «Головы деревьев зарыты в земле»... Что это? Откуда? Зачем они нам, эти ошметки какой-то большой, бесформенной, нездешней правды?

В книгах можно найти объяснение этому – у Фрейда, у Юнга, у кого только не... Что-то про подсознательное. Про бессознательное... Уже не помню. В моем теперь это неважно.

В моем теперь я никогда больше не прочту ни одной книги. В моем теперь я не почувствую больше вкус кофе. В моем теперь всегда ночь, и лес, и тропинка, освещенная лунным светом. В моем теперь не наступит утро.

В моем теперь со мной опять говорит этот голос. Голос из снов. Я узнаю его. Я доверяю ему.

Он говорит:

– Я отвечу на три твоих вопроса. Только сначала тебе нужно пройти сорок шагов.

– В какую сторону?

– В любую.

Иду, считая шаги. На тридцатом шаге я подхожу вплотную к маленькой речке. В ее неподвижной черной воде отражается полная луна. Чуть в стороне через реку перекинут хлипкий деревянный мостик.

Делаю шаг – захожу в воду. Она ледяная. Еще девять шагов по скользкому илистому дну – и я дохожу аккуратно до середины реки. Вода покрывает меня с головой – впитывается в волосы, остужает кожу, медленным густым потоком заливается в уши и ползет дальше – через горло, через бронхи, через кишечник, через вены, сосуды и капилляры заполняет меня холодом. Въедается в меня. Пропитывает пронзительным холодом изнутри.

Тогда он говорит:

– Выходи и поднимайся на мост. Я отвечу на три твоих вопроса.

Я выбираюсь из реки и поднимаюсь на мост. Черные капли воды стекают по моим волосам, по лицу, по спине. Мне холодно. Мне очень холодно. Я спрашиваю:

– Я умерла?

Он отвечает:

– Смотри.

Почему-то я понимаю, что он имеет в виду. Наклоняюсь через перила и смотрю вниз: на черную, черную, черную воду.

* * *

В этой воде, как на киноэкране, появляется изображение...

...Проводница испуганно тычет дрожащим пальцем в плечо Кудэра. Жирный мент с перекошенным лицом грубо отталкивает ее. Его губы шевелятся. Мне не слышно звука, но его голос звучит где-то внутри меня. Мент орет:

– Ничего не трогать!

Он садится перед Кудэром на корточки и внимательно, чуть ли не почтительно вглядывается в его мрачное застывшее лицо.

– Немец, говоришь?

– Да вроде бы... Он немой был.

– Немой немец. Немой мертвый немец, блядь. Немой мервый немец в поезде. Отлично. Лучше не придумаешь. Один ехал?

– Один, да.

– Вещи при нем были?

Проводница указывает на оранжевый рюкзачок, валяющийся на полу в углу купе.

Толстые желтые ментовские пальцы дергают молнию, копаются в барахле, перетряхивают одежду, выуживают фотоаппарат *Nikon Coolpix 4500*, включают, бессмысленно тычутся в разные кнопки.

– Да ни хуя ж... Ле-е-еха! – заунывно кричит мент, и на крик в купе лениво всовывается красная лысая голова напарника.

– Смотри, – мент поворачивает фотоаппарат к Лехе так, чтобы тому был виден маленький экранчик, а на этом экранчике – маленький человечек, в странной позе застывший на унитазах...

Следующий кадр.

Обнаженное, освещенное яркими люминесцентными лампами тело Кудэра лежит на длинном белом столе. Высокий худой человек с пропитым лицом подходит к столу. На нем замусоленный белый халат, поверх халата – клеенчатый фартук, заляпанный коричневатыми пятнами. Рядом на небольшой тумбочке разложены какие-то инструменты.

Человек надевает на руки резиновые перчатки.

– ...по самому по краю... я коней своих нагайкою стегаю, погоняю, – тихо-тихо мурлычет он себе под нос, разрезая Кудэра чуть ниже шеи, поперек – от левой ключицы к

правой.

А потом вдоль – от груди до лобка, аккуратно огибая пупок.

– Чуть помедленнее, кони... чуть помедленнее... – с хлюпающим звуком он погружает свои трясущиеся руки в перчатках внутрь Кудэра, – ...в-вы тугую н-не слушайте плоть.. н-но что-то кони мне попались... Хроническая пневмония, практически полностью поражена правая доля легкого...

Человек спокойно ковыряется, что-то ворошит там, внутри. Перепиливает, протыкает, цепляет зажимы. Вытаскивает наружу. Распикивает, разливает по большим прозрачным посудинам.

– Я коней напою-ю-ю, – хлюп, хлюп. – Я куплет допою-ю-ю... Хотя немного еще постою-у-у на краю-у-у... Явления гепатита в печени... Селезенка умеренно увеличена... Язва двенадцатиперстной кишки... в стадии обострения... меня пушинкой пум-пурум-пурум с ладони... и в санях меня галопом повлекут парам-парам-па-а-ам... Сепсис в подострой форме... Общая гнойная инфекция на фоне, предположительно, обширного ожога кисти левой руки... Вы на шаг неторопливый перейдите, мои кони... хоть немного, но продлите путь к последнему приюту-у-у... Покойный, безусловно, умер естественной смертью... М-да... Непонятно, как он вообще ухитрился столько прожить... э-э-э... в таком состоянии...

* * *

...Вода снова чернеет, и голос говорит мне:

– Это был твой первый вопрос. Задавай второй.

– Где я нахожусь?

– Разные народы зовут это место по-разному. Но, если не углубляться... Мост, на котором ты сейчас стоишь – и долго еще будешь стоять, – называется Калинов. Река, в которой ты только что искупалась, – Смородина. Точнее – Черная Смородина. Это река с мертвой водой. Она разделяет два берега – Явь и Навь. Вот такая у нас география... Так что – милости просим. Здесь ты и будешь ждать. Это был второй вопрос. У тебя остался последний.

– Чего я буду ждать?

– Ты будешь ждать, пока придет твой муж. А потом вы вместе пойдете в Убежище. Так хочет Мальчик. А пока – тебе не дадут здесь скучать... Будут развлекать – но и пугать немножко.

– Долго все это продлится?

– Ты уже задала свои три вопроса. Но... так уж и быть – я отвечу и на этот. Долго ли, коротко ли – это смотря с какой стороны посмотреть. Со стороны Яви – долго. А со стороны Нави время идет по-другому. Здесь все – теперь. Все просто теперь.

Мне не страшно. Не грустно. Не больно. Мне просто очень, очень холодно.

– Теперь я выполню три твоих просьбы, – говорит голос. – Если это в моих силах. Чего ты хочешь?

Я говорю:

– Мне хочется увидеть тебя.

– Смотри.

Какой-то мужчина выходит из леса, быстрой походкой приближается ко мне. И говорит:

– Привет.

У него усталое, очень худое, бородатое лицо. Я узнаю его.

Однажды я его уже видела. Мы познакомились на какой-то фотовыставке. Потом он повел меня в кафе-блинную. Я ела там, кажется, блины с красной икрой и очень много пила. Он заказал себе темное пиво и блины с медом. Но так ни к чему и не притронулся. Зато все

время говорил, говорил, говорил... Какие-то хохмы, побасенки, унылые анекдоты. Некоторые я до сих пор помню...

– ...Один мальчик увидел объявление: «В нашем цирке – говорящий ослик и летающие крокодилы!». Мальчик пошел. И действительно – ослик отвечает на вопросы зрителей, крокодилы парят под куполом цирка. После представления мальчик вбегает за кулисы и видит: стоит ослик, рядом с ним – дрессировщик с кнутом. Потом дрессировщик размахивается и – шарах ослика по яйцам, и еще, и еще. Ослик плачет. Мальчик кидается к дрессировщику, кричит: «Как же так? Прекратите! Что вы делаете?».

А ослик говорит грустно так: «Да ладно, мальчик. Это еще что... Видел бы ты, как крокодилов пиздят»... Или вот еще один, Маш, хочешь? Бегут сперматозоиды, друг друга отталкивают. Потом самый первый вдруг останавливается, круто разворачивается и кричит...

Потом мы пошли к нему. Я была очень пьяна. Он был очень болтлив. Через пару часов нам было очень противно – обоим...

– Это не ты, – говорю я, и мужчина передо мной растворяется в воздухе. – У тебя совсем другой голос.

– Тогда, может быть, этот?

Передо мной появляется другой мужчина. Тоже бородатый. С грустными спаниэльскими глазами. Его я тоже узнаю – директор интерната...

Он кивает мне:

– Доброй ночи. Что же вы тогда так и пропали?

И улыбается своей кривой циничной улыбочкой.

– Это тоже не ты, – снова говорю я.

Директор молча поворачивается ко мне спиной и идет прочь, становясь все бледнее и бледнее и как-то размазываясь, что ли, по воздуху, теряя четкие очертания – точно он состоит из пара...

– Как знать, как знать, – отвечает голос. – Что ж, может быть, ты права – и это не самые удачные примеры... Но, в любом случае, это было первое твое желание. Осталось два.

Тогда я говорю:

– Мне хочется согреться.

И он отвечает:

– Здесь к тебе будут приходить разные гости. И некоторые из них попросят тебя о чем-то. Будь с ними мила – как бы они ни выглядели, что бы ни делали. Выполни все их просьбы – и тогда ты согреешься.

Я говорю:

– Хорошо.

– У тебя осталось одно желание.

И я прошу:

– Сделай меня безразличной.

Он отвечает:

– Какая глупая просьба. Это я и так уже сделал – так что свое третье желание ты потратила зря. А теперь я оставляю тебя – но прежде, если ты хочешь, я расскажу тебе сказку.

Я говорю:

– Спасибо. Я не хочу сказку.

И остаюсь одна.

II НЕЧИСТЫЕ

В этом интернате к детям был особый подход, не как в других местах. Здесь им

рассказывали сказки, читали лекции по истории и пели колыбельные песенки.

– Баю-баюшки-баю, не ложися на краю, придет серенький волчок и укусит за бочок... – мурлыкали нянечки.

Потом нянечки гасили свет и уходили, и дети оставались одни. Те, кто мог шевелиться, отодвигались подальше от края постели. А те, кто не мог, так и лежали в прежних скрюченных позах, вглядываясь широко открытыми глазами в черные углы комнаты. Они ждали. Они знали – волк или не волк, – кто-то обязательно подойдет к ним этой ночью, так же, как подходил предыдущей, и будет прикасаться к ним в темноте, и будет обнюхивать их вывернутые шеи, и будет впиваться острыми теплыми зубами в их худые, костлявые бока.

III ДЕТЕНЫШ

Перед сном, почти каждый день, Мальчик заходил в избушку к Спящей. Он просто стоял рядом с кроватью и смотрел на девочку или тихо с ней разговаривал. Он рассказывал Спящей о том, как провел день, о том, какая она красивая, и еще о том, что однажды она обязательно проснется. Спящая никогда не открывала глаза, но иногда чуть заметно улыбалась или слегка шевелила губами, точно желая ответить...

Скоро Мальчик привык жить в лесу.

В этом лесу он совсем потерял счет времени. Нечистые принципиально не пользовались календарями. Они не делили время на годы, месяцы и недели. Дошло до того, что Мальчик уже начал забывать, что там шло за январем в нормальной человеческой жизни – март или февраль. Обитатели леса не считали дни и не присваивали им никаких названий и порядковых чисел. Долго ли, коротко ли, – говорили они. Когда-то, – говорили они. Когда-нибудь потом, – говорили они. Однажды, – говорили они...

* * *

Однажды Костяная сказала:

– Сегодня мы снова пойдем к Тому Кто Рассказывает. Он хочет рассказать тебе одну историю, сынок.

Как и в прошлый раз, стол в избушке Того ломился от всяческих яств. Куры и утки, поросенок и бараний шашлык, осетрина, сыр и ветчина, салаты, паштеты и рагу. Блины со сметаной, с вареньем, со сгущенкой. Блины с черной икрой и с красной рыбой. Овощи и фрукты, мороженое и ванильные муссы, пироги и торты – все, что только можно пожелать, – все было здесь.

Как и в прошлый раз, перед Тем Кто Рассказывает стояла чаша с медом цвета янтаря и еще одна – с пивом цвета нефти.

– Садись, – сказал Тот и указал Мальчику на место у стола, – угощайся.

– Спасибо, – ответил Мальчик и положил себе на тарелку несколько блинов и салат.

– Сегодня я расскажу тебе очень старую историю. Она называется «Заклятья». Итак, слушай...

Заклятья Очень старая история

– Когда-то все было не так. Когда-то очень давно, сотни и сотни лет назад, все было совсем по-другому. Мы не были заперты здесь, в этом вонючем... – Тот поднес к губам чашу с медом, поморщился и отставил ее в сторону. – ...в этом дремучем лесу, в этих убогих хижинах... Мы жили среди людей – и вообще мы могли жить везде, где хотели. Весь мир принадлежал нам.

Этим миром правил я, а помогал мне мой брат – Бессмертный.

– Он ваш брат? – изумился Мальчик.

– Уже нет, – Тот нахмурился. – Уже нет, Ванюша. Я от него отрекся...

Это было давным-давно. Оба мы были молоды, и сильны, и счастливы. И оба мы полюбили девушку, прекраснее которой не было на свете. Она была стройной, как деревце, кожа ее была белой, как снег, глаза ее были, как звезды, а волосы – как предзакатное солнце...

Мы полюбили ее одинаково сильно, и ни один из нас не мог и не хотел от нее отказаться в пользу другого. Тогда мы попросили, чтобы она сама выбрала кого-то из нас. И она выбрала... – Тот на секунду плотно сжал губы, пристально вглядываясь в пивную пену, – ...не меня.

Не меня.

Я был молод и силен... Да нет, не стоит мне теперь искать объяснений и оправданий. Словом, я разозлился. Я очень разозлился. И решил, что пусть уж тогда не достанется она никому из нас. Ни она – ни какая-либо другая женщина после нее. И тогда, в отчаянии и в гневе, я поделил мир на Явь и Навь. Она и все люди остались в Яви. А в Нави поселились мы – Нечистые. И еще я произнес страшное заклятье... – Тот Кто Рассказывает закрыл лицо руками и замолчал.

– Какое, какое заклятье? – подался вперед Мальчик.

Тот убрал руки от лица. Он выглядел еще более усталым, чем обычно.

– Я сказал, что Явь будет отделена от Нави и никто не сможет перейти эту границу ни с той, ни с другой стороны до тех пор, пока жив Бессмертный. Пока не сломается Игла, на кончике которой прячется его смерть. А Иглу... – Тот снова умолк и сокрушенно покачал головой. – ...Иглу я отдал ей, этой девушке.

– Зачем? – спросил Мальчик.

Тот покачал головой и попробовал улыбнуться.

– Ты еще слишком мал, Ванюша. Ты не понимаешь таких вещей. Ну, как бы тебе объяснить... Это не оставляло ей шансов. Не сломав Иглу, она не смогла бы пройти по мостику, соединявшему Явь и Навь. Но и сломать Иглу она не могла – ведь он бы тогда умер, и ей не к кому было бы идти... Я хотел, чтобы она мучилась от этого выбора всю свою жизнь. По твоему, это жестоко, да?

– Да, – нерешительно кивнул Мальчик.

– Может быть. Наверное, действительно жестоко. Но если бы ты только знал, как я об этом жалел... потом. С моей стороны это было не только жестоко, но и ужасно глупо. Запереть нас всех здесь – на века. И главное – зачем? Чувства давно уже прошли. И любовь прошла, и ненависть – тысячи лет назад... А мы все сидим и сидим здесь.

Тот сокрушенно покачал головой.

– И что, вы совсем-совсем никак не можете выбраться?

– Нет. Вернее... мы можем вылезать иногда – на какое-то время вселяться в людей. Но эти вылазки длятся очень недолго. Кроме того, подходящие доноры встречаются далеко не везде... Есть, например, у нас сейчас на примете одно место – я тебе даже про него рассказывал в своей первой истории... Но это все не то, не то! Мы все равно не свободны...

– Неужели никак нельзя было отменить это заклятье?

– Бессмертный пытался – но у него ничего не вышло. Не в его власти было отменить то, чего я пожелал... Зато он наложил свое заклятье. Вернее – два заклятья. Одно – чтобы она не мучилась... Другое... хм, другое – чтобы мучился я. Если тебе интересно, я расскажу.

Мальчик кивнул головой и только тогда заметил, что сидит с открытым ртом. Он закрыл его, потом снова открыл и сказал:

– Мне очень интересно.

– Тогда слушай про первое заклятье... Бессмертный сказал, что сломать Иглу этой девушке все равно не под силу – ни ей, ни кому бы то ни было другому, кроме Мальчика,

который еще не родился и родится очень не скоро. Когда этому Мальчику исполнится семь лет, один глупый лекарь волею судеб даст ему очень большую власть. Этот лекарь будет делать Мальчику операцию и, сам того не зная, вырежет маленький кусочек его черепа тем единственным способом, одним из тысячи, который наделит Мальчика специальным даром переходить границу между Явью и Навью.

За день до своего восемнадцатилетия Мальчик сломает Иглу. И как только он это сделает, наступит Конец Времен. Но перед тем как сломать Иглу, Мальчик создаст Убежище – и после Конца Времен он сможет забрать туда всех, кого захочет. Бессмертный сказал, что имя этому мальчику будет Иван... Ты – этот Мальчик.

– Но я же не Иван! – возмутился Мальчик.

– Иван, Иван... – устало ответил Тот. – Неважно, как назвала тебя твоя мать. Ты тот самый Мальчик.

– Откуда вы знаете?

– Просто знаю и все.

– Но почему вы так думаете? Мало ли разных Иванов на свете? Мало ли кому делали операцию?

– Не спрашивай. Просто... это такая сказка, Ванюша.

Мальчик помолчал. Раздраженно подцепил вилкой блинчик с красной икрой и съел его. Потом еще один...

– А другое заклятье? Вы сказали, что их было два.

– Ну, другое – просто чтобы мне отомстить. Бессмертный сказал, что пока он жив, я не смогу ни есть, ни пить. Я буду только рассказывать.

– Понятно, – ответил Мальчик и покраснел.

Он чувствовал себя неловко и не знал, что делать с блинчиком, который был у него во рту. Жевать его теперь как-то неприлично, выплюнуть – вроде тоже... В конце концов Мальчик затолкал его языком за щеку и спросил:

– А что было дальше?

– Ничего особенного. Сидим себе здесь взаперти... Коротаем дни. Бессмертный с тех пор не пропускал ни одной юбки – из местных, конечно, девиц – русалок, кикимор. Ловил, запирали у себя в башне. Потом выпускал – ну, или они сбегали. Он не расстраивался – на самом деле они были ему не нужны. Он все искал похожую на ту девушку... Да только ни одна не могла с ней сравниться.

– А та девушка... – Мальчик замялся и снова покраснел, – ...которую вы любили. Что с ней стало?

– Ее больше нет, – сказал Тот.

– Она умерла? Ой, простите, мне, наверное, не нужно было спрашивать.

– Да нет, ничего. Это уже неважно. Она... она долго пыталась найти дорогу сюда, но не могла.

Для этого ей нужно было быть такой же, как мы. Быть Нечистой. Но она не оставляла своих бесполезных попыток и в итоге потеряла разум от горя. Или ей просто не хотелось больше жить... Она вонзила Иглу прямо себе в сердце. Убила себя.

– А дальше?

– Дальше... Дальше Иглой завладела Злая Колдунья.

– Та самая, которую я видел в шоколадном доме?

– Да, та самая. Ее зовут Люсифа – и Игла сейчас у нее... Послушай. В твоих силах всем нам помочь, Ванюша. Ты должен нам помочь. Мы не можем больше сидеть здесь взаперти. Когда ты вырастешь, ты сразишься с ней и сломаешь Иглу. В этой Последней Битве мы все поддержим тебя...

– Но ведь если Игла сломается, наступит Конец Времен – вы сами сказали. А Конец Времен – это ведь то же самое, что конец света, да?

– Ну, в общем и целом... да. Это конец света.

– Но ведь тогда все умрут? Не только Бессмертный, но и все остальные? И вы тоже? И

я? И мир исчезнет?

– Не совсем так, Ванюша. Не совсем так. Я же уже сказал – перед Концом Времен ты сможешь построить Убежище и взять туда всех, кого захочешь. А весь остальной мир – ну да, исчезнет.

– Но я совсем не хочу, чтобы исчез весь мир!

– Дело твое. Но ты не отказывайся сразу, Ванюша. Поживи пока тут, поосмотрись. Послушай мои истории – я их много буду тебе рассказывать – а там посмотрим. Может быть, ты решишь, что тебе не так уж и нужен этот мир – ну его к Лешему! Мы уйдем в Убежище, переждем... А потом наверняка появится другой мир, гораздо лучше – и в нем мы будем полными хозяевами... Подумай над этим, ладно?

– Ладно, – ответил Мальчик.

– Вот и славненько, – сказал Тот, мрачно разглядывая накрытый стол. – И я там был...

* * *

По дороге домой Мальчик встретил Лесного – тот прятался за деревом, а когда Мальчик проходил мимо, выскочил на тропинку и стал приплясывать вокруг него, крича и размахивая руками.

В другое время Мальчик бы обязательно очень испугался. Но сейчас он был настолько измотан беседой с Тем Кто Не Может Есть, что почти не обратил на Лесного внимания.

– А тебе что, не страшно? – обиделся Лесной.

Он перестал суетиться и кричать и как-то весь сник. Мальчик заметил, что рубаша Лесного надета шиворот навыворот, а ботинки – не на ту ногу: правый на левой ноге, левый на правой. Лесной вдруг показался ему стареньким и жалким...

– У вас рубашка наизнанку, – сказал Мальчик.

– Да знаю я, – отозвался Лесной. – Мне так положено. Кроме того, мне так больше нравится. А ты где был-то?

– У Того Кто Рассказывает.

– И что же он тебе понарасказывал, этот Тот?

– Он рассказывал мне историю про заклатья, – Мальчик понимал, что не стоит, наверное, откровенничать с психопатом-Лесным, но ему очень хотелось с кем-нибудь поделиться. – Он сказал, что я должен буду сразиться со Злой Колдуньей, когда вырасту.

– С кем, с кем?

– Со Злой Колдуньей...

– Ха-ха-ха, – громко и неестественно заржал Лесной. – А ты и поверил, Ваня? Ваня-дурак! Пусть он тебе сказки-то не рассказывает... Нет никаких Злых Колдуний.

– Во-первых, я не дурак. А во-вторых – есть! – возмутился Мальчик. – Я сам ее видел.

– Чушь. У нас тут *злых* вообще нет. У нас только Нечистые. С кем ты собрался сражаться, дурак? – Лесной захихикал: тоненько и злобно.

– Так это... так вы... Вы с ней заодно! – закричал Мальчик. – Вы такой же, как она! Если я соглашусь... Если я решу... С вами я тоже буду сражаться!

– Но-но-но, ты не визжи так, малявка! Сражаться он будет! Я тебя сейчас, знаешь, одной левой, не дожидаясь, пока ты вырастешь...

Лесной набычился и пошел на него.

– А ну прекрати, Лесной, – услышал Мальчик еле слышный, но очень властный голос.

Лесной покорно остановился. Мальчик обернулся: позади него стоял Бессмертный.

– Шел бы ты отсюда, Лесной, – прошептал Бессмертный.

Лесной тоскливо хихикнул и пошел прочь, шаркая по земле своими неправильно надетыми ботинками.

– А ты не трепался бы, Ваня, направо и налево, – сказал Бессмертный Мальчику. – Ну кто тебя за язык тянет?

– Никто, – глупо ответил Мальчик. – Извините.

– Извиняться тебе передо мной пока что не за что.
Бессмертный смотрел на Мальчика странно: не то с раздражением, не то с каким-то даже испугом.
– Пока что, – задумчиво повторил он и медленно побрел прочь.

IV ДЕТЕНЫШ

Сжимая потными пальцами докладную записку, Ирочка осторожно постучалась в дверь директорского кабинета. Никто не ответил. Подергала ручку – заперто.

Она вздохнула, спустилась на первый этаж и направилась было к себе в ординаторскую – но, проходя по коридору, услышала вдруг директорский голос, что-то монотонно бубнивший в одной из палат. Ирочка остановилась и прислушалась.

– ...Князь Владимир осаждал Корсунь уже много дней, – говорил директор, – и хотел замучить горожан жаждой, но они смело и стойко сопротивлялись, а вода у них все не кончалась. Тогда некий корсунский муж предал своих сограждан. Он пустил в лагерь Владимира стрелу, а к стреле прикрепил записку с объяснением, где находится труба, по которой вода течет в Корсунь...

Ирочка растерянно потопталась у входа в палату и медленно пошла дальше, в сторону ординаторской. Потом передумала и вернулась обратно, снова пристроилась под дверь.

– ...На съезде в Любече князья решили жить в мире и дружбе и не посягать на чужие владения. Но сразу же после съезда волынский князь Давид Игоревич и киевский князь Святополк Изяславич предательски заманили в Киев теребовльского князя Василько, пленили и выкололи ему глаза...

Ирочка нервно закопошилась в своей сумочке, вытащила сигарету, машинально сунула ее в рот и чуть было не подожгла. Вот уже вторую неделю она пыталась бросить курить, и совершенно безуспешно, потому что в интернате все время нужно было нервничать, а нервничать без сигарет решительно невозможно.

Она вернулась обратно на второй этаж, зашла в туалет для персонала и быстро выкурила две сигареты подряд. Потом снова вернулась на первый. Директор продолжал бубнить:

– ...Долгорукий основал Москву. Он правил всего три года, а потом был отравлен в результате заговора бояр, предавших его...

– ...В XIII веке во время половецко-монгольской войны русские приняли сторону половцев. Но монголы не хотели воевать с Русью. Они отправили к русским князьям послов с предложением о разрыве русско-половецких отношений. Князья отвергли эти предложения, а всех послов убили. После этого войны было не избежать, поскольку по монгольским законам обман и предательство доверившихся является непрощаемым преступлением и требует мести...

– ...Проиграв очередное сражение в Ливонской войне, князь Курбский предал Ивана Грозного, переметнувшись к литовцам, его противникам...

– ...Малюта Скуратов инсценировал заговор с целью убийства Ивана Грозного. При этом оказался скомпрометированным двоюродный брат царя князь Владимир Старицкий. Вместо ареста Малюта предложил ему выпить яд, а потом на глазах еще живого князя зарезал его жену и задушил двенадцатилетнюю дочь. Позднее Скуратов угощал ядом и самого Грозного – он подсыпал яд в лекарство, которое давал больному царю, так и не узнавшему об этом предательстве...

– Да что же это такое, – тихо сказала Ирочка и снова полезла за сигаретами. Потом убрала пачку обратно в сумку и взялась за ручку двери. Постояла так несколько секунд и, осторожно приоткрыв дверь, заглянула в образовавшуюся щелку.

Директор интерната сидел на стуле вполоборота к ней. На коленях у него лежала какая-то книга; он торопливо листал ее, зачитывая отдельные фрагменты. Время от времени

он поднимал голову и говорил сам, не глядя в книгу:

– ...После смерти Ивана Грозного царевича Дмитрия поселили вместе с матерью в Угличе. В 1591 году, когда ему было девять лет, царевича убил один из его слуг, перерезав ему горло. Слугу подкупил Борис Годунов, чтобы устранить наследника престола...

Вокруг директора, на полу и на кроватях, копошились дети. Они корчили рожи, раскачивались из стороны в сторону, стонали, пускали слюни или просто лежали на спине, уставившись в потолок. Директора они, естественно, не слушали. А если и слушали, то уж точно не понимали ни слова.

Старшая медсестра прикрыла дверь, скомкала и сунула в сумку докладную записку, которую до сих пор держала зачем-то в руке, и снова пошла в туалет на второй этаж. Закурила. То есть... То есть директор этого богоугодного заведения тоже совершенно невменяем. А жаль, жаль. Так по виду и не скажешь. Такой вроде приятный, разумный, доброжелательный...

Ирочка утопила окурок в унитазе, спустилась вниз и быстро пошла в ординаторскую, на этот раз не задержавшись послушать лекцию по истории. В ординаторской она взяла чистый лист бумаги и нервным размашистым почерком стала писать другую докладную записку, уже не директору.

* * *

– ...Гетман Дорошенко спас Мазепу от смерти и назначил его своим писарем, потом Мазепа предал Дорошенко и перешел на службу к его врагу гетману Самойловичу, – сказал Тот Кто Рассказывает. – А ты чего не ешь-то? Может, салатику тебе положить?

Мальчик молча отрицательно покачал головой.

– Ну, не хочешь, как хочешь. Так, на чем мы, значит, остановились... Ах да. Перешел на службу к его врагу гетману Самойловичу. Тот вскоре назначил его своим генеральным есаулом. В 1687 году Мазепа предал Самойловича, сочинив на него лживый донос. Его новым покровителем стал князь Василий Голицын, который назначил его гетманом. Через несколько лет удача отвернулась от Голицына, и чтобы сохранить гетманскую булаву, Мазепа написал донос на князя. На самого Мазепу многие писали доносы, но...

– Пожалуйста, не надо больше, – сказал Мальчик.

– Как же не надо? – Тот изобразил на лице изумление. – Есть еще столько увлекательных историй! Про Петра III и его жену Екатерину, про Павла I и его сына Александра... Разве они тебе не нравятся?

– Не нравятся, – сказал Мальчик. – Они все какие-то... Может быть, вы лучше расскажете мне историю какой-нибудь другой страны?

– Да пожалуйста, – усмехнулся Тот. – Мне несложно. Хочешь, расскажу тебе про Древний Рим?

– Хочу, – неуверенно сказал Мальчик; что-то подсказывало ему, что эта история тоже будет неприятной.

– Братья Ромул и Рем решили заложить новый город на берегу Тибра, но никак не могли решить, кто будет в нем царствовать. Тогда Ромул убил Рема и основал город на том месте, где пролилась братская кровь...

У первых римлян не было жен и детей: окрестные жители слишком презирали их за низкое происхождение, чтобы отдавать за них своих дочерей. Тогда римляне пригласили на праздник ближайших своих соседей, сабинян, а потом, посреди веселья, напали на безоружных гостей, забрали их дочерей и сделали своими женами... Что ты так погрустнел, Ванюша? Не хочешь слушать дальше?

– Нет, если честно. Что-то не хочется...

– Ну что ж – я тебя не неволю. Тем более что общую суть ты, я думаю, уловил. Ну, иди. Увидимся еще.

Тот Кто Рассказывает отвернулся от Мальчика и с ненавистью уставился на чашу с

медом.

– И я там был, – с тяжелым вздохом сказал Тот.

Потом он поднял чашу, запрокинул голову и вылил часть содержимого себе в рот. Две густые янтарные струйки медленно потекли по усам и бороде. Шея его покраснела и напряглась, в горле тихо заклокотало. Тот опустил чашу на стол, согнулся в три погибели и громко, хрипло закашлялся.

– Постучать вам по спине? – испуганно предложил Мальчик.

Беседы с Тем всегда завершались подобным образом, но Мальчик все никак не мог привыкнуть и каждый раз пугался.

– Не надо, – выдавил из себя Тот между приступами кашля. – Иди, Ваня.

В тот вечер Мальчик, как обычно, отправился к Спящей. Настроение у него было ужасное, и даже при виде Спящей он не почувствовал себя лучше.

Мальчик долго стоял у ее кровати и молчал. Потом вяло пересказал ей несколько историй – из тех, что услышал днем от Того Кто Не Может Есть. Он уже собрался уходить, когда заметил, что губы Спящей слегка подрагивают.

– Тебя тоже здесь бросили? – произнесла Спящая.

У нее был очень тонкий, очень тихий голос. Глаза ее оставались закрытыми.

– Ты проснулась? – почти закричал Мальчик.

– Нет, – ответила Спящая. – Я не могу проснуться. Я говорю во сне.

– Скажи еще что-нибудь, – попросил Мальчик.

– Мне не нравится этот мир, – прошептала Спящая. – Если бы кто-то мог сделать так, чтобы он исчез, я бы...

Последние слова Мальчик не расслышал. Спящая пробормотала их совсем тихо и неразборчиво.

– Поговори со мной еще, – попросил Мальчик.

Спящая молчала.

– Ну поговори же! Пожалуйста. Пожалуйста. Пожалуйста.

Она молчала.

– Да, меня тоже здесь бросили, – сказал Мальчик и почувствовал, что вот-вот заплачет. – А знаешь... Я могу сделать так, чтобы мир исчез. Если ты хочешь, я сделаю это для тебя.

Она ничего не ответила.

* * *

На следующий день Мальчик пришел в избушку к Тому и сказал, что поможет Нечистым.

Тот не удивился, не обрадовался и не выразил никакой благодарности.

– Конечно, ты нам поможешь, – сказал он весьма равнодушно, – ведь это такая сказка.

– Ну и... что же мне теперь делать? – от такой реакции Мальчик несколько растерялся.

– Да ничего пока. Расти, учись уму-разуму – ну и всяким нашим фокусам. И подбирай потихоньку место для Убежища...

– Хорошо, – сказал Мальчик. – Только ведь я смогу поселить в Убежище маму и папу? Иначе я не согласен.

– Конечно, сможешь, – ответил Тот. – Правда, тебе придется над этим очень много работать. Ты же не захочешь просто взять их в Убежище, и все?

– Почему не захочу? – удивился Мальчик. – Я как раз этого и хочу. Взять их – и все.

– А как же наказание? – Тот улыбнулся ехидной, но довольно вымученной улыбкой.

– Наказание? За что?

– За то, что они тебя бросили.

– Я не хочу никого наказывать, – прошептал Мальчик.

– Так, Ванюша. Давай считать, что это наш первый урок. Все-таки тебе придется теперь жить по нашим законам. А по нашим законам, если они тебя бросили, ты не можешь просто взять их в Убежище. Ты должен сначала их проучить.

– Проучить?

– Да. Проучить.

– А как это сделать?

– Ну, вариантов множество. Например, ты можешь их трансформировать.

– Трансо... что?

– Превратить.

– А как это – превратить?

– Как – тебе здесь объяснят. В целом схема обычно такая: ударился об землю и обернулся...

– А в кого превратить?

– Опять же – сколько угодно возможностей. Лично я твою маму превратил бы, наверное, в нищего.

– А папу?

– Папу... Вань, решай сам. Только начни сначала с кого-нибудь одного. Возможно, у тебя не сразу получится, придется долго тренироваться. Первый блин, знаешь ли, всегда комом. Зато потом пойдет как по маслу.

– Хорошо, – сказал Мальчик задумчиво. – И, кажется, я знаю, в кого я превращу папу.

V

СЛУЧАЙ НА ВОКЗАЛЕ

Марик Юнерман жил в Кельне уже пятый год. За это время он успел развестись с истеричной женой, которая, собственно, и притащила его в Германию, купить подержанный «пежо», получить водительские права европейского образца, неплохо изучить немецкий, устроиться работать по специальности – программистом, снова жениться – на юной восторженной армяночке Асе, изучавшей в Кельнском университете историю искусств, – и, наконец, обзавестись ребенком.

В Москву он хотел съездить уже давно – да только все как-то не мог собраться. Теперь же наконец появился реальный повод: друг детства пригласил его на свадьбу.

Отправиться в Россию решили всем семейством, на поезде, – Ася, наивное дитя гор, панически боялась самолетов.

На вокзал они приехали сильно загодя (больше всего в жизни Юнерман боялся двух вещей: проспать работу и опоздать на самолет или поезд), уточнили, с какого пути они уезжают и нет ли, не дай бог, изменений в расписании, а потом обосновались за серым пластиковым столом в небольшой забегаловке прямо на вокзале и взяли пару сэндвичей с ветчиной и сыром, картофельный салат, кофе-капучино и чай. Маленький Миша выпил полбутылочки растворимой молочной смеси и принялся деловито сосать сушку – она висела у него на шее на веревочке.

Через пятнадцать минут все уже было съедено, а до поезда оставалось еще не меньше часа. Миша немного всплакнул, после чего мрачно и неохотно заснул, скрючившись в своей голубой трехколесной колясочке. Марик и Ася выпили еще по капучино. Потом Марик съел еще один картофельный салат.

В запасе оставалось еще минут сорок. Говорить было лень да и не о чем. Читать тоже как-то не хотелось – так что сидели молча, и каждый думал о своем.

А когда до поезда было всего десять минут и Ася, облегченно вздохнув, уже встала со стула и взялась за сумку, у Марика вдруг так сильно прихватило живот, что он с ужасом понял – сейчас ему придется отправиться не на платформу, а в туалет. А значит, у них есть все шансы опоздать на поезд. Еще с полминуты он пытался перетерпеть, побороть спазмы в желудке усилием воли – однако же это было совершенно бесполезно.

Картофельный салат. Чертов картофельный салат! Ему ведь сразу показалось, что он какой-то слишком уж кислый. То есть картофельный салат и должен быть кисловатым из-за маринованных огурцов, но этот... этот, – кривясь и с трудом поднимаясь, размышлял Марик, – отдавал кислятиной какой-то специфической...

– Подожди, пожалуйста, – простонал он, – мне, кажется, нужно в туалет.

– Как?! Какой еще туалет? – громко, на весь вокзал изумилась Ася. – Мы же опоздаем на поезд!

Проснулся маленький Миша, с недоумением огляделся и протяжно завыл.

– Прости, не могу, – обреченно сказал Юнерман и затрусил по направлению к табличке с изображением большой дабл-ю. – Мне очень нужно! Я быстро!

Мелкими шажками он добежал до туалета, сунул в турникет монетку (к счастью, в кармане нашлась мелочь!) и ворвался в кабинку.

Всего какая-то минута – и он почувствовал себя человеком.

Марик несколько раз спустил воду, подошел к умывальнику, вымыл руки и вспотевшее лицо, внимательно посмотрел на себя в зеркало: бледноват, да, но, кажется, ничего такого ужасного. Он привычным жестом потянулся за мягким пупырчатым квадратом салфетки – и в этот момент кто-то легонько ткнул его в спину.

Юнерман автоматически сказал «эншульдигунг» (за пять лет немецкой жизни он уже привык извиняться, когда ему наступали на ногу или задевали локтем) и снова глянул в зеркало – но нет, в туалете, кроме него, не было никого; показалось...

Вытирая лицо, он снова почувствовал прикосновение. Как будто кто-то мягко провел пальцем вдоль позвоночника.

Марик резко поднял голову. В зеркале – только он один. Бледное лицо с налипшими на щеках влажными клочками салфетки.

Ощущение, что кто-то гладит его по спине, никуда, однако же, не делось. Гладит... щекочет... пощипывает... кладет руку на плечо...

– Что это со мной? – испуганно спросил Марик у зеркала; он говорил сам с собой, только когда очень нервничал. – Странно... а, вот... вроде прошло... черт, надо же торопиться!

Юнерман резко повернулся – и только тогда увидел его.

Выход из сортира загораживал ему щуплый чернявый человечек. Он стоял у двери и, запрокинув голову, разглядывал потолок. Или, может быть, не разглядывал, а просто находился в состоянии глубочайшей задумчивости. Вывернутая его цыплячья шея поросла многодневной щетиной.

– Ой, – сказал Марик.

С этим чернявым что-то было не так.

Собственно, в том, что кто-то может глубоко задуматься при выходе из сортира, Марик не находил ничего такого уж удивительного и из ряда вон выходящего. Но вот то, что человек этот думал со спущенными штанами, было все-таки странно.

Марик шагнул по направлению к выходу и сказал:

– Darf ich bitte durch?¹³

Чернявый не шелохнулся.

– Lassen Sie, – занервничал Марик. – Mein Zug faehrt ab!¹⁴

– Можешь говорить русски, майн фройнд. Я понимать... – отозвался наконец чернявый, но от двери не отошел.

Марик вздрогнул. Голос у незнакомца был весьма неприятный – срывался с почти девичьего визга на какое-то глухое горловое бульканье.

¹³ Могу я пройти? (нем.)

¹⁴ Пропустите! У меня поезд уходит. (нем.)

– Извините, но не могли бы вы немного подвинуться. Я действительно опаздываю на поезд.

– О, я понимать, понимать... Я тоже нѣдавно опоздать на этот имѣнно поезд. Это есть очень нѣприятно, очень...

Чернявый наконец изменил позу: не отходя от двери, резко повернулся к Юнерману левым боком. Его запрокинутая голова покачнулась, со странным треском перекатилась с левого плеча на правое, а потом обратно на левое.

Он похож на игрушечную собачку, которая стоит у меня в машине, – подумал Марик, – такую, с дергающейся головкой... Я опоздаю. Господи, из-за этого придурка я сейчас *действительно* опоздаю на поезд.

– Пропустите меня! – раздраженно вскрикнул Марик и стал отпихивать от двери чернявого.

Тот что-то злобно завизжал и забулькал, потом запутался в спущенных штанах, покачулся и, чтобы удержать равновесие, схватил Марика за рукав.

– Да отвали ты, блин! – взревел Марик.

Он попытался резким движением стряхнуть с себя чернявого – безрезультатно. Тогда Марик стал, рыча, разжимать пальцы незнакомца, мертвой хваткой вцепившиеся в его рукав. Но пальцы не поддавались. Странные пальцы... Холодные негнущиеся пальцы с длинными-длинными ногтями... и с сине-зелеными пятнами там, под ногтями...

– Polizei! – заорал Марик, но заорал как-то очень уж тихо.

– «Помогите!» – уже почти шепотом добавил он и машинально оглянулся назад, на зеркало, словно надеялся получить от кого-то поддержку в совершенно пустом туалете, словно наряд полиции вот-вот должен был появиться из зазеркалья...

– Мамочка-а-а-а! – заорал вдруг Марик во все горло и так и остался стоять с открытым ртом, беззвучно продолжающим это паническое «а-а-а».

Кроме него, в зеркале по-прежнему никого не было. Этот парень – со спущенными штанами, с запрокинутой головой, с длинными ногтями – этот парень не имел отражения.

А потом странный треск...

это ведь она так перекачивается, так перекачивается, его голова

...раздался у Марика прямо над ухом. Боли не было. Продолжая стоять лицом к зеркалу, он просто увидел, как в его шее появилось несколько маленьких рваных дырочек, и из этих дырочек вялыми фонтанчиками забила кровь.

«Ну все. Теперь мы точно опоздали на поезд», – подумал зачем-то Юнерман.

Это было последнее, что он подумал.

VI НЕЧИСТЫЕ

– Петр Алексеич!

– М-да?

– Петр Алексеич... По-моему, что-то нужно с ней делать.

– С кем? – равнодушно поинтересовался директор.

– Да с этой... – нянечка Клавдия Михайловна неопределенно-раздраженным жестом указала на ординаторскую. – Совсем житья от нее нету. Лезет во все, работать мешает.

– Ну, можно уволить, – равнодушно согласился директор.

– Уволить? – Клавдия Михайловна аж взвизгнула. – Просто уволить? Чтобы она и дальше кляузы свои писала? Чтобы сюда каждый божий день комиссии какие-нибудь таскались?

– Ну а вы что предлагаете?

– Я предлагаю, – Клавдия Михайловна прищурилась, и обычно добродушное ее лицо стало вдруг каким-то остреньким и недобрым. – Петр Алексеич... Надо бы ее извести.

– Что?!

– Извести, – тихо и настойчиво повторила нянечка.
– Я вас что-то не совсем понимаю...
– Да чего ты не понимаешь?! Что ж это такое-то, а? – возмутилась нянечка и пристально посмотрела в директорские глаза. – Тот? Эй, где ты? Иди сюда. Ну, посмотри на меня. Тот? Тот! Да посмотри же!
– Я здесь, – произнес директор. – Извини, просто задумался. Да, ты права. Действительно стоит извести.
– Ну вот и славненько, – подытожила нянечка. – Займемся.

VII НЕЧИСТЫЕ

– ...шестая, седьмая, ох... восьмая... – Костяная брела вдоль ряда совершенно одинаковых изб, одышливо бормоча себе под нос их номера, – десятая, одиннадцатая, ох... двенадцатая, вот она, слава те господи...

Она поднялась на крыльцо, коротко постучала в деревянную дверь длинным когтем и, не дожидаясь ответа, шагнула внутрь.

Стоял относительно ясный, для леса почти идеальный день – без солнца, конечно, но и без густого тумана, – однако ставни на всех окнах были плотно закрыты, а изба освещалась многочисленными продолговатыми лампами. Они тянулись вдоль стен, едва слышно, но очень назойливо жужжали, и свет от них исходил мучнисто-белый, скучный, рассыпчатый. И какой-то безапелляционный: лампы располагались таким образом, что теней в помещении не было в принципе.

– Добрый день, девица, – вежливо сказала Костяная.

Та, к кому она обращалась, сидела на полу избы спиной к двери и медленно раскачивалась из стороны в сторону. Она была одета в белую ночную рубашку. Волосы на затылке были сильно растрепаны – как будто она только что встала с постели или, наоборот, уже пару ночей не спала.

– Добрый день, – Костяная повысила голос.

– Недобрый полдень, – вяло бормотнула девушка в ночной рубашке, продолжая раскачиваться. – Недобрый полдень. Свободный полдень. Веселый полдень. Щекотный полдень...

– Пожалуйста, перестань, – вежливо прервала ее Костяная. – Я пришла попросить тебя об одолжении, Полуденная.

Хозяйка избы наконец обернулась. У нее было резкое, напряженное лицо, странно контрастировавшее с совершенно отсутствующим взглядом, с растерянным спокойным блаженством, мутно блестящим в глазах.

– Хорошо выглядишь, – несколько ехидно констатировала Костяная: она знала, что это ненадолго.

Полуденная всегда казалась юной и свежей поначалу. В первые несколько мгновений. На первый взгляд. Но чем дольше на нее смотрели, тем старше она становилась. Темные круги проступали вокруг глаз, истончалась и высыхала девичья кожа, морщины расплзались по пепельно-бледному лицу, и все печальные старческие подробности постепенно вырисовывались на нем – точно на быстропроявляющемся полароидном снимке.

– Чего ты хочешь? – равнодушно спросила женщина в ночной рубашке; сейчас она выглядела уже лет на сорок с хвостиком.

– Чтобы ты пришла кое к кому.

– Надолго?

– Думаю, четырех ночей ей хватит.

– Хорошо, – равнодушно сказала старуха в ночной рубашке.

VIII

ЧЕТЫРЕ НОЧИ

Это был закат – а, может, наоборот, рассвет, не разберешь. В любом случае, все казалось сочным, ядовитым, красновато-выпуклым – и в то же время каким-то неопределенным и условным. Лишь силуэты. Лишь контуры. Лишь четкие тени на ярком неестественном фоне.

Деревья стояли в ряд – вызывающе-оголенные, приземистые, холодные. Ветер играл их тонкими ветками, играл так беззвучно, что казалось – они шевелятся сами по себе.

Чуть позже стало понятно, что они действительно шевелятся сами. И что не было никакого ветра, а если и был, то не играл с ними. Они играли между собой: сначала сцеплялись тонкими черными ветками, потом отпускали друг друга, и так снова и снова.

В какой момент игра эта стала такой чудовищной, такой агрессивной, она не заметила. Просто вдруг увидела: они уже не играют, они дерутся.

Теперь одни ветки вцеплялись в другие мертвой хваткой, и ломали их, и ломались сами с пронзительным хрустом. Из переломов обильно сочилась кровь.

Деревья дрались и истекали кровью – на закате, а может быть, на рассвете, кто знает...

И только когда они стали выдергивать друг друга из земли с корнем, только когда она поняла, что они уже не дерутся, а убивают, ей захотелось кричать – и она изо всех сил напругла горло для крика, и проснулась, невнятно и беспомощно ойкнув.

Ирочка села на кровати, тщетно пытаясь ухватить, удержать в голове стремительно тающие ошметки какого-то неприятного сна. Посмотрела на часы и тихо чертыхнулась: можно было еще спать и спать... Всего только пять вечера.

Она вернулась после ночной смены утром, с тягучей головной болью. Полдня занималась в полудреме какими-то ненужными маленькими делами, потому что настолько устала, что не могла заставить себя принять душ и улечься; наконец легла, без всякого душа, около трех и провалилась в гудящую глубокую пустоту. И вот, проснулась всего через два часа. Спать больше не хотелось. Вернее – хотелось, но было как-то совсем очевидно, что теперь уже не получится. Обидно.

Ирочка медленно встала на ноги, чувствуя, как густой ртутью разливается в области затылка боль – недобитая и даже, наоборот, раздраженная коротким двухчасовым отдыхом. Шаркая тапочками, она зашла на кухню, откопала в ящике с лекарствами анальгин и выпила пару таблеток. На языке остался противный горький привкус. Она закурила – и стало еще противнее.

Часов до восьми вечера она лежала и отчаянно смотрела телевизор, хотя от этого еще сильнее болели глаза и изматывающе ныло там, за глазными яблоками. Однако же Ирочка добилась чего хотела – какой-то бесконечный «Аншлаг-Аншлаг!» вконец измучил и укачал ее – она снова заснула...

* * *

...Все казалось сочным, ядовитым, красновато-выпуклым – и в то же время каким-то неопределенным и условным. Невысокие земляные насыпи располагались в ряд. В каждой насыпи чернела нора. Ничего не происходило.

Потом появились собаки – вернее, щенки. Весело подпрыгивая, они бежали каждый к своей норке. Уже перед самым-самым входом они ложились на брюхо и, умильно вихляя задницами и хвостиками, ползли в дыру. Только при этом они переставали быть щенками – и становились чем-то вроде мохнатых гусениц. Извиваясь всем телом, гусеницы вползали в норы.

Потом прибежали другие щенки, и все повторялось снова. И снова. И снова. До бесконечности.

Ирочка вздрогнула всем телом и проснулась. На этот раз она запомнила сон.

Она бросила взгляд на часы: 20.05. Бесконечность, оказывается, продолжалась всего пару минут...

На экране бесновались какие-то мужики в юбках и бабьих платочках. Взявшись за руки, они по рок-н-рольному выбрасывали вперед толстенькие короткие ножки.

– Да он бы па-да-шел, я бы отвернулась, он бы приставал ко мне... – визгливо запел в микрофон один.

– Уйди, пра-а-ти-и-ивный! – заголосил другой.

– ...а я б ушла! – старался перекричать его первый.

Зал взорвался аплодисментами. Крупным планом показали несколько счастливых лоснящихся физиономий. Им действительно было весело...

Ирочка пошарила по кровати в поисках пульта, не нашла, раздраженно вскочила и выключила телевизор. Потом отправилась на кухню и выкурила две сигареты, одну за другой. С грохотом поставила на стол чашку, кинула туда чайный пакетик, плеснула воды. Заварка не желала растворяться. Ирочка пощупала чашку – холодная. Идиотка. Забыла вскипятить чайник. Эта мысль почему-то так огорчила ее, что на глаза навернулись слезы.

– Так, – сказала Ирочка вслух и вытерла глаза.

Она снова пошарила в ящике с лекарствами, извлекла оттуда два пузырька – один с валерьянкой, другой с пустырником, накапала и того, и другого в рюмку, разбавила водой и, скривившись, выпила.

Вообще-то Ирочка не любила пить валерьянку. Потому что когда это делала, всегда казалась себе очень одинокой. И не такой уж молодой. И вообще – женщиной трудной судьбы.

Около десяти вечера позвонила мать:

– Ирочка, деточка, я тебя случайно не разбудила? Ты же сегодня после ночной смены?

– Нет, – мрачно сказала Ирочка. – Не разбудила. Я не могу спать.

– Как это, деточка, не можешь?

– Очень просто. Не спится.

– Ох ты господи, какой кошмар, какой ужас, деточка! – запричитала мать, и голос ее немедленно сделался полуплачущим.

– Да что ты трагедию из всего делаешь, мама! – раздраженно огрызнулась Ирочка. – Абсолютно ничего страшного не происходит.

– Не говори так с матерью! – на том конце провода послышались сдавленные рыдания. Думаешь, с матерью все можно? Думаешь, об мать ноги вытерла и дальше пошла? Думаешь, мать...

– Да перестань, мама! Ну перестань, пожалуйста, – Ирочка попыталась говорить мягче. – Ну кто об тебя ноги вытирает, что ты такое говоришь? Ну извини, если я что-то не так сказала. Я просто очень устала в интернате...

– Да, деточка, – убитым, но твердым голосом согласилась с чем-то мать. – Да. – Она выдержала долгую паузу. – Я уже не обижаюсь на тебя. Все в порядке. Я все прошу...

Сколько самоотречения! Ирочка щелкнула зажигалкой – подальше от трубки, чтобы не услышала мать, – и закрыла глаза.

– ...но ты себя совсем не бережешь, деточка. Когда ты в последний раз нормально спала?

– Позавчера ночью, мама.

– Какой ужас, – мать снова изготовилась плакать. – То есть ты не спишь уже больше суток?!

– Мама, в этом нет ничего такого ужас...

– Деточка, – всхлипнула мать, – я вот не хотела тебе говорить... Но мне что-то так беспокойно... Мне такой про тебя сон сегодня плохой снился. Нехороший сон. Мне снилось, что ты лежишь в таком белом-белом платье...

– Ну мама, ну пожалуйста! – взывала Ирочка. – Ну только вот не надо мне рассказывать

свои сны! Ну сил нет слушать!

– Не говори так с матерью. Мать у тебя одна. И она ни в чем, ни в чем перед тобой не виновата. Она все тебе отдала. Она всем пожертвовала. Она ночей не спала...

Ирочка вдруг поняла, что никак не может сообразить, о ком сейчас идет речь. Видимо, ненадолго выключилась... Кто – она? Кто – «ночей не спала»?

– Кто – она? – спросила Ирочка.

– Что?

– Ну ты сказала: она ночей не спала. Кто?

– Ты надо мной издеваешься?

– Нет. Извини, я просто очень хочу спать.

– ...ты не бережешь себя. Эта работа в интернате тебя доведет. Эти больные дети... это очень тяжело. Для любого человека. Да еще бессонные ночи! Заработаешь себе нервное расстройство. Видишь, у тебя уже нарушился сон. То ли еще будет. Ирочка, деточка, нужно следить за своим здоровьем. Нужно спать нормально, отдыхать, гулять на воздухе. Ты сейчас, пожалуйста, накапай себе валерьяночки в стаканчик. И пустырничка еще можно туда. И, пожалуйста, деточка, выпей. Не хочешь думать о себе, подумай хотя бы о матери. Ты у нее одна...

– Мама. Почему ты все время говоришь о себе в третьем лице? – прошипела Ирочка тоскливо и зло.

– А ты меня не одергивай! Я говорю как считаю нужным! – с надрывом провозгласила мать. – Нет, я не могу так...

В трубке послышались частые гудки.

Ирочка аккуратно затушила окурочку, потом схватила пепельницу и швырнула ее в стену. Потом взяла тряпку, вытерла пепел и пошла спать. До двенадцати она ерзала в кровати, пытаясь не думать о том, что она лежит и не может заснуть, а рано утром нужно вставать на работу, и чем дольше она так лежит, тем меньше остается времени на сон...

* * *

– Ложись на спину, – сказал Максим.

Она легла. Она была совсем голая.

Максим остался в одежде. Опираясь на руки, он склонился над ней и медленно, ритмично задвигался. Странно так задвигался: тихо, равнодушно, не опускаясь до конца, вообще не касаясь ее тела.

Она всмотрелась в его лицо, нависшее над ней в полумраке. Оно не выражало ничего. Или, возможно, выражало скуку. Очки он не снял, и она не видела его глаз за мутно мерцавшими стеклами.

Ирочка тихо заплакала, но он не обратил на это внимания.

– Скажи, что ты меня любишь, – попросила она.

– Я тебя люблю, – спокойно сказал Максим.

– Правда?

– Нет.

– Зачем же ты это сказал?

– Ты меня попросила.

– Максим...

– Что?

– Максим. Я не могу спать. Понимаешь, я не могу спать!

– Понимаю, – он задвигался быстрее.

– Максим... Что ты делаешь?

– Занимаюсь с тобой любовью, – движения его стали судорожными, совсем частыми, но дыхание оставалось бесшумным и ровным.

– Почему... ты делаешь это так странно?

По-прежнему не касаясь ее, Максим дернулся в последний раз и застыл на вытянутых руках.

– Ты что, кончил? – спросила Ирочка.

– Да.

– Ты не ответил. Почему это было так странно?

– Потому что я умер, – он принялся снова медленно покачиваться над ней. – Потому что я умер. Потому что я умер. Потому что я умер...

Ирочка села, тяжело и хрипло дыша. Лицо и даже волосы у лба были мокрыми – от слез и от пота. Час ночи. Всего только час ночи. До семи еще шесть часов.

Она решительно поднялась с кровати и пошла в душ.

Потом нашла в ящике с лекарствами беленькие шипучие таблетки – донормил. Легкое снотворное средство; она держала его на крайний случай.

Что ж... это как раз крайний случай. Не спать две ночи подряд, а потом еще идти на работу – это уж слишком.

Через пятнадцать минут лекарство подействовало: она провалилась в сон.

Чудная вертлявая старушка водила ее по пустому не то музею, не то собору. Она показывала пальцем на разные предметы и приговаривала:

– Смотри внимательно и запоминай. Ничего не пропускай. Я повторять не стану... Вот это – наши иконы... Это – наши книги... Это – наши инструменты... Это – наша мебель... Это – наши столбы... Это – наши карты... Это – наши нитки...

Ирочка напряженно вглядывалась в предметы, стараясь запомнить их в мельчайших подробностях.

Старуха подвела ее к большому стеклянному ящику, заполненному до краев чем-то черным.

– А это – наши москиты, – с благоговением прошептала она и открыла стеклянную крышку. – Они кусаются.

Стая маленьких черных насекомых вылетела из ящика.

– Это наши москиты, – повторила старуха и медленно повернулась к Ирочке. – Это москиты. Они кусаются. Они кусаются. Я тоже – москит...

Ирочка застонала и проснулась. Включила настольную лампу, стоявшую у кровати, – свет больно царапнул глаза. Два часа ночи. Сколько же она проспала? Десять минут? Пять?

В ушах шумело – однообразно и довольно громко, – точно к ним прижали пару больших морских раковин. В затылке снова зашевелилась боль, пока терпимая, но полная угрозы и обещаний. Она угрожала в любой момент стать *невыносимой*. Она обещала саму себя.

Ирочка поворочалась в постели еще с полчаса, потом встала и, пошатываясь, направилась к компьютеру. Включила его и вошла в сеть.

Не можешь заснуть, не мучайся, – сказала себе Ирочка; сказала вслух, чтобы заглушить мерный морской шум в голове. – Если даже снотворное не действует... Лучше отвлечься. Лучше почитать что-нибудь...

Она проверила почту – новых сообщений не было.

www.zdvig.ru – вбила она в поисковой строке, и когда страница загрузилась, кликнула «Новости сайта».

От взгляда на монитор резь в глазах усилилась. Боль мягко ткнулась в череп изнутри – напоминая, грозя... Ирочка упрямо сощурилась и стала читать.

Новости сайта

Друзья! Это случилось.

Я должен возвестить начало конца, начало Последней Катастрофы. Огромная планета – гигантское Второе Солнце – уже совсем близко от Земли. И, хотя Второго Солнца пока не видно, Сдвиг Полюсов уже начался. Свидетельство тому – воскресное землетрясение и прокатившееся по Индийскому океану цунами.

Сила подземных толчков чудовищного землетрясения и последовавшего за ним цунами в девяти странах Азии и Африки достигла 8,7 балла по шкале Рихтера. [кликни здесь: подробнее о землетрясениях и цунами].

«Мы рассматриваем изменение скорости вращения нашей планеты в качестве одной из возможных причин тектонических катаклизмов», – заявил заместитель директора Института физики Земли РАН Александр Пономарев. О, наивный, наивный! Мы-то знаем: дело не в скорости – дело в сдвиге. Впрочем, теперь уже не так уж важно, чем были вызваны эти катаклизмы. Цунами такой силы В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ влияет даже на расположение оси вращения нашей планеты. Нашей... От этого слова мне хочется рыдать: ведь скоро наша планета изменится до неузнаваемости!

«Все это привело к едва заметным изменениям на поверхности Земли и легкому смещению земной оси. Земля стала как бы более компактной и начала вращаться быстрее», – заявил какой-то глупый американский ученый. Едва заметные изменения! Он даже представить себе не может, сколь заметными они будут!

О, глупцы, наивные глупцы! Они теперь рассуждают о «катастрофических последствиях для окружающей среды», но, бог мой, что они имеют в виду! Вот, полюбуйте: «Достигнув побережья, волна неизбежно смывает гнездовья морских птиц. Многие виды птиц в этот период высиживают потомство. Взрослые особи спасаются, а птенцы погибают, и это означает, что нового поколения в этом году не предвидится. Серьезный удар нанесен филиппинскому пеликану – он оказался на грани выживания. Кроме того, огромные волны обрушиваются и на лагуны, где нерестятся различные виды рыб. Волной смыты представители мелкой фауны, начиная от насекомых и заканчивая моллюсками. Разрушенными и уничтоженными оказались коралловые барьеры. Их хрупкие структуры и без того испытывали на себе последствия изменения климата и жизнедеятельности человека». Гибель пеликанов, моллюсков и кораллов – это ли катастрофа, когда речь идет о гибели ЦИВИЛИЗАЦИИ [кликни здесь: подробнее о человеческой цивилизации], о Последней Катастрофе!

«Сутки теперь станут на секунду короче», – говорят ученые. Я говорю вам: это совершенно неважно, потому что суток скоро просто не станет! Их не станет, когда в небе появится Второе Солнце. Оно зальет все и вся своим мертвенным ослепительным светом, и дни перестанут сменяться ночами!

Не надо отчаиваться

Я повторю: однажды, много тысячелетий назад, Сдвиг Полюсов уже произошел. Экватор и полюса раньше располагались совсем в других местах, нежели сейчас. Их перемещение вызвало катастрофические последствия – Великий Потоп [кликни здесь: подробнее о Великом Потопе].

Сейчас это ждет нас снова. Поднимется уровень океанов, затопив низко расположенные земли. Северный полюс сместится туда, где сейчас США. Россия станет страной с тропическим климатом. Новый экватор пройдет через Тюмень, Уфу, Саратов, Донецк, Афины и Сахару.

Последняя Катастрофа уничтожит практически все живое. Страх, холод и бесконечный океан будут царить на Земле... Но те, кто захочет спастись, спасутся – и их стараниями настанет новый Золотой Век.

Мы будем спасаться на Алтае. Да, наше спасение – Алтайские горы, друзья! Они достаточно высоки. [кликни здесь: подробнее об Алтайских Горах].

Вы спросите меня: почему же не Гималаи, они ведь еще выше? Да потому, что там очень мало минеральных ресурсов, их не хватит для основания новой цивилизации.

А на Алтае... на Алтае действительно нет некоторых очень важных вещей. Здесь практически нет нефти и газа. Но, если вдуматься, – понадобятся ли нам в

новом мире нефть и газ? Нет, нет и нет! Нет автомобилям, поездам, самолетам, греющим, жужжащим, загрязняющим воздух, мешающим нам дышать! Нет. Нам не нужно все это! Без этого мы не деградируем, мы просто станем ближе к природе – это ли не есть Золотой Век?...

* * *

К шести утра спать захотелось невыносимо. Но лечь она не стала, это уже не имело смысла: на работу нужно было вставать в семь.

В ординаторской она взяла бланки рецептов и выписала себе два: на реладорм и труксал.

– Что-то вы сегодня неважно выглядите, Ирочка, – сказала нянечка Клавдия Михайловна.

Ирочка подняла на нее глаза с огромным трудом: глазные яблоки за ночь точно высохли – и теперь царапались, цеплялись за глазницы, отказывались свободно в них скользить.

– Просто не выспалась, – ответила Ирочка.

Клавдия Михайловна посмотрела на нее сочувственно и слегка озабоченно:

– Высыпаться нужно обязательно, Ирочка, – мягко сказала она. – Сон – это очень важно для человеческого организма.

– Да, конечно. Сегодня обязательно посплю.

– Вот-вот, обязательно, Ирочка. Будет очень плохо, если что-то тебе помешает. Ты даже представить себе не можешь, как тебе будет плохо.

– Почему вы мне тыкаете? – вяло удивилась Ирочка.

– Ну что вы, Ирина Валерьевна, – теперь нянечка смотрела на нее озадаченно и по-матерински ласково. – Что вы, вам просто показалось... С недосыпу, наверное.

* * *

Поздно вечером, когда она поняла, что купленные днем в аптеке реладорм с труксалом ей не помогают, Ирочка испугалась по-настоящему.

То есть нет, таблетки, безусловно, действовали. Они почти лишили ее возможности двигаться, они пригвоздили ее к кровати, они что-то там сделали с таламусом, гипоталамусом, с мозжечком и спинным мозгом, они погрузили ее в мутный, тяжелый, запутанный полубред, но только вот сном – нормальным, человеческим сном – это не было.

Обрывки чьих-то фраз, выписки из медицинских карт, рекламные слоганы из телевизионных роликов, какие-то детские стишки и считалки беспорядочно крутились в голове; в полусне, прекрасно при этом понимая, что все же не спит, она кому-то беззвучно, многословно и путано объясняла что-то насчет дозировок и осенних листьев; пугающе яркие пятна с внутренней стороны сетчатки звали ее, умоляли ее, настаивали на том, чтобы она прикоснулась к ним, присоединилась к ним, шагнула к ним... всего один шаг в их пеструю смертельную темноту, всего один шаг – и она заснет, шагнет и заснет через секунду...

Но за секунду, за десятую долю секунды до того, как должен был прийти окончательный, настоящий сон, что-то вдруг происходило с ней. Как будто невидимый садист переключал в ее мозгу невидимый тумблер – и она со стоном выныривала из этого своего хрупкого забытья, для того чтобы еще полчаса или даже час поворачиваться с боку на бок, и снова *почти* заснуть, и снова *совсем* проснуться.

Около часу ночи она встала и позвонила Максиму.

– Привет. Что случилось? – в его голосе не было неприязни, но и радости тоже не было.

– Максим, – пискнула в трубку Ирочка и тут же заплакала. – Макси-и-им...

– Что с тобой такое? – теперь голос звучал напряженно: неужели придется сорваться и поехать куда-то среди ночи?

– Максим, я не могу заснуть.

– Ну... бывает, – облегченный вздох. – Выпей валерьянки. Или, ну не знаю, какое-нибудь снотворное.

– Нет, ты не понимаешь. Я уже пила снотворное. Оно мне не помогает. Я не могу спать. Я вообще не могу спать! Понимаешь? Ты понимаешь? Я не могу спать!

– Понимаю, – вежливо подтвердил Максим.

Когда мужчина говорит «я не могу спать» – это обычно вызывает симпатию и уважение. Это значит, что он слишком напряженно думает о чем-то очень важном, или с ним недавно случилась трагедия, он пережил какой-то удар. Возможно, ему угрожают, ему или его близким, возможно, его не поняли, предали, продали... И он, сплошной комок нервов, твердокаменный сгусток воли, он держится, как только может; он, конечно, не распускает сопли, не показывает свих эмоций, но при этом он так сильно переживает, что *даже* не может спать.

Когда женщина говорит «я не могу спать» – это вызывает легкое раздражение и легкое сочувствие – или легкое отвращение, у кого как. Это значит, что она нервная особа или попросту истеричка, это значит, что она пьет валерьянку, это значит, что она совершенно заиклилась на какой-нибудь ерунде и теперь не дает покоя ни себе, ни окружающим. Это значит, что она готова воспользоваться любым предлогом, чтобы позвонить вам среди ночи и порыдать в трубку...

– У всех бывает бессонница, в этом нет ничего страшного, – успокаивающе обратился Максим к отчаянным похрюкиваниям на том конце провода. – Просто успокойся, выпей еще снотворного, посчитай до ста. Можно еще...

– Максим!

– Что?

– Я боюсь.

– Чего ты боишься?

– Не знаю. Что я больше никогда не засну. Что я скоро сойду с ума. Что я скоро умру...

– Ир, не говори ерунды!

– Мне кажется... мне кажется, что я слышу, как кто-то разговаривает. Голоса...

– Просто ты давно не спала. У тебя, наверное, в ушах шумит – это вполне естественно. Нет никаких голосов. И не надо паниковать, ладно? Выпей сейчас чаю и спокойно ложись...

– Максим!

– Что?

– Ты не мог бы ко мне приехать, прямо сейчас?

– Как это – приехать? Я же умер!

– Что? И-и-и... – Ирочка тонко заскулила в трубку, – что ты говоришь, Макси-и-м?..

– Ну, когда ты звонила мне в прошлый раз, недели две назад, ты, помнится, сказала, что я для тебя умер. И что ты больше никогда не хочешь меня видеть.

– Приезжай, пожалуйста. Я больше не могу...

– Ир, ну чего ты не можешь? – теперь его голос звучал действительно раздраженно. – Заснуть без моей помощи не можешь? Чем я тебе должен помочь? Колыбельную, что ли, спеть?

– Скажи, что ты меня любишь, – всхлипнув, попросила Ирочка.

– Я тебя люблю, – мрачно произнес Максим.

– Это правда?

– Нет.

– Тогда зачем, – пронзительно заверещала Ирочка, – зачем ты это сказал?!

– Ты меня попросила.

– Сволочь, – простонала Ирочка и повесила трубку.

Ночью она так и не заснула. Это была уже третья бессонная ночь.

Днем Ирочка добрела до телефона и долго пыталась сообразить, что именно нужно

сделать, чтобы вызвать скорую. Потом мучительно тыкалась в телефонные кнопки, и что-то все время срывалось, не получалось, гудело резко, отрывисто и пронзительно. И скучный, невнятный женский голос беседовал с ней – то ли по телефону, то ли откуда-то из угла комнаты.

...Ты – то, что обтянуто кожей... Ты – то, в чем текут потоки жидкости... Ты – то, что моргает...

Ты – то, что глотает... Ты – то, что дышит... Забудь, как моргать... Забудь, как глотать... Забудь, как дышать...

Вроде бы ей все же удалось вызвать скорую: минут через сорок двое мужчин в голубых халатах приехали к ней и какое-то время с ней беседовали, задавали вопросы, писали что-то в тетрадочку, мерили ей давление и рассеянно улыбались. Она отвечала на вопросы медленно и подробно и никак не могла выбраться из собственных бесконечных фраз, долго подыскивала простейшие слова, забывала что-то и не могла вспомнить, что именно, заговаривалась и сама понимала, что заговаривается. Время от времени в их разговор вмешивалась какая-то женщина:

– Забудь, как глотать... Забудь, как дышать... От твоего рта, от твоих ушей и ноздрей тянутся ходы, ведущие к тебе... Ты – то, что внутри твоей головы... Вылезай оттуда... вылезай наружу... там, внутри, ты не сможешь уснуть...

Голос женщины звучал громко и отчетливо, но Ирочка никак не могла понять, где же она прячется. Она спрашивала об этом двоих в халатах, но те говорили в ответ:

– Не волнуйтесь. Мы сделаем вам укол, и вы сразу заснете.

Они сделали ей укол и ушли.

Укол подействовал: Ирочка лежала тихо, неподвижно и не могла говорить, и не могла открыть глаза... Но она не спала.

Она слушала. Все просто кишело звуками. Звуки шуршали, шипели и хихикали по углам, шумно ерзали по ковру, гнусаво подвывали. Они насквозь пропитали комнату, а потом просочились в ее тело.

Тончайший, пронзительный свист сверлил ее мозг. Билось в барабанные перепонки, громко, часто и гулко стучало что-то, желавшее вырваться из ее головы. Бесцветный женский голос обращался к ней то снаружи – и тогда Ирочка просто слушала, – то изнутри – и тогда она открывала рот и шепотом озвучивала слова.

...Ты – то, что в твоей голове... Вылезай оттуда... Вылезай оттуда... Мы все иногда вылезаем... Никогда не знаешь, что из тебя может вылезти...

Так она пролежала весь день, весь вечер и часть ночи – с закрытыми глазами, опутанная звуками. Это была четвертая ночь.

– Только что умерли близнецы, – сказал голос внутри нее так громко и зло, что Ирочка вздрогнула и открыла глаза. – Врачи убили Трехголового. Ему нужна была третья голова. Ему нужно было пришить третью голову. А они вместо этого разлучили две оставшиеся. Разделили его надвое... Разрезали его... Разрезали близнецов... Врачи-убийцы...

Утром голос умолк, а все прочие звуки стали тише. Ирочка лежала с открытыми глазами.

* * *

Полуденная явилась в полдень.

Она была босиком, в белой ночной рубашке до колен, с длинными растрепанными волосами. Она подошла к окну и решительно раздвинула шторы. Дневной свет стремительно ворвался в комнату, и Полуденная, улыбаясь сверкающей улыбкой, подставила солнечным лучам свое юное лицо.

– Ты устала, – сказала она Ирочке. – Почему ты не отдыхаешь? В полдень все должны

отдыхать.

– Я не могу заснуть, – ответила Ирочка.

– Ничего, я тебе помогу, – Полуденная погладила ее по щеке. – Только тебе нужно отгадать загадку. Я прихожу – она исчезает. Что это?

– Я не знаю, – ответила Ирочка.

– Хорошо, я переиначу вопрос. Но учти, что речь идет о том же самом. Самая прилипчивая тварь на земле. Что это?

– Не знаю.

– Рукава без рук, штанины без ног, голова без лица, – раздраженно сказала Полуденная. – Это самый простой вариант загадки. Отгадывают даже дети. Итак, что это?

– Не знаю, – вздохнула Ирочка.

– Ты просто дура. Это же тень!

Полуденная деловито удалилась на кухню и вскоре вернулась оттуда, шлепая по паркету босыми ногами. В руке она держала упаковку снотворного.

– Хотите тапочки? – сонным голосом предложила Ирочка.

– Нет, спасибо, я так. К тому же мне скоро уходить.

Сморщенное лицо Полуденной растянулось в беззубую улыбку.

– Вот, выпей-ка это, – она протянула Ирочке целую пригоршню таблеток.

– Хорошо, – сказала Ирочка. – А запить?

Полуденная снова сходила на кухню и вернулась со стаканом воды. Потом приподняла Ирочкину голову и поддерживала ее все время, пока та глотала таблетки.

– Ну вот и все, – сказала Полуденная, когда таблетки закончились. – Я бы ушла просто так... Но за то, что ты не отгадала загадку, я должна тебя пощекотать. Закрой глаза... вот так. Я буду рядом. Я буду щекотать тебя, пока ты не заснешь.

Полуденная потянулась дрожащими старческими пальцами к Ирочкиной шее, подмышкам и груди, и после первых же прикосновений Ирочка стала смеяться.

Она смеялась беззвучно, с закрытыми глазами. Все тело ее сотрясало от смеха.

IX НЕЧИСТЫЕ

Все врачи, нянечки и медсестры собрались в ординаторской. Они сидели за длинным белым столом – а те, кому не хватило стульев, расположились на драном плюшевом диване у стены.

На стол никто из присутствующих старался не смотреть, и все равно все взгляды возвращались к нему. Без привычного хлама, без наваленных высокими стопками медицинских карт, без рецептурных бланков, без бурых от общественного чая, погрызенных по краям чашек, – без всего этого стол выглядел неприлично, вызывая голым и холодным.

Теперь на нем были расставлены – с какой-то дотошной симметричностью – только четыре предмета: двухлитровая банка с четырьмя красными гвоздиками на одном конце, двухлитровая банка с четырьмя красными гвоздиками на другом конце и две большие фотографии в траурных рамках – в центре.

– Это нехорошо, – тихо прошептал кто-то. – Фотографию нужно было разрезать. И два отдельных букета. Каждой – отдельный букет... Нехорошо.

Портрет у Ани и Яны был один на двоих. Как их когда-то сняли – два недовольных, некрасивых, чуть ассиметричных лица, тесно прижавшихся друг к другу, – так и вставили теперь в черную рамку. Траурный букет у них тоже почему-то был общий...

На второй фотографии была Ирочка. Она казалась недовольной и раздраженной; правая, жестоко выщипанная ниточка-бровь была приподнята, что придавало Ирочкиному лицу еще и слегка удивленное выражение, как будто она спрашивала: «А что здесь, собственно, происходит?»

Происходило внеплановое собрание.

– ...должны с прискорбием признать, – директор произносил печальную речь, – что мы потеряли сразу двух... то есть, простите, я хотел сказать трех дорогих нам людей. Это девочки Анечка и Яночка, – подбородок директора по-детски дрогнул, – наши девочки, которые, увы, скончались во время операции. И не исключено, что по вине врачей... Впрочем, разделение сиамских близнецов – это очень сложная операция, и риск был неизбежен...

Директор сделал короткую паузу, чтобы успокоиться. Извлек из кармана упаковку с бумажными салфетками, промокнул глаза и вспотевший лоб.

– ...Извините. Да, риск бы неизбежен... И это наша коллега Ирина Валерьевна, так недолго проработавшая в нашем интернате в должности старшей медсестры. Ирина Валерьевна... Ирочка – мы ведь все называли ее просто Ирочка, верно? – совсем еще молодая женщина, покончила... совершила... Ушла из жизни по собственной воле. Не нам ее судить. Возможно, именно на нас с вами лежит ответственность за ее безвременную, нелепую кончину... У Ирочки, как рассказала мне ее мать, были неприятности личного... ну, на личном фронте. Из-за этого она очень нервничала и переживала, а мы – мы, ее коллеги и друзья – ничего не замечали... не хотели замечать. Не поддержали. Не поговорили...

Директор замолчал и тяжело вздохнул:

– Объявляю минуту молчания.

Все молча встали. Выждав несколько секунд, сели. Директор остался стоять.

– Это еще не все, – произнес он наконец. – Теперь я хочу кое-кого вам представить.

В ординаторскую вошла нелепо одетая женщина с копной давно нечесаных рыжих волос, выбивавшихся из-под зеленой войлочной шляпы. Верхнюю часть ее лица почти полностью заслоняли большие очки в безобразной роговой оправе. По комнате разнесся резкий запах старых, полувыводшихся духов. Нянечка Клавдия Михайловна, брезгливо поморщившись, кивнула вошедшей.

– Это Людмила Константиновна, – сказал директор. – Наша новая старшая медсестра. У нас она, к сожалению, будет работать по совместительству – то есть на полставки. Людмила Константиновна – первоклассный специалист, а потому нарасхват... Прошу любить и жаловать.

X ДЕТЕНЫШ

Лес оказался не таким уж страшным: все здесь относились к Мальчику хорошо, и даже Лесной, казавшийся поначалу таким агрессивным, стал улыбаться ему при встрече и рассказывать неприличные мужские анекдоты. А иногда они вместе играли в прятки – в этой игре Лесному не было равных...

Каждый вечер Мальчик по-прежнему навещал Спящую.

Он привык называть Костяную мамой – тем более что точно так же к ней обращались Брат и Сестра, Трехголовый, Болотный, а также все троллики и гномики.

Он привык, что все вокруг зовут его Ваней, – и даже стал охотно откликаться на это имя.

Он очень привязался к ним – и горько плакал на похоронах Трехголового: тот умер от тоски по своей третьей голове. Покончил с собой...

Он старательно учился всему, чему Нечистые могли его научить – разным фокусам и чудесам.

Первым делом они научили его трансформировать. С мамой, как и предупреждал Тот, у Мальчика поначалу действительно получалось довольно плохо. Трансформация заняла не одно мгновение, как полагается, а несколько лет – мать теряла себя мучительно, по частям: сначала память, потом душу, потом голос, потом тело...

Зато с отцом все вышло просто идеально.

ЧАСТЬ 4

После этого войны было не избежать, поскольку по законам этой страны обман и предательство доверившихся являлся непрощаемым преступлением и требовал мести...

Из учебника истории

I ПУТЕШЕСТВИЕ

Вот уже три недели меня почему-то не отводят на виноградники. Вместо этого я каждый день ковыряюсь в клубнике. У меня два ведерка. В одно я складываю подгнившие ягоды, в другое – хорошие.

В принципе никто не запрещает мне время от времени их есть. Но в первые дни я так объелся этой жирной распухшей клубникой, что мне до сих пор противно от одного запаха. По вечерам, когда я ложусь в постель, у меня перед глазами мелькают красные ягодные пятна – а потом клубника снится мне во сне. Мягкая, подгнившая – и гладкая, твердая. Я собираю ее, пожираю ее, сортирую ее – но она никогда не заканчивается... Днем этот сон превращается в явь, настолько похожую на мои ночные кошмары, что теперь я никогда не бываю вполне уверен, сплю я или бодрствую.

Они тут называют все это «реабилитационной программой». Они полагают, что воры и убийцы, занимающиеся земледелием и виноделием, превратятся в законопослушных граждан, а не в законченных, безнадежных психопатов.

Впрочем, не знаю. Не исключено, что дело именно в клубнике. Невозможно каждый день теревить эти шершавые красные шарики. Тут еще есть яблоневые сады – но меня ни разу не отправляли собирать яблоки. Так что не представляю, насколько бы мне понравилось это занятие. А вот на виноградниках действительно было проще. По крайней мере, виноград никогда не снится мне во сне, а давить его было даже приятно... Кроме того, тех, кто занимается виноградом, иногда угощают вином, которое из него делается. Насколько я понял, оно бывает двух видов: одно выходит под маркой «Беглец», другое – «Семь поворотов ключа». И то и другое – изрядная кислятина, но все равно это лучше, чем клубничный морс... Говорят, мы выпускаем тут сорок пять тысяч бутылок в год. На Родольфо Крайя – этого сумасшедшего агронома, который забил все подвалы тюрьмы Веллетри прессами и чанами для брожения, – молятся здесь, как на Исуса Христа...

Надзиратель косится на меня подозрительно: уже несколько минут я просто сижу и ничего не делаю.

– Che succede, bastardo?¹⁵ – спрашивает он и подходит ближе.

Нет, ну все-таки какой красивый язык! Даже теперь, когда я прекрасно понимаю значения слов, мне по-прежнему, как в первые дни, кажется, что он громко декламирует вслух Данте... Ну, или репетирует вечернюю серенаду.

– Скузи, – говорю я и снова принимаюсь доить клубничные кустики своими грязными коричневыми пальцами.

Смешно. У меня так загорели руки, лицо и шея, как будто я провел все лето на курорте, а не в тюрьме. На самом деле мне, конечно, грех жаловаться. Не всем позволяют работать на улице, а уж тем более за пределами зоны. Мне позволяют – за примерное поведение.

И зря, все-таки зря, зря, зря я сделаю то, что собираюсь сделать. Через пару лет вышел

¹⁵ В чем дело, ублюдок? (ит.)

бы, наверное, и так. У них ведь здесь за это самое примерное поведение предусмотрена «система скидок». Год отсидишь – год простят, еще год отсидишь – еще один простят, еще год... Но нет. Годы – это мне не подходит. Возможно, я просто свихнулся из-за этой клубники – но я понимаю, я знаю, что мне нужно сейчас. Мне просто необходимо вернуться сейчас.

Страшно хочется курить. Невыносимо. От этого я наглею настолько, что спрашиваю надзирателя:

– *Mi scusi, quand’è che si potrà fumare?*¹⁶

Он смотрит на меня изумленно. Приоткрывает свой большой тонкогубый рот; глупые глаза-оливки маслянисто мерцают. То ли врежет мне сейчас, то ли просто пошлет к черту. И правильно, в общем-то, сделает. Да не, он нормальный парень, просто выполняет свою работу. Не стоило мне нарываться... Особенно сегодня.

– *Te lo dirò.*¹⁷ – отвечает он неожиданно кротко.

Я вдруг замечаю, что он совсем-совсем юный. Что ж... тем лучше.

Минут через десять он действительно громко объявляет:

– *Pausa di cinque minuti!*¹⁸

Я закуриваю – выносить с собой на улицу сигареты здесь разрешают. Здесь вообще много чего разрешают. Зря я, зря...

Он тоже засовывает в рот сигарету, шарит по карманам в поисках зажигалки, не находит, затравленно озирается.

– Прего! – я протягиваю ему свою.

– Грацие.

Он нервно смотрит по сторонам – кажется, личный контакт с зэками здесь не приветствуется – потом выхватывает у меня зажигалку, жадно прикуривает и возвращает обратно.

Продолжает стоять рядом. На красивом туповатом лице явственно отображается какая-то внутренняя борьба.

– *Ti piace lavorare fuori?*¹⁹ – спрашивает он наконец.

Удивительно все-таки, как же они любят поговорить, итальянцы. Вот ведь ему же наверняка запрещено общаться с заключенными. Ан все равно – не выдержал.

– Си, – подобострастно улыбаюсь я и несколько раз киваю головой для пущей убедительности.

– *Molto bene.*²⁰ – морщится он.

Он не знает, что еще сказать, и сам уже явно жалеет, что ввязался в этот разговор.

– *Mi scusi, non è che per caso mi saprebbe dire come mai adesso mi toccano sempre le fragole?*²¹ – спрашиваю я.

Почему бы не удовлетворить напоследок свое любопытство? Раз уж у нас такой милый смол-ток...

¹⁶ Простите, когда можно будет покурить? (ит.)

¹⁷ Я скажу (ит.).

¹⁸ Перерыв пять минут (ит.).

¹⁹ Нравится работать на улице? (ит.)

²⁰ Это хорошо (ит.).

²¹ Простите, а вы случайно не знаете, почему я теперь занимаюсь только клубникой? (ит.)

– Le tue mani, ragazzo.²² – говорит он.

– La mani?²³

– Gi#224;. Vedi: tu hai le mani agilissime. Sei il piu veloce a pulire le fragole, cento volte piu veloce.²⁴

Он бросает сигарету на землю, давит ее ботинком, сплевывает белый комочек слюны – метко, прямо на клубничину рядом со мной – и поворачивается ко мне спиной.

Сейчас. Вот сейчас. Сейчас.

– Fine della pausa!²⁵ – кричит он, но я почти не слышу его: так громко бьется мое сердце.

Сейчас я. Сейчас.

Он отходит на несколько шагов. На секунду оборачивается (смотрит почти приветливо), потом отходит еще.

Сейчас.

Я вскакиваю на ноги и быстро бегу. Бегу по спелой красной клубнике.

Я успеваю отбежать уже довольно далеко, но все же не достаточно далеко, когда за спиной, наконец, раздаются его хриплые надсадные вопли. Я бегу дальше. Я понимаю не все слова, но главные все же понимаю.

– Fermi o sparo!²⁶

Мы только что вместе курили. Мы только что вместе болтали. Теперь он кричит мне вслед – не с угрозой, а с бешеной, истеричной обидой. В чужом языке такие вещи различаешь лучше. В этом его «стой, буду стрелять!» я отчетливо слышу: «стой, не предавай меня!». И еще: «стой, а то отомщу».

Черт. Вот ведь черт. Я надеялся, что успею отбежать дальше. Если он сейчас выстрелит – а он выстрелит, – вполне может попасть. Может, впрочем, и не попасть. Что ж, посмотрим...

– Non ti muovere!²⁷ – снова кричит он и одновременно стреляет.

У меня закладывает уши. Я падаю на землю, так и не успев понять – это я просто от испуга споткнулся, или он все же попал. Я падаю, и мне очень больно. Это я сильно ударился – или он все же попал? Я не могу понять. А потом в глазах все чернеет – так бывает, если очень резко наклониться, – и на какую-то секунду я теряю сознание.

* * *

Я прихожу в себя и сначала не могу понять, где я. Перед глазами у меня что-то красное, ярко-красное, и ничего больше. Но потом слышу его крики – он все еще орет: «не двигаться!» – и понимаю, что я по-прежнему здесь. В клубничных зарослях.

Я все еще здесь, живой – но что-то все равно изменилось.

Что-то очень сильно изменилось.

22 Твои руки, парень (ит.)

23 Руки? (ит.)

24 Да. У тебя очень ловкие руки. Ты перебираешь клубнику быстрее всех. В несколько раз быстрее (ит.)

25 Конец перерыва!(ит.)

26 Стой! Буду стрелять! (ит.)

27 Не двигаться! (ит.)

II МОСТ

Сначала кто-то шепотом произнес его имя – Анчутка, – и этот шепот тихим эхом разнесся по всему лесу:

– Анчутка, Анчутка, Анчутка, утка...

Он пришел первым.

Анчутка едва доставал ей до колена. У него были пороссячья голова с нежно-розовым, сочащимся прозрачной клейкой жидкостью пяточком и тщедушное утиное тельце. Красные перепончатые лапки различались: одна нормальная, а другая с откушенной пяткой. Он то ставил ее на сырую дощатую поверхность моста, то поджимал под себя.

– Это волк откусил мне пятку, – пожаловался Анчутка. – Давай играть.

– Давай. Во что? – спросила она.

– Давай ты сядешь на край мостика, – сказал Анчутка, – и будешь болтать ногами. А я запрыгну к тебе на ноги и стану раскачиваться. Я очень люблю раскачиваться на ногах.

– Хорошо, – сказала Маша и опустилась на край мостика.

Анчутка сел верхом на ее правую ногу. Он был теплый, мокрый, и сердце его колотилось часто-часто, по-птичьи. Раскачиваясь, он хрюкал и крякал от удовольствия.

Некоторое время он весело перепрыгивал с одной ноги на другую, а потом уснул. Он спал долго – несколько часов, или несколько дней, или месяцев – на ее ледяных, затекших ногах.

Наконец он проснулся и сказал ей:

– Спасибо, что поиграла со мной.

А потом спрыгнул вниз, в черную воду реки Смородины, и поплыл прочь.

И когда он исчез из виду, она почувствовала, как онемевшие ее ноги наполняются теплом сотен маленьких колючих иголок, согреваются, оживают.

III ПУТЕШЕСТВИЕ

Я смотрю на эту сцену из чистого любопытства. Я мог бы давно уже убежать, но мне было интересно взглянуть на них в последний раз – так что я, наоборот, вернулся к своему тюремному корпусу. Я сижу, прицепившись к железной решетке на окне, наблюдаю и слушаю.

Их язык теперь так понятен мне. Итальянский или какой-то еще – мне теперь, наверное, неважно. Это просто язык людей – и я его понимаю.

Синьор Ринальдо, главный тюремный надзиратель, похож на свихнувшегося Карлсона, которому отрубили пропеллер. Он быстро-быстро снует по комнате, вопит, брызжет слюной, подпрыгивает на своих коротеньких толстеньких ножках и размахивает руками, как будто хочет взлететь. Потом вдруг останавливается, тяжело и сипло дыша, и из ярко-розового становится пунцово-фиолетовым, тусклым. Именно это изменение оттенка, кажется, пугает парня больше всего. Он начинает мелко-мелко трястись и почти плачет, бедняга. Нет – не почти. Он действительно плачет, мой бывший надзиратель.

– Говори правду! – орет Ринальдо. – Ты под трибунал у меня пойдешь! И не думай, я не посмотрю, что ты мой сын! Ты вообще мне больше не сын! Слышишь, Марчелло, если не скажешь правду, ты мне больше не сын!

– Но я правду сказал, – всхлипывает Марчелло.

– Ты что, хочешь, чтобы меня удар хватил? – Ринальдо театрально прислоняет руку к груди, а потом почему-то к животу. – Ты думаешь, я поверю в этот твой бред, ты, идиот, ты так думаешь, да?

Парень вроде бы немного успокаивается, молча вытирает рукавом свои блестящие глаза-оливки. Вытаскивает из кармана пачку сигарет, собираясь закурить.

– Я тебе запретил курить, ты разве не помнишь?! – голос синьора Ринальдо срывается на бабий визг.

Он подсакивает к Марчелло, выдергивает у него из рук сигареты, швыряет их на пол и топчет ногами, нелепо подпрыгивая.

– А ну, отвечай! Как все было на самом деле – отвечай! – приплясывает он на кучке желтой трухи.

– Я могу только повторить, папа. Все было так. Он побежал. Я крикнул, что буду стрелять. Он не остановился. Я выстрелил. Кажется, попал. По крайней мере, он упал на землю... Вот. Тогда я быстро подбежал к нему. Но его там не было.

– Что значит – не было? – вскрикивает Ринальдо. – Ну что значит – не было?.. – повторяет он уже тише и в изнеможении опускается на стул.

– Я не знаю, папа! – теперь уже Марчелло орет. – Просто не было и все!

– Ты хочешь сказать, что он все-таки убежал? Поднялся и убежал? – почти с надеждой в голосе спрашивает старший надзиратель.

– Нет, папа. Он упал и больше не поднимался. Он... он просто исчез.

– Все понятно, – тяжело вздыхает синьор Ринальдо и чертит короткими толстыми пальцами невидимый рисунок на заваленном бумагами столе.

Лицо его постепенно приобретает нормальный оттенок.

– Все понятно, – повторяет он. – Ничего поумнее ты придумать не смог.

– Но я не придумал...

– Помолчи, а? У тебя с фантазией всегда было плохо. И все же... нам с тобой придется подумать над какой-нибудь более удобоваримой версией. Я тебе помогу, сынок. Я... погорячился немного и, наверное, тебя напугал. Но, конечно же, я тебе помогу, ты же знаешь. Только мне это будет проще сделать, если ты честно и внятно расскажешь, куда он на самом деле делся. Ну? Мне, мне ты можешь спокойно признаться, я же твой папа! Ну – скажи мне, Марчелло. Ты просто побоялся выстрелить и дал ему спокойно уйти, да?

– Нет, папа. Я же говорю тебе – он вдруг куда-то исчез.

Синьор Ринальдо вскакивает со стула и мгновенно становится серо-багровым, как обожравшийся кровью комар.

– Идиота! Бастардо! Кретино! Имбечилле! Ступидоне! – бесится он.

Выглядит это комично. Если бы я мог, обязательно бы засмеялся. Но я теперь не могу. С тех пор как пришел в себя – и увидел только блестящее, ярко-красное, заслонившее от меня мир. Кровавая пелена... Нет, никакая это была не кровавая пелена.

Это была клубничина. Гигантская шершавая ягода, в которую я уткнулся лицом. Я отодвинулся от нее, огляделся. Вокруг меня росли приземистые ярко-зеленые пальмы, увешанные мягкими красными плодами. От тягучего клубничного запаха кружилась голова. Откуда-то сверху доносились вопли моего надзирателя. Он кричал злобно и очень испуганно. А потом я увидел его ботинок. Он опустился рядом со мной, едва не придавив меня, – ботинок размером с грузовик.

Вот тогда я понял – спокойно, без особого удивления понял, – что ничего не изменилось. Ботинки, ягоды и клубничные кусты остались прежними.

Изменился я.

* * *

Я теперь черный. Весь блестящий и черный. Только на брюшке рисунок: два красных пятна, обведенные тонкой белой каймой, – по форме похоже на песочные часы. У меня большие клыки и восемь мохнатых лап.

Перед тем как окончательно покинуть тюрьму, я заполз в сортир рядом с комнатой старшего надзирателя. Меня мучила жажда.

Рядом с краном, на белой, чуть заржавевшей эмали, – целая заводь переливающихся прохладных капель. Все, пора. Я давно напился. Я давно уже неподвижно сижу на раковине

и просто рассматриваю в зеркале свое отражение. Я смотрю, смотрю на себя. Я не удивляюсь... Может быть, я спал и мне снилась клубника, а потом стало сниться это. А может быть, болтливый надсмотрщик действительно подстрелил меня – и это мой предсмертный кошмар. Или, может, все просто стало *вот так*. Я не удивляюсь и не пытаюсь понять.

Сейчас. Я сейчас уползу.

Тот, кем я стал, уползет – по стенам и решеткам, по лестницам и коридорам, через виноградники и через клубничные джунгли... Эта клубника просто кишит муравьями. Он, возможно, убьет и съест парочку. Ему нужно набраться сил перед дальней дорогой.

IV ПУТЕШЕСТВИЕ

Раскаленные улицы были пустынными.

В Веллетри не водились туристы – крошечный средневековый городишко в часе езды от Рима ничем их не привлекал, – так что никто не мешал местным жителям предаваться послеобеденной сиесте.

Он добрался до центра к двум часам дня. Ни одного человека. Даже голубей, кошек и собак – и тех не было; затаились в вонючих подворотнях, в тенистых расщелинах порыжевшего, обуглившегося на солнце холма, в дрожащих сваях железнодорожного моста, в розово-серых, поросших плющом и лопухами развалинах монастыря святого Франческо... В этот час Веллетри казался мертвым. Сожженным и покинутым.

В этот час Веллетри принадлежал насекомым.

Страшно хотелось пить. Под палящим солнцем паук пересек кремовую стену кафедрального собора и спустился к бронзовой фигуре святого Клементе. Покопшился немного в цветах, аккуратно расставленных вокруг нее в вазочках и горшочках. Проигнорировал жирную мохнатую бабочку, лениво качавшуюся на оранжевом полураскрытом бутоне, и сполз вниз по стеблю. Там, на дне вазы, было немного влаги.

Утолив жажду, паук снова выбрался на солнце. Обжигая лапки о горячий асфальт, дополз до какого-то кирпичного возвышения. Оно тоже было неприятно теплым. Тогда он перебрался на блестящий светлый рекламный плакат, приклеенный к кирпичам. Обогнул большие коричневые буквы: *Comete*, пересек хищное ухмылявшееся лицо загорелой итальянской красотки. Прополз между ржавыми решетками ограды и, вздернув цветастое брюшко, выпустил длинную паутинную нить, по которой спустился в траву заброшенной детской площадки.

Здесь можно было поохотиться и поесть: толстые рыжие муравьи сновали туда-сюда по сломанным грязным качелям. Я подкрался к качелям совсем близко, когда заметил у основания синего металлического столбика других пауков. Их было пять или даже больше. Увидев меня, они замерли в нелепых позах – предлагали уйти по-хорошему. Но я не двинулся с места. Тогда они ощерились, выставив ветвистые клыки, напрягли животы и стали медленно наступать.

Я тоже напряг брюшко, быстро скапливая в нем прозрачную едкую жидкость, точно слюну во рту для плевок. Я не испугался. Они были пепельно-серыми, блеклыми, без узора. От них шел резкий, липучий запах раздраженных самцов другого вида. Они были значительно крупнее меня, но какое-то шестое чувство подсказывало мне, что они не были ядовиты. И какое-то шестое чувство подсказывало мне, что я – был.

Серые пауки обступили меня со всех сторон. Самый крупный остановился в паре сантиметров, угрожающе раскачиваясь из стороны в сторону, а потом прыгнул, вцепившись тонкими крепкими лапами в мою черную спинку. Вслед за ним в драку полезли еще двое.

Я вывернулся, изогнулся и ужалил их вожака в живот. Тот скрючился на земле, раза три дернулся и застыл, парализованный. Или мертвый. Я пошевелил брюшком, метнулся к

другому серому и впился в него. Дождался, пока тот беспомощно раскинет обмякшие лапки, и оглянулся на остальных.

Они отступили, пятась.

Охотиться не пришлось. Я просто сожрал пару муравьев из тех, что подергивались в чужой паутине, и ушел прочь.

* * *

С обшарпанной розоватой стены одного из домов на виа Паделла открывался хороший вид на долину, и он неподвижно просидел на этой стене больше часа. И дело не в том, что стена была влажной, прохладной и находилась в тени. Просто там было очень красиво, в долине. Там были пальмы, апельсиновые рощи, яблоневые сады и виноградники, там из густой, переливающейся на солнце зелени кокетливо высовывались изящные белые домики с красными крышами и кукольными балкончиками, увитыми плющом, а на горизонте таяли, точно мягкое фисташковое мороженое, зеленовато-серые горы.

Такая красота... Зачем уезжать отсюда? Зачем возвращаться – туда?

Почему не выбрать себе любой дом, любую добычу, любую самку; почему не остаться здесь – свободным, ядовитым, блестящим?

Он не знал, почему. Он не знал этого даже тогда, когда еще был человеком. Действительно, почему ему вдруг так понадобилось сбежать, когда сидеть оставалось всего ничего? Уж явно не потому, что в тюрьме по ночам ему снился мальчик с бритой налысо головой и бессмысленными глазами. Мальчик, который повторял «возвращайся» таким голосом, каким обычно говорят «уходи»...

Уж явно не из-за угрызений совести. Свою совесть он всегда умел обманывать не хуже, чем всех вокруг – возможно, потому, что никогда до конца не ощущал эту самую совесть собственным «внутренним органом»... Это как с сумасшедшим, которому казалось, что его правая рука – чужая. Врач сказал ему: а вы попробуйте пощекотать себя этой рукой. Тот попробовал – и тут же начал хохотать и дергаться. И тогда врач сказал: знаете, а ведь это *действительно не ваша* рука. Потому что он знал, врач, что человек физически не способен щекотать себя сам, ему просто не будет щекотно; в щекотке самое главное – неожиданность прикосновения... Впрочем, при чем здесь это?

И при чем здесь вообще совесть – сейчас-то, когда прошло столько лет. Когда у него восемь мохнатых ног – или, если угодно, рук, – а живот набит муравьями и мухами... Здравствуй, сынок – вот он я, наконец вернулся!

Нет, дело совсем не в этом. Дело в интуиции. Интуиция, в отличие от совести, всегда принадлежала ему полностью, на все сто. И теперь он просто чувствовал, что нужно возвращаться обратно – человеком ли, пауком ли, неважно...

Внезапный порыв ветра чуть не сдернул его со стены вниз, в долину – интересно, пауки разбиваются, если падают с такой высоты? – и еще этот ветер принес с собой голос. Чей-то очень знакомый голос... Кажется, он доносился из включенного телевизора или радиоприемника в одной из квартир. Мягко шелестел из распахнутого окна:

– Выгляжу я, честно говоря, так себе. Не лучшим образом выгляжу. Я такая, знаете, в шляпе...

Паук замер, прислушиваясь.

– ...В серванте у нас два фарфоровых сервиза и еще много тарелок и чашек из разных наборов. На окнах – занавески в два слоя: сначала тюль, потом плотные. В спальне – синие с желтыми кленовыми листьями, в гостиной – серебристые с мелкими звездочками. И только на кухне – просто тюль. На всех подоконниках – горшки с цветами. А стены кухни увиты плющом: когда он отрастает, я цепляю его побеги за расписные тарелочки, которые висят на кухне на гвоздиках...

Быстро перебирая дрожащими лапками, паук пополз по стене влево; туда – на голос.

Я знаю этот голос. Я прекрасно его знаю. Я узнал бы его из сотни, из тысячи других.

От одного только звука этого голоса брюшко мое напрягается, вздрагивается, наливается прозрачным беспомощным ядом. Это очень острое чувство. Как ненависть к кому-то, кто давно уже умер. Как эрекция в узких обтягивающих джинсах. Как ненависть и эрекция – без малейшей надежды на облегчение... Но я все же ползу, ползу туда. К распахнутому окну.

* * *

Мы с ней повстречались в цирке. Я показывал там всякие замысловатые фокусы, а она устраивала сеансы гипноза. Иногда я присутствовал на этих сеансах. Я был единственным человеком, на которого ее гипноз не действовал, – возможно, этим я ей и понравился... На меня, собственно, и ничей другой гипноз не действовал, я вообще никогда не покупался ни на какое вранье – сам был большим специалистом по этой части; у меня была кличка Ловкач.

Сначала мы просто работали вместе. А потом – потом...

Не то чтобы я был в нее влюблен. Совсем даже не был. Просто – когда она заводила эту свою шарманку: «...Выгляжу я, честно говоря, так себе. Не лучшим образом выгляжу. Я такая, знаете, в шляпе, зеленой, войлочной, и в фиолетовом демисезонном пальто с большими позолоченными пуговицами...», – она была неподражаема. Блистательна. Она была отличным профессионалом. Она была мастером – и это мастерство не могло не вызывать восхищение. У меня, по крайней мере.

Она говорила именно так – с такой скоростью, громкостью, монотонностью, – как надо. Самые простые, примитивные, казалось бы, средства – слова – она превращала в мощнейшее оружие. Кроме слов, она не использовала ничего, даже маятника. Она говорила все подряд – какие-то считалочки, стихи, скороговорки, просто какую-то чушь...

Медленно и ритмично она выплевывала свои глупые слова-дробинки в толпу, и они неизменно попадали в каждого. В каж-до-го. Она никогда не давала осечек. После сеанса я с восторгом – и, чего уж там, с завистью – говорил ей: «Это был не гипноз, дорогая. Это было колдовство». Она улыбалась.

А выглядела она и впрямь «так себе» и «не лучшим образом». Красно-рыжие, вечно грязные волосы. Грубое бабье лицо. Обвисшая грудь. Она ужасно одевалась – действительно, дурацкая эта зеленая шляпа, какие-то вычурные нелепые блузы из бабушкиного сундука, на ногах – толстые хлопчатобумажные колготки. Кроме того, от нее всегда исходил какой-то тухлявый запах. Запах немытого женского тела, старых духов и еще чего-то – я старался не думать, чего. В довершение ко всему она была непроходимо глупа.

Так что о любви даже речи не было: она была мне противна. И все же притягивала меня. Притягивала этим своим умением плести патину из слов, этим своим запахом и еще чем-то – я старался не думать, чем.

Я ползу по горячей стене на ее голос – и снова вспоминаю тот вечер. Я часто его вспоминаю...

* * *

Я лежу на спине, голый. В ее комнате, в ее постели, на ее простыне – нечистой, загаженной какими-то желтоватыми пятнами, как всегда. Я уверен, что кроме меня на этой же самой простыне за последние три-четыре дня уже успели полежать еще несколько мужиков: не я один люблю ее грязь. Не я один хочу слушать ее слова. Трогать своим языком ее липкий картавый язык.

Но мне на них совершенно плевать, на этих ее мужиков. Ревновать ее? Это смешно.

Я смотрю на ее пальцы, обтянутые заскорузлой коричневатой кожей, как будто она с утра до вечера чистит картошку. На широкие, мужицкие ногти – обрамленные заусенцами, непомерно длинные, заостренные на концах, выкрашенные в ярко-красный. Смотрю на ее толстую, короткопалую руку кухарки. Смотрю, как вверх-вниз двигается эта рука, вверх-вниз, вверх вниз, плотно обхватив мой член.

Она тоже голая. Сидит по-турецки, свесив свой мешковидный белесый живот, весь в складках. Она дергает меня вверх-вниз, вверх-вниз, ритмично и резко. Так, словно давит картофельное пюре. Или накачивает велосипедную шину.

Я говорю:

– Больно.

– Извини, – отвечает она, продолжая работать рукой. – Но сегодня я не хочу с тобой спать.

– Тогда просто перестань, Люся!

– Как ты меня назвал? – она застывает, ослабляет хватку.

– Ну... Люся. А что?

– Я не Люся. Я – Люси. Ударение на первом слоге. «И» на конце. Это сокращенное имя. Мое полное имя – Люсифа.

– Хорошо, хорошо. Люси. О'кей. Я действительно не знал. Прости.

Она кивает, тербит меня снова. Мне надо было вырваться пару секунд назад, когда она отвлеклась... Упустил момент.

– Люси. Не надо, перестань. Так мне больно. Я так никогда не кончу.

Она внимательно смотрит мне в глаза, со странным выражением – как будто изучает большое уродливое насекомое.

– А как тебе надо? – спрашивает наконец.

– Ну... если можешь... по-другому.

– По-другому – это как?

– Например, – языком.

– Языко-о-ом, – мечтательно тянет Люси и ухмыляется. – Конечно, могу. Пожалуйста.

Она продолжает двигать рукой, но теперь еще тихо бормочет, покачиваясь из стороны в сторону:

– Волосы у меня хорошие... Густые, рыжие... Я крашу их хной... Только вот в последнее время они сильно секутся на концах... Живу я одна. Нет, я не старая дева. У меня бывают мужчины. Просто они меня не интересуют. Квартирка у меня маленькая, но приятная. И пахнет здесь хорошо, как в аптеке – таблетками и натертым мастикой паркетом. Запах чистоты...

Я перебиваю ее:

– Перестань. На меня не действует вся эта дребедень, ты же знаешь! Мне пора идти.

– ...У меня, пожалуй, скопилось слишком много мебели и всевозможных милых безделушек, но при этом захламленной квартира вовсе не выглядит... – она не обращает внимания на мои слова и не выпускает меня из рук, – ...потому что я хорошо умею поддерживать порядок, каждый день протираю пыль, и все в доме всегда стоит на своих местах. Фарфоровые фигурки – собачка, лисичка, две балерины, морской царь – очень красивый, с трезубцем – на трюмо... Маленькие смешные туфельки из гжели – на тумбочке перед кроватью...

– Замолчи! – я почти ору.

– ...В них, кстати, в эти туфельки, очень удобно что-нибудь мелкое класть: булавки, заколки, шпильки, ватные тампончики, одноразовые шприцы... Так, потом... – большой, вырезанный из дерева орел – на шкафу. В серванте у меня два фарфоровых сервиза и еще много тарелок и чашек из разных наборов...

Я закрываю глаза. Странное ощущение – как будто вот-вот на меня, на *меня* в кои-то веки подействуют эти ее слова... и я провалюсь куда-то, дам засосать себя в темную липкую воронку, дам себя проглотить, забуду себя, исчезну, подчинюсь ей весь, без остатка... Это

ощущение пугает меня – до тошноты.

Некоторое время я лежу неподвижно, тихо и жду, когда это все наконец прекратится. Стараюсь думать о другом. Я прилежно генерирую в своем сознании худеньких загорелых девочек-подростков, которые, хихикая, зарывают друг друга в песок на пляже... или мажут друг другу спины солнцезащитным кремом... Я думаю о любовнице моего приятеля – красивой, большогогрудой, пленительно тупой и ко всему безразличной... с полуоткрытым бессмысленным ртом... да, она хороша, его женщина-растение, женщина-рыба... Еще я думаю о своей жене... Маше...

Уже на последних секундах, уже чувствуя скорое избавление, я неожиданно понимаю, что больше не слышу отвратительного голоса Люси. Только слабый хлюпающий звук и шумное дыхание... Она уже не мучает меня своей шершавой рукой – вместо этого обволакивает теплым, мягким, липким...

Приоткрыв глаза, наблюдаю, как она лижет меня. Как набрасывается на мою плоть, пыхтя и чавкая, урча от удовольствия, покусывая и обливаясь слюнями... готовая проглотить меня, поглотить меня, втянуть в свое темное нутро, переварить, уничтожить...

Я ору громко и хрипло, я дергаюсь, я хочу вырваться. И вместе с этим криком, вместе с судорогами страх и отвращение выплескиваются из меня густыми скудными порциями.

Какое-то время в комнате совсем тихо. Потом она говорит:

– Если б ты знал, какое глупое у тебя было лицо.

– А ты злая, Люси.

– Конечно, злая, – она снова склоняется надо мной, проводит языком по животу, слегка кусает за сосок. Потом поднимает ко мне свое некрасивое бабье лицо с мокрым, жирно блестящим от слюны и спермы подбородком. – Я вообще Злая Колдунья.

Она смотрит на меня своими маленькими пороссячьими глазками, и в них – сумасшествие. Неподдельное, чистое сумасшествие. Мне становится не по себе.

– Я Злая Колдунья, Злая Колдунья, – бормочет Люси. – Однажды меня не пустили туда, куда я очень хотела попасть, и я сильно обиделась...

Она все лижет мой живот.

– ...Мне так хотелось туда попасть...

– Прекрати! – я отодвигаюсь от нее на край кровати, поджимаю под себя ноги.

Люси замолкает. Вытирает подбородок тыльной стороной ладони.

Повернувшись к ней спиной, я натягиваю джинсы. Страх больше нет. Только тоска и омерзение – впрочем, это всегда после секса с ней...

Уже в дверях я спрашиваю:

– Люсифа – это какое-то очень редкое имя, да?

– Да. Очень, – она странно смеется. – Но я тебя обманула. Это не мое имя – скорее, творческий псевдоним. Просто Люся звучит как-то уж очень по-простецки... Ладно, иди, иди. Привет семейству.

– Пока! – говорю я и начинаю спускаться по лестнице.

– Стану, не благословясь, пойду, не перекрестясь, не дверьми, не воротами, а дымным окном да подвальным бревном, положу шапку под пята, под пята... – тихо бормочет Люси у меня за спиной.

Я останавливаюсь.

– Чего? – мой голос звучит как-то по-идиотски встревоженно.

– Иди-иди, – недовольно отвечает Люси, – это я не тебе. ...Побегу я в темный лес, на больш-о озероище, в том озероище плышет челнище, в том челнище сидит черт с чертищей, швырну я с под пята шапку в чертища. Что ты, чертище, сидишь в челнище, с своей чертищей? Сидишь ты, чертище, прочь лицом от своей чертищи...

С грохотом захлопывается дверь подъезда. Я иду, спотыкаясь и чертыхаясь, по мокрой неровной асфальтовой дорожке к Ленинскому проспекту. Здесь нет ни одного фонаря, в этой

ее дыре. Непроглядная темень. Какие-то существа – люди? собаки? – шумно возятся справа от меня в невидимых кустах, пыhtят и ломают ветки.

Не надо бы мне больше сюда приходить. Не надо мне к ней приходить – вяло думаю я и прекрасно понимаю, что приду, приду еще не раз.

* * *

...поди ты, чертище, к людям в пепелище, посели, чертище, свою чертищу Иосифу в избище, а в той избище, не как ты, чертище, со своей чертищей, живут людища мирно, любовно, друг друга любят, других ненавидят. – Ты, чертище, вели чертище, чтоб она, чертища, распустила волосища: как жила она с тобой в челнище, так жил бы Иосиф со своей женой в избище. Чтоб он ее ненавидел. Не походя, не поступя, разлилась бы его ненависть по всему сердцу, а у ней по телу неугожество, не могла бы ему ни в чем угодить. Как легко мне будет отступить от тебя, как легко достать шапку из озерича, тебе чер-тищу, хранить шапку в озериче, от рыбы, от рыбака, от колдуна. Чтобы не могли ее ни рыбы съесть, ни рыбак достать, ни колдун отколдо-вать...

* * *

Вообще-то я решил как можно реже залезать в человеческие дома. Это довольно опасно: я еще не совсем привык к разнице масштабов и не уверен, что в случае чего смогу быстро и вовремя сориентироваться... Прихлопнут – и все.

Но в это окно я не могу не залезть.

Большая светлая кухня. Что-то невнятно бормоча, крупный вонючий ребенок месяцев десяти от роду ползает на четвереньках, ищет на полу соринки и крошки, подбирает их и сует в свой слюнявый рот. У замусоренного стола сидит женщина – его мать или, возможно, няня. На вид ей лет сорок – но, скорее всего, меньше, причем лет на десять. Это я знаю по опыту – с женским возрастом я здесь поначалу все время ошибался. Итальянки очень хороши лет до девятнадцати – а потом как-то вдруг, сразу стареют. Или не стареют даже, а высыхают на солнце, сморщиваются, точно вяленые бананы.

У этой тоже – смуглая иссохшая кожа, вся в мелких прыщах и точечках, и такие большие круги вокруг глаз, будто она в темных очках. Своими тусклыми карими глазами она безразлично пялится в экран телевизора, из которого сейчас не доносится ни звука.

Приклеившись к внутренней стороне подоконника, я сижу неподвижно, вниз головой – и тоже смотрю.

Там, на экране, эта ужасная харя, вся в угрях и оспинах, – наш теперешний президент. Его избрали, когда я уже был в Италии, но я помню эту дурацкую историю, как же, как же. Перед самыми выборами его якобы пытались отравить, и был дикий скандал, и он лежал в реанимации при смерти, весь бледно-зеленый, со странно испортившейся кожей, и врачи мрачно и взволнованно говорили в телекамеры, что у него, мол, никаких шансов – уже, считай, покойник. Так его и выбрали – можно сказать, посмертно, из жалости. Ан он на следующий день взял да и выздоровел. Впрочем, выглядит он с тех пор действительно как покойник. Я сначала думал, что это просто грим такой, но, видимо, все-таки нет, действительно что-то с кожей. Может, он и впрямь траванулся тогда чем-то, кто знает... Но в любом случае тот, кто сделал его предвыборную компанию, пиарщик очень талантливый, что и говорить.

Его лицо показывают крупным планом, во весь экран. Язвы и рывины довольно неумело зашпаклеваны чем-то вроде тонального крема. Он смотрит в камеру не мигая, без всякого выражения и молчит. Потом губы его медленно разлепляются. Он словно собирается что-то сказать, но так и застывает с открытым ртом. Зато теперь я снова слышу *ее* голос. И этот голос бормочет:

– Военные действия я считаю нормальным...

Она продолжает говорить, но ее монотонные слова заглушаются страстным итальянским переводом:

– ...нормальный ответ на любую угрозу целостности России. Осуждение со стороны мировой общественности меня мало волнует, когда речь идет об интересах моей страны...

– Бастардо! – с чувством обращается к телевизору смуглая женщина. – Фашиста!

Пузатый ребенок, бубня и громко икая, подползает к моему подоконнику и корячится на полу, пытаясь подняться на ноги. Я немного отвлекаюсь на него, а когда снова смотрю в телевизор, картинка там уже другая.

Итальянский диктор с почти искренним возмущением комментирует то, что он называет «речью президента России». И, что странно, он говорит так, точно все эти слова о «целостности» и «общественности» действительно произносил перемазанный тональным кремом тип с открытой пастью и немигающими глазами, а не тихий женский голос за кадром. Диктор бодро рассуждает о тоталитаризме, жестокости, о правах человека, о каких-то вооруженных столкновениях и военной угрозе.

Потом на экране снова возникает неподвижное лицо президента. Фотовспышки разливаются по его коже блестящими зеленоватыми пятнами – но я смотрю на другое пятно. Оно красно-рыжее. Оно то появляется, то исчезает в самом углу кадра – оператор явно захватывает его случайно. Я, кажется, понимаю, что это за пятно. Прядь волос – рыжих, выкрашенных хной.

Яд. Прозрачный клейкий яд скапливается внутри меня.

Ребенок вдруг прекращает свою возню на полу и жизнерадостно визжит, уставившись прямо на меня. Он выбрасывает на пол пластмассовую прищепку, которую сжимал в кулаке, и тянется ко мне своей грязной пятерней, повизгивая.

Женщина отрывается от телевизора и поворачивается к нам:

– Что там такое, Тони?

– Да-да-да-да и-и-и-и! – восторженно клокочет ребенок и все пялится на меня.

Мое черное брюшко и так уже ноет, едва не лопается от переполнившего его яда. Теперь оно инстинктивно напрягается... я не сделаю этого. Нет, я не сделаю этого. Не трону ребенка.

Я сдерживаю позыв и быстро ползу по подоконнику, вылезая обратно, в открытое окно. Позади себя я снова слышу знакомый голос из телевизора:

– ...На стенах у меня ковры. И гобелены – с оленями. Я их в молодости сама вышивала. Там целые сцены изображены: охотник целится в оленя из лука, олени бегут через лес, олени у водопоя... И все это сделано крестиком. Очень красиво. А еще есть чучело головы оленя, она висит в коридоре... Они давно ушли из этих мест...

На этот раз слова ее звучат громко и отчетливо – никто не переводит их на итальянский.

– ...оставив землю, небеса и воду, обиженные, грустные уроды, они давно ушли из этих мест; они не по-хорошему ушли – с проклятьями, с обидами, с позором, спалив свои дома, засыпав норы червивыми комочками земли... Они, возможно, сами виноваты, они не захотели нас простить, и волоча по серому асфальту осклизлые русалочьи хвосты...

Я быстро-быстро ползу по стене, спускаюсь по тонкой паутинке на землю, бегу, бегу по асфальту, по траве, по брусчатке, подальше от этого дома и этой улицы, подальше от ее голоса – но слова все равно звучат в моей голове.

...Они ползли и пятились по-рачьи,
Шипели, поднимали вой и визг,
И хрюкали, и харкали горячим,
Плевались взвесью ядовитых искр.
Они свивались кольцами от боли,

И был труслив и краток их исход,
Они ушли и увели с собою
Своих волков, и крыс, и птиц, и скот,
И увели летающих коней,
И черных кур, и царственных лягушек,
И говорящих рыбок, и свиней,
И всех своих неведомых зверушек.
Они давно ушли из этих мест,
Обиженные, грустные уроды,
Оставив землю, небеса и воду,
Они давно...

Я знаю эти стихи наизусть. Когда-то я слышал их от нее очень часто.
Рифмованные строки она использовала только в редких случаях. Например, если надо было загипнотизировать очень большую толпу...
Обидно. Я столько времени провел вместе с ней – и по-прежнему не понимаю ее.
Я не понимаю, почему она бубнит что-то с экрана, и какое отношение она имеет к этому полутруп, и что она вообще делает.
Я не понимаю, что эта чертова дрянь делает.

V МОСТ

Он подполз к ее ногам с тихим шипением:
– Игош-ш-ша... Игош-ш-ша...
У него была голова новорожденного младенца – красновато-сизая, с редким пушком волос. Маленькое сморщенное лицо без бровей.
У него было очень длинное, гладкое, синеватое тело без рук и без ног. Как у змеи. Оно извивалось и складывалось кольцами.
– Я – Игоша, – сказал он. – Я твой старший братик.
– У меня никогда не было брата, – сказала она.
– Был... ес-с-сть, – прошипел он в ответ.
Его мутные серые глаза бессмысленно блуждали в пространстве, не останавливаясь, не фокусируясь ни на чем.
– Просто я родился мертвым. Наша мама родила меня мертвым за пять лет до тебя. У меня не было имени, но когда меня похоронили, я стал Игошей. А потом я рос, все эти годы я рос-с-с, ро-с-с, видиш-ш-шь, какой я длинный?
Игоша распрямился во всю длину и попытался приподнять голову, но она резко запрокинулась, закачалась, снова бессильно опустилась на доски моста...
– Возьми меня на ручки. Возьми меня на ручки. Никто никогда не брал меня на ручки. А ты – возьми... Возьми...
Маша наклонилась и подняла его, аккуратно поддерживая головку. Он обвился вокруг ее рук тугими петлями, сильно, до боли стянул запястья, и, тихо шипя, уснул. Он спал долго – несколько часов, или несколько дней, или месяцев – в ее ледяных, затекших руках.
Наконец он проснулся и сказал ей:
– Спасибо, что поддерживала меня на руках...
А потом он спустился на мостик и быстро уполз в темноту Нави.
И когда он исчез из виду, она почувствовала, как онемевшие ее руки наполняются теплом сотен маленьких колючих иголок, согреваются, оживают.

VI ПУТЕШЕСТВИЕ

Я провел с ней не год и не два. Так или иначе, я провел с ней все время, что рос мой ребенок... все время, пока он был здоров... и я остался с ней дальше. Потаскился за ней. И я до сих пор, до сих пор не могу понять, почему. Чем заманивала и чем держала меня эта глупая злобная баба, на которую мне было противно смотреть? Неужели же этой бессмысленной болтовней?

До той аварии я просто сбегал к ней несколько раз в неделю, возвращался домой под утро. Придя от нее, я всегда чувствовал себя грязным, липким, смертельно усталым, виноватым, несчастным, вскрытым и высосанным, как ресторанная устрица; у меня не было сил принять душ и почистить зубы; я был себе настолько противен, что старался не заглядывать в зеркало... Поэтому тогда я не понимал – а понял гораздо позже, – что на самом деле я очень любил эти возвращения на рассвете. И что мне... нравилось дома. Мне нравился запах моей квартиры, моей постели, моей жены. Стараясь не шаркать тапками, чтобы не разбудить Машу, я осторожно входил в спальню, приподнимал одеяло, ложился рядом с ней и думал, что хотел бы остаться здесь... А потом засыпал. Почти мгновенно засыпал, так ни разу и не успев додумать до конца свою мысль: я хотел бы остаться здесь навсегда – и остался бы, будь на то моя воля. Моя воля.

Вскоре после того несчастного случая Люси заявила мне, что уезжает.

– Куда уезжаешь? – спросил я без особого интереса.

Я подумал, что речь шла о нескольких днях.

– В Италию.

– Отдыхать? – удивился я.

– Да нет, как раз наоборот, – ответила Люси. – Работать.

– Кем?

– Гипнотизершей. Гадалкой. Воровкой... Шлюхой. Не все ли равно?

Я усмехнулся, решив, что она шутит, – она часто глупо шутила, – но ее лицо сохраняло маниакально-сосредоточенное выражение. Когда я понял, что она говорит всерьез, мне стало не по себе.

– Почему именно в Италию?

– Потому что это страна жуликов, – ответила Люси и глупо хихикнула. – Да нет, шутка. Ни почему. Просто я давно туда хотела.

– И надолго?

– Думаю, да. Наверное. Не знаю пока.

– А я? – вопрос сорвался у меня с языка как-то сам собой, я вовсе не собирался его задавать.

Более того, я не находил в этом вопросе никакого смысла. При чем тут я?

– При чем тут ты? – спросила она.

– Я не могу без тебя.

Я собирался ответить не это – но сказал *это*. И, сказав, понял, что это, кажется, правда.

Она пригладила рукой свои рыжие лохмы, ухмыльнулась – самодовольная дура – и спросила:

– Ты меня любишь?

Я чуть было машинально не сказал «да» – в ответ на этот вопрос я очень привык говорить «да» совсем другой женщине... – но в последний момент удержался.

– Ты же знаешь, что нет.

– И я тебя не люблю, – ответила Люси, недобро уставившись куда-то мне в лоб своими маленькими свинячьими глазками.

– Да, я в курсе.

– Хорошо, – сказала она. – Ты можешь поехать со мной, если хочешь.

– Я не могу поехать с тобой. Ты же знаешь – у меня ребенок в тяжелом состоянии.

– Ты же говорил, что это не твой ребенок, – сказала Люси и захихикала.

Мне захотелось ее ударить.

– Кажется, ты хочешь мне врезать, – она посмотрела на меня не с вызовом даже, а с таким веселым интересом.

– Это мой сын, – сказал я.

– Ты похож на парализованную макаку, когда злишься. У тебя лицо застывает.

Мне хотелось ее ударить. Так хотелось. По морде. По лоснящейся ухмыляющейся морде. Конечно, я этого не сделал. А зря, зря, зря.

И зря я поехал с ней.

* * *

Железнодорожный вокзал в Веллетри маленький и безлюдный. На лавочке в ожидании поезда сидят всего три человека, из них только один – вернее, одна – с большой черной сумкой, так что выбора у меня нет. Я забираюсь на эту сумку и застываю, вцепившись лапами в синтетические волокна. На черном фоне я не слишком заметен.

Это рискованно, даже очень рискованно, но что мне еще остается? Скоро должен прийти поезд – он, кажется, ходит раз в час – и эту чертову щель между перроном и вагоном мне не преодолеть самому.

Ладно, ничего. Девушка вряд ли меня заметит. Она слушает плеер, громко чавкая, жует жвачку, и вид у нее весьма аутичный.

Когда поезд подходит, она быстро подхватывает сумку, едва не стряхнув меня, закидывает ее на плечо и вносит меня в душный вагон. Она швыряет сумку рядом с собой, и я осторожно сползаю на мохнатый сиреневый вельвет сиденья. Заползаю в щель между креслом и батареей и снова застываю. Следовало бы, наверно, поспать, но спать я сейчас не могу. Я еду в Рим – город, который я ненавижу больше всего на свете.

* * *

Она непременно хотела в Рим, а я был не против. Мне было, собственно, все равно. Мне все еще не верилось, что я сделал то, что сделал: бросил их и уехал с ней. Все это было как дурной, чудовищно подробный сон. Как нелепый кинофильм, в котором я играю, весьма посредственно, главного бэдгая – путаясь в тексте, потеряв сценарий и начисто позабыв обо всех мотивациях, эмоциях и намерениях своего героя.

Место действия меня мало интересовало – поэтому я поехал туда, куда хотела она.

Мы с Люси сняли квартиру в Риме – с довольно приличной кухней и двумя большими, квадратными, невероятно обшарпанными комнатами. Одна из них была спальней. Моей новой спальней. Нашей с ней спальней. Там стояла огромная двуспальная кровать с вечно грязным постельным бельем – поначалу я пробовал часто его менять, но потом бросил: все равно оно пачкалось как-то сразу, само собой. Там было душно и влажно. Там все мгновенно пропиталось прогорклым запахом ее духов. Туда я теперь приходил каждый вечер. Там я теперь спал каждую ночь. Она громко храпела во сне. А я лежал рядом с ней и думал, что хотел бы уйти оттуда, хотел бы вернуться назад... и вернулся бы, будь на то моя воля.

Вторую комнату Люси называла «рабочим кабинетом». Она задрапировала в ней стены бархатной черной тканью, притащила с блошиного рынка огромное зеркало в массивной позолоченной раме и какие-то вычурные подсвечники, а в центре установила круглый деревянный стол, покрытый зеленым сукном. На двери она повесила табличку, где ее корявым куриным почерком было выведено: «Люсифа – великая русская гадалка».

Откуда она брала свою клиентуру, я понятия не имею, – но к ней каждый день приходили какие-то люди, в основном женщины. Русскоязычные, естественно, – на других языках Люси не говорила.

Я никогда не входил туда, чтобы ей не мешать. Но однажды она сама предложила:

– Можешь смотреть, если хочешь. Если тебе интересно.

– Хочу, – сказал я.

Мне было интересно. Мне все еще было интересно, что и как она делает. Она была неподражаема.

* * *

Я присутствовал при гадании всего один раз – потом мне уже не хотелось.

В тот день к ней пришла девушка, совсем молоденькая. Она нерешительно постучала в дверь и, затравленно озираясь, просеменила к столу.

– Садись, – властным голосом приказала ей Люси.

Люси была одета совсем уж по-идиотски. Зеленая войлочная шляпа с черной вуалью, какой-то бесформенный черный балахон, толстые зеленые колготки и старомодные каблукастые туфли с массивными серебристыми пряжками. А на руках – длинные, по локоть, кожаные перчатки. Это она правильно придумала, с перчатками. Ее толстые красные руки с короткими пальцами действительно следовало прикрыть – они совсем не походили на руки гадалки. Как, впрочем, и лицо. Так что, возможно, и вуаль – не такой уж идиотизм...

– Что ты хочешь знать, дорогая? – спросила Люси и чиркнула спичкой; зажгла свечи.

– Ну... будущее, – замявшись, призналась девушка.

У нее была глупенькая, но обаятельная мордашка. Она смотрела на нас недоверчиво и, кажется, уже жалела, что пришла.

– А зачем тебе знать будущее? – поинтересовалась Люси.

– Ой, вы знаете, я лучше, наверно, пойду, – залопотала девушка и поднялась.

– Сиди, – ответила Люси.

Девушка послушно уселась. Бросила на меня испуганный и в то же время какой-то просительный взгляд. От волнения она часто дышала – красивая аккуратная грудь приподнималась и опускалась под белой обтягивающей футболкой. Вдох-выдох, вдох-выдох. Я заметил, что она без лифчика. И еще заметил, как пульсирует жилка на ее тонкой шее...

Люси перехватила мой взгляд и весело хохотнула.

Мне стало неловко. Со стороны мы, наверное, выглядели как лиса Алиса и кот Базилио, заманившие в свое логово глупенькую грудастую Буратинку.

– Ну-ка, сними, – прошепелявила Люси.

Она протянула девушке колоду карт – красивых, глянцевых, новеньких. Почти новеньких: пару дней назад я слегка подправил эти карты, по ее просьбе. И научил Люси разбираться в своей системе крапинок и царапинок. Я думал, она ничего не запомнит – она была слишком тупа.

Девушка сдвинула часть колоды тонким дрожащим пальчиком.

– Тридцать шесть сестер, кумовьев и снох, братьев и товарищей, – забормотала Люси, – сослужите мне службу верную, дружбу неизменную. Тридцать шесть карт четырех мастей, скажите мне всю истинную правду, чего мне ждать-ожидать, чего опасаться, за какое дело не братья. Всех вас призываю, называю и выговариваю: слово крепко и картам легко. Аминь.

Они долго, очень долго возились с картами. Люси что-то там тасовала, снимала, бормотала, потом снимала девушка, потом снова Люси, и снова девушка... Некоторое время я наблюдал, а затем отвернулся, чтобы не видеть. Она оказалась на редкость талантливой ученицей, моя глупая Люси; она все-все усвоила. Но меня это почему-то не радовало.

– Ну а теперь начнем, – сказала Люси торжественно.

Я сидел, отвернувшись от них. Но в большом зеркале, прислоненном к стене, я все-таки видел, что делает Люси. Я видел, что она отложила пачку «ненужных» карт в сторону. И видел, какие карты она оставила лежать на столе. Девять штук.

– Девять сестер, кумовьев и снох, братьев и товарищей, – зашептала Люси. – Скажите мне всю истинную правду, чего мне ждать-ожидать, чего опасаться, за какое дело не братья. Всех вас призываю, называю и выговариваю: слово крепко и картам легко.

Потом она поочередно открыла все девять карт. Все девять пик.

– Что это значит? – занервничала девушка.

Скопление черных хвостатых сердечек ее явно насторожило.

– Туз пик – будет тяжелый год, – сообщила Люси. – Король пик – близкий тебе человек – предатель и изменник. Дама пик – коварная женщина. Валет пик – личные неприятности. Десятка пик – жди удара от того, кто рядом с тобой. Девятка пик – крупная ссора. Восемерка пик – страх. Семерка пик – слезы. Шестерка пик – разлука.

– О господи, – прошептала девушка.

– А я еще не закончила... – сказала Люси.

Сквозь вуаль я не видел ее лица, но по голосу понял, что она улыбается.

– ...Если все девять карт – пики, это обозначает горе, потери и крах всех надежд.

– Я думаю, это какая-то ошибка, – сказала девушка и поднялась со стула. – Я вам не верю. Вот, возьмите, конечно, но я вам не верю.

Девушка положила на стол несколько купюр.

– Почему же ты мне не веришь, милочка?

– Потому что... ну потому что... у меня все совсем не так. У меня сейчас все хорошо, – девушка говорила чуть изменившимся голосом – видимо, очень старалась не заплакать.

– Чего ж у тебя хорошего, милочка?

– Я... я замуж выхожу, – пискнула девушка и, наконец, заплакала. – Это до этого... это вы мне нагадали то, что было у меня в прошлом, до этого... Год назад... Он меня тогда бросил, но теперь... Теперь он вернулся... и предложил начать все сначала...

– Э-э-э, – протянула Люси таким противным, скрипучим голосом, что даже я вздрогнул. – Не соглашайся. Не соглашайся, милая.

– Не соглашаться – с чем? – спросила девушка и попятилась к двери.

– ...Давать второе начало тому, что уже однажды закончилось, – все равно что выкопать из земли и воскресить труп... – заговорила Люси тихо и монотонно – так, как она это умела.

Девушка остановилась посреди комнаты и уставилась на нее.

– ...После того, как вы вернете его к жизни, он никогда не оставит вас друг с другом наедине. Вы будете жить вместе с ним, с вашим мертвецом. Он будет рядом с вами везде и всегда – как докучливый щенок, как грудной младенец, как беспомощный инвалид – ваш мертвец. В постели он будет лежать между вами все ночи напролет, а днем вы будете встречать его в ванной, в гостиной и в кухне. И он будет зол на вас, очень зол, этот мертвец. Мертвые не любят, когда их беспокоят. Не любят, когда их заставляют жить. Он будет мстить вам за то, что вы воскресили его. Постепенно, постепенно, постепенно он отравит ваш дом трупным запахом, он наполнит вас трупным ядом, он лишит вас сна, сведет вас с ума, сделает вас врагами. Он обязательно добьется своего, он снова вас разлучит – усталых, полумертвых, полных ненависти и обиды. Он добьется своего. Он обретет покой...

Когда Люси наконец отпустила ее, я спросил:

– Зачем ты это сделала?

– Что сделала?

– Сама знаешь. Выбрала эти карты. Наговорила ей гадостей.

– Она тебе понравилась, да? Миленькая такая...

– Да при чем тут это?!

– А что, ни при чем, да?

– Да.

– Но ты же сам делаешь то же самое. Выбираешь нужные карты.

– Я – совсем другое дело. Я игрок, а не гадалка. А гадалки, насколько я знаю, когда врут, говорят приятные вещи. То, что клиент хочет услышать, а не наоборот.

– Когда врут – может быть, – ответила Люси. – Но я-то не врала.

– Врала. Ты специально выбрала именно эти карты!

Она подняла вуаль и посмотрела на меня со злорадством и, кажется, с легким сочувствием. А потом сказала:

– Карты я выбрала специально, да. Именно потому, что иначе выпали бы совсем другие, неправильные. Я выбрала те, что подходят для ее жизни. Я сказала ей правду.

Я хотел возразить что-то, но посмотрел в ее сумасшедшие глазки и передумал. Мне вдруг стало лень и как-то... все равно.

VII МОСТ

Он шел, спотыкаясь, мелкими шажками, суетливо путаясь в спущенных штанах. Его голова, свесившаяся на левое плечо, нелепо подергивалась при ходьбе.

Наконец он доковылял до мостика, с трудом по нему поднялся, подошел к ней и повернулся левым боком, чтобы удобнее было разговаривать. Его маленькие темно-карие глаза смотрели на нее не мигая, вопросительно и раздраженно. Кажется, он злился.

– Здравствуй, Томас, – сказала Маша.

– Я теперь не есть Томас, – ответил он. – Теперь не есть мне покой... Я есть упырь... Я есть Заложный Покойник. Так зваться у вас человек, который умирать неправильный смьерт, нье жив отмерьенный ему срок, нье ходив замуж, нье родив дьети...

– Прости меня, – сказала она.

– Простить тебя? А где есть мой паспорт? – взвизгнул вдруг Томас. – Отдай мой паспорт! Отдай сейчас!

– Я не могу этого сделать, Томас. Твой паспорт... Он ведь остался там, в поезде.

– Тогда отдай мои фото! – заныл Томас. – Отдай фото. Это есть ньехорошо – ты фотографировать меня в ньеприличный вид, бьез штанов сидеть на уньитаз, когда я нье мочь шевелиться, нье мочь остановить тьбя...

Томас заскулил. Запрокинутое его лицо скривилось в плаче – но слез не было.

– Фотографии тоже там, Томас. Я не могу отдать их тебе. Но здесь их никто никогда не увидит, успокойся...

– За что? – всхлипнул Томас. – Ты за что, за что убивать меня?

– Мне нужно было вернуться домой, Томас. Прости меня. Я не могла иначе.

– На гут, – сказал он спокойнее. – Я прощать тебя, если ты мне помочь. Нет мне покой... Нет свобода. Я так устать, так устать... Все время должен нападать на хорошие люди, кусать шея, пить кровь... А я никогда нье любить кровь, бояться... Тяжело мне... Не мочь расслабляться здесь, напряжение все время... Ты – дай мне покой... Дай мне свобода...

– Хорошо. Объясни, как.

– Встань на колене передо мной, – сказал Томас тихо, – вот так, молодец. Придвинься ближе ко мне. Мы кое-что не успели доделать тогда, на вокзал. И я до сих пор хотеть... Сделай приятно мне. Сделай приятно мне ротом и дай мне покой... Сделай... вот так, так, да, да, да, йа, йа, йа...

Это продолжалось долго, очень долго. Наконец Томас часто задышал, напрягся всем телом, задергался в мелких конвульсиях... но ничего не было. У себя во рту, на языке и в горле Маша не ощутила ничего, кроме тепла.

– Спасибо, что освободила меня, – сказал Томас без акцента. – Теперь ты можешь подняться.

Маша встала с колен.

Неловко пританцовывая на скрипучем мостике, Томас натянул штаны и заковылял прочь, в темноту Нави.

И когда он исчез из виду, она почувствовала, что теплая волна заполняет ее, согревает ее изнутри.

VIII ПУТЕШЕСТВИЕ

Сначала я работал на площади Навона, всегда на одном и том же месте. По правую руку от меня стояла щуплая пожилая корейка – она продавала саранчу, кузнечиков, пауков и жуков, сделанных из кусочков зеленого картона и побегов бамбука. Насекомые были привязаны к изящной деревянной стойке тонкими белыми ниточками и болтались на ветру, шурша крыльями и лапками. Они были так похожи на настоящих, что туристы шарахались в стороны. Я ни разу не видел, чтобы у нее что-нибудь покупали. Зато несколько человек всегда толпилось рядом с девицей, что сидела следом за ней на раскладном стульчике. У той были тонкие блестящие колечки в ушах, в бровях, в носу, в губах и в языке. Она делала всем желающим фальшивые цветные татуировки.

Слева от меня стояли трое негров. На большой белой простыне, разложенной у их ног, валялась груда маленьких дамских сумочек из кожаменителя. Сумочки были до странности уродливые – зеленые и розовые, блестящие, грушевидные, с огромными ржавыми пряжками. Прохожие останавливались перед простыней и недоуменно разглядывали товар. Продавцы равнодушно скалили зубы и сохраняли независимый вид. Сумки у них покупали редко.

Я же рисовал городские виды, разложив листы ватмана прямо на асфальте. Иногда кистью, а когда было лень – из специальных пульверизаторов. Лучше всего расходились мои дикие кошки в развалинах Римского Форума. Людям нравилось смотреть, как с шипением выдавливается из желтого баллончика полная луна, а из черных – кривые хвостатые кляксы; мне было жарко и смертельно скучно. Это была халтура. Халтура и ничего больше.

- Если тебе так скучно, давай откроем общее дело, – сказала однажды Люси.
- Какое у нас может быть общее дело?
- Помнишь, ты рассказывал про фокус со скрипкой? Мне понравилась эта идея.
- Ты умеешь играть на скрипке? – усмехнулся я.

Когда-то давно я действительно рассказывал ей об этом трюке – его придумали, собственно, какие-то итальянцы. Трюк был прост и почти гениален. Для него требовалось двое напарников, один из которых был бы музыкантом, колода карт, скрипка и, собственно, жертва – или жертвы.

Один из напарников садился играть с жертвой в карты. Второй – скрипач, якобы приглашенный для развлечения гостей, прохаживался по комнате, наигрывая на скрипке. Обходя вокруг стола, он изучал карты всех участников и условными мелодиями передавал напарнику сведения об их мастях и достоинстве. Это была одна из моих любимых историй...

- Нет, не умею, – ответила Люси. – Зато я умею другое.
- Трепать языком?
- Вот именно.
- И как нам это поможет?
- Очень просто. Ты будешь играть. А я буду – ну, скажем, твоей домохозяйкой. Уборщицей. Буду ходить по комнате и вытирать пыль. Буду приносить вам кофе с бутербродами. Убирать со стола. И все время бормотать себе что-то под нос. Мы разработаем систему условных знаков... то есть слов. Ты будешь знать все их карты, – она говорила возбужденно, то и дело облизывая сухие губы липким языком. – Ты ведь хочешь?
- Нет.

Я ответил, что вполне могу играть без ее помощи. Что мне достаточно зеркала на стене. Достаточно того, что я умею делать с рубашками карт. Проблема только в компании. Здесь, в Риме, да и вообще в Италии, у меня нет знакомых русских, и мне просто некого приглашать.

– Будет тебе компания, – сказала Люси. – Я найду. Но только если это будет общее дело. Если будет, как я предлагаю.

Люди приходили почти каждый вечер. Люси сняла с двери «рабочего кабинета» свою дурацкую табличку, и мы стали играть там. За столом, накрытым зеленым сукном. Она не разрешила мне убрать со стола эту тряпку, а большое зеркало в золоченой раме перетащила в спальню – на всякий случай, чтобы я не мухлевал. Чтобы слушал только ее.

И я слушал. Она слонялась по комнате с тряпкой и недовольно бормотала что-то про пыль, грязь, лодырей и бездельников. Гости сначала раздраженно оглядывались на нее и тихо чертыхались, потом просто переставали замечать. Она тоже не обращала на них никакого внимания. Она убаюкивала их своим шепелявым ворчанием.

– Сидят тут...

Туз...

– Все вечера напролет...

Червей.

– Делать вам, что ли, нечего?

Дама, валет...

Она была хорошим напарником. Мы очень неплохо зарабатывали.

Тот вечер ничем не отличался от всех предыдущих. Мы сидели за зеленым столом. Она кружила по комнате, подтирая несуществующую пыль и оставляя на мебели жирные отпечатки своих вечно перепачканных пальцев. Она приносила нам сухое вино, одну бутылку за другой. Она с грохотом ставила бутылки на стол и злобно косилась на гостей, заглядывая украдкой в их карты. Она говорила. Я слушал.

Я проиграл.

Я слишком поздно понял, что она говорила не то. Запутывала меня, перевирая их карты.

Когда они ушли, пьяные и довольные, она захихикала. Я не стал разбираться. Не стал спрашивать «почему» и «зачем». Я схватил сумку и засунул туда только свое. Только то, что могло мне понадобиться для работы: колоду карт, листы ватмана, карандаши, кисти, баллончики с краской, маленькие ножницы, перочинный ножик, пару иголок... Взял немного денег – ровно столько, чтобы хватило на ночь в гостинице и на обратный билет в Москву. И ушел, хлопнув дверью.

Она молча наблюдала за мной, пока я собирался. Только когда я вышел из дому и бысто зашагал прочь, она высунулась из окна и стала орать сварливым, срывающимся голосом:

– ...Возвращайся немедленно! Возвращайся, а то хуже будет! Слышишь, ты? Я приказываю! Я не разрешаю тебе уходить! В последний раз говорю! Я этого так не оставлю! Ты пожалеешь! ...Нет моей силе конца... Выпускаю я на тебя силу могучу, – голос ее вдруг зазвучал тише и спокойнее. – ...Во все суставы, полусуставы, во все кости и полукости, во все жилы и полужилы, в глаза и в сердце, в грудь и в утробу, в руки и ноги...

– Ты сумасшедшая! – огрызнулся я снизу и ускорил шаг.

Из окон соседних домов стали высовываться люди, лениво прислушиваясь к нашей перепалке на незнакомом для них языке.

– ...И ничем ты не сможешь отговориться... Ни заговором, ни приговором, и ни стар человек, ни млад не отговорит тебя своим словом... Кто из моря всю воду выпьет, кто из поля всю траву выщипет, и тому мой заговор не превозмочь, силу могучу не увлечь...

Я уходил от нее в душную беззвездную ночь, а она все бубнила и бубнила мне вслед – и, кажется, плакала. Я вдруг понял, что ни разу еще не слышал, чтобы она плакала. И еще понял, что мне ее совершенно не жаль. Я был зол, раздражен – и счастлив, что вырвался.

На следующий день меня посадили в тюрьму.

IX МОСТ

Потом пришел Трехголовый. Он был одет в большую, разъехавшуюся по швам футболку с мультяшным розовым львенком и надписью «The Lion King».

Он шел, неуклюже переваливаясь с боку на бок, процарапывая острыми своими когтями глубокие борозды в поверхности моста, лениво волоча за собой огромный чешуйчатый хвост.

Ему было неудобно идти: две передние лапы – покрытые зеленоватой чешуей, бессмысленно мощные – росли совсем вплотную друг к другу, и переставлять их нормально Трехголовый не мог.

У него было только две головы. Обе они, покачиваясь на длинных пупырчатых шеях, с изумлением и грустью разглядывали обрубок третьей шеи – неровный, с корочкой запекшейся крови.

– Хала, – прошептала левая голова.

Трехголовый тяжело и часто дышал, выпуская струйки горячего пара из всех своих ноздрей и ртов, точно продырявленный чайник.

– Хала – мое имя, – сказала средняя голова.

– Здравствуй, – ответила Маша.

– Нам отрубили голову, – грустно сказал Трехголовый двумя одинаковыми голосами. – Помоги нам.

– Как я могу помочь?

– Подойди ко мне. Подойди ближе. А теперь обними меня. Прижмись ко мне всем телом и закрой глаза.

Маша тесно прижалась к холодной, влажной чешуе Трехголового. Так тесно, что услышала, как бьются, медленно и глухо, три его сердца – одно в центре груди, одно слева и одно справа.

Трехголовый склонил обе своих головы над Машей. Понюхал ее волосы. Осторожно прикоснулся парой холодных ртов к ее вискам.

– Будеш-ш-шь моей... – прошептал Хала.

– Что?

Трехголовый отступил на шаг, противно царапнув когтями мост – точно гигантская вилка проехала по фарфоровой тарелке, – и сказал:

– Отдай мне свою голову.

На какую-то долю секунды страх – или даже не страх, а просто отвращение... словом, что-то очень похожее на страх шевельнулось в ней – но тут же застыло, растворилось в холодной пустоте, заполнявшей ее.

– Хорошо. Как это сделать?

– Тебе не придется ничего делать, – ответил Трехголовый.

В тот же момент Маша почувствовала у себя на затылке пристальный взгляд. Словно кто-то стоял позади нее. Она хотела оглянуться – но не успела. Успела только заметить, как скользнула по мосту, по перилам моста, по дурацкой футболке Трехголового черная тень от какого-то длинного, тонкого предмета.

Отрезанная одним точным, резким движением, ее голова еще пару секунд оставалась на прежнем месте – а потом медленно накренилась и с глухим стуком упала. Кувырнулась пару раз по мосту, ткнулась в темную расщелину между двумя досками и замерла.

Трехголовый поднял ее, повертел в своей зеленой лапе. Поскреб еще пока мягкую корочку, сразу же образовавшуюся на срубе. Поставил голову на свою пустующую левую шею, придавил немного когтем. Потом осторожно убрал лапу – голова закачалась. Трехголовый неловко дернулся, попытался поймать ее на лету – но не успел: он был слишком неповоротлив.

Он снова поднял ее и снова – пыхтя, исходя паром, высунув от напряжения два длинных шершавых языка, – попытался пристроить на место той, отрубленной. Безрезультатно.

Повторив все эти манипуляции еще пару раз, Трехголовый тяжело вздохнул и сказал:

– Нет. Не держится. Лучше уж я верну ее тебе.

Он подошел к Маше, продолжавшей неподвижно стоять напротив, и осторожно приладил голову на прежнее место.

Боль сначала появилась в шее – острая, невыносимая, – а потом назойливым сверлом воткнулась в мозг. Маша застонала и открыла глаза, но не увидела ничего, кроме пульсирующей, искрящейся тьмы.

– Я все равно не смогу так жить, – услышала она голоса Трехголового. – Это будет не жизнь, а мучение. Убей меня, Маша. Там, у тебя под ногами, – меч или что-то вроде того. Убей меня. Пожалуйста.

Неуверенно взявшись рукой за перила, Маша осторожно присела на корточки и другой, свободной рукой стала шарить перед собой. Нашупав наконец еще теплую рукоятку меча, она подняла его, размахнулась и наугад полоснула воздух.

Глухое тук. Тук. Два тяжелых предмета упали на мост. Потом что-то заскрипело – и стало тихо.

Зрение вернулось не сразу. Сначала перед глазами возникло какое-то бледное расплывчатое пятно. Маша уцепилась взглядом за это пятно, прищурилась и долго смотрела на него – пока пятно не оформилось в большой, желтый, почти идеальный круг с отколотым слева кусочком. Пока на нем не проступили рыжие кляксы лунных морей и океанов. Пока оно не осветило все вокруг.

Трехголовый стоял на задних лапах, задумчиво облокотившись на перила моста. В вытянутых передних лапах он держал свои отрубленные головы. Они, не мигая, смотрели друг на друга. И время от времени испуганно косились вниз, на черную неподвижную воду.

Он простоял так долго. Очень долго. А потом головы вдруг скривились в странной гримасе, зажмурились – и Трехголовый разжал пальцы.

Плюх. Плюх.

Трехголовый постоял еще немного. Потом вцепился когтями в перила и замолотил хвостом, безуспешно пытаясь подтянуть свое грузное тело. Два раза он неуклюже заваливался на мост, дрыгал лапами, как опрокинутый на спину майский жук, снова поднимался. На третий ему, наконец, удалось перевалиться через перила. Он тяжело рухнул в реку, обдав Машу фонтаном ледяных черных брызг.

Когда исчезли круги на воде, когда вода снова стала блестящей и льдисто-гладкой, Маша почувствовала, что боль в голове стихает. Превращается в густое и мягкое, точно пар, тепло.

Она еще немного посмотрела на воду, а потом улеглась прямо на влажный мост. Стоять больше не было сил.

– Поспи, если ты устала, – раздался знакомый голос. Тот самый голос.

Маша подумала, что за все время, проведенное на мосту, она действительно ни разу еще не спала.

Она закрыла глаза – и ничего не стало.

Совсем ничего.

X ПУТЕШЕСТВИЕ

Я устал. Господи, как я устал. От этих домов, поездов, автобусов. От этих вокзалов, огромных и душных. От висящих под самым потолком черных табло, на которых высвечиваются зеленые и желтые буквы, такие большие, что я не всегда могу их прочесть. От человеческих ног, готовых меня раздавить, от человеческих рук, смахивающих меня на землю. От этих корзин, рюкзаков, тележек и сумок, в которых я переезжаю с места на место,

то продвигаясь к цели, то возвращаясь обратно. От этих людей, которые по дороге ссорятся или мирятся, и вдруг изменяют свой маршрут, и выскакивают из поезда раньше, чем собирались, и выбрасывают свои пакеты в мусорные корзины...

Я устал. Но скоро все кончится. Хорошо, что меня занесло в Геную.
Здесь есть порт.

* * *

Уже почти вечер. Я ползу туда, к морю – через вонючие каменные трущобы, через лабиринты дворов-колодцев, которые, впрочем, не могут запутать меня: я чувствую, где вода.

По узким сырым переулкам, гогоча и перекрикиваясь, гоняют придурковатые подростки на скутерах и черных разбитых мотоциклах.

Иногда они останавливаются и весело переговариваются с полуголыми старыми тетками, сидящими на ступеньках в ожидании клиентов. Потом с ревом уносятся прочь, а тетки что-то беззлобно шипят им вслед.

Чтобы не раздавили, я стараюсь ползти по стенам или бельевым веревкам. Белья здесь удивительно много. Чем грязнее и мрачнее переулок, тем больше они стирают.

Повиснув на какой-то детской распашонке, я пью сочащуюся из волокон ткани влагу – и вдруг слышу злобные женские крики.

Всклооченная феллиниевская блядь, грудастая, потная и пьяная, едва прикрытая чем-то воздушно-золотистым, орет на кого-то низким прокуренным голосом. Я переползаю на другую сторону распашонки и теперь вижу, на кого именно. На другой стороне улочки, вжавшись в серую каменную стену, стоит жизнерадостный очкастый парень, явно не местный, с разноцветным рюкзачком через плечо. Он энергично жует жвачку, улыбаясь и чавкая, и целится в шлюху из своего навороченного кэнона.

– Отдай мне эту чертову пленку и катись отсюда! – орет итальянка.

– Извините, – откликается парень по-английски и глупо скалится. – Я просто сфотографирую вас, о'кей?

Судя по выговору, он американец. Вид у него довольно дебильный, и итальянского он явно не понимает.

– А ну катись отсюда! – визжит шлюха, сдергивает со своей голой загорелой ноги золотистую босоножку и швыряет в него.

Прوماхивается.

– Пабло! – кричит она кому-то и поднимается, пошатываясь. – Пабло, быстрее сюда!

– О, мне так жаль, мне так жаль, – причитает очкастый, наклоняясь за босоножкой. – Не волнуйтесь, я вас просто фотографирую.

Парень возвращает ей босоножку, отходит на шаг, наводит на резкость и щелкает. Она снова швыряет босоножку и на этот раз попадает ему в ляжку. Он глупо улыбается. Она указывает длинным коричневым пальцем на фотоаппарат и хрипло выкрикивает:

– В последний раз тебе говорю: отдай пленку и катись отсюда, ублюдок!

– О, это просто фотография, о'кей? Совсем ничего опасного, не волнуйтесь. Я фотограф. Это мой фотоаппарат.

Он, верно, думает, что она принимает его фотоаппарат за духовое ружье, и в этом вся проблема.

– Пабло-о-о! – снова голосит женщина.

Из-за угла с ревом выруливает на мопеде чернявый накачанный верзила. За ним еще двое точно таких же. У всех у них перекошенные злобные рожи – и кто-то из них, без сомнения, Пабло.

– Этот придурок меня фотографирует. Наверное, уже целую пленку отщелкал, – она указывает на очкастого пальцем, всхлипывает и размазывает тушь и золотистые блестки по своей сморщенной физиономии.

Верзилы слезают с мопедов, медленно, вразвалочку приближаются к нему. Парень перестает улыбаться и снимает очки.

– Ну-ка, давай сюда эту штуку, – говорит один из верзил – тот, что появился первым, – и протягивает руку к фотоаппарату; в другой руке у него перочинный нож.

Парень судорожно сглатывает, что-то лопочет жалостливо и невнятно, но фотоаппарат отдает.

– Грация, – скалится верзила и несет фотоаппарат к своему мопеду.

Потом садится на ступеньки рядом со шлюхой, уже успевшей успокоиться, и закуривает. Остальные двое молча и сосредоточенно бьют парня ногами.

А я тем временем подползаю по бельевой веревке к его мопеду, выдавливаю из себя тонкую паутинку, спускаюсь вниз и заползаю под седло.

Наверное, дело в фотоаппарате. Так-то мне, в общем, все равно. Плевать мне на их разборки. Плевать, что трое на одного. На все плевать.

Наверное, дело в том, что человек с фотоаппаратом всегда вызывает у меня что-то вроде симпатии – даже если он полный придурок.

Наверное, дело в моей бывшей жене – она бы тоже бросилась снимать эту шлюху, сочтя ее «фактурной» и «колоритной».

Наверное, дело в том, что во мне скопилось слишком много прозрачной едкой злобы, и она мешает мне ползти дальше.

Наверное, поэтому я и уезжаю с этим Пабло или как его там, забравшись под седло его мопеда, все дальше и дальше от моря. А когда он останавливается на каком-то перекрестке и встречный ветер не может меня сдуть, я вылезаю из своего укрытия, жалю его прямо в зад и ползу прочь. Он раздраженно почесывается. Мне становится легче.

Через пару минут он почувствует острую боль в месте укуса. Потом эта боль разольется по всему телу. Он слезет со своего мопеда и станет бегать вокруг, обливаясь холодным потом. Потом у него онемеют ноги и он упадет. Боль сконцентрируется в области живота, и брюшные мышцы станут твердыми, как поленья. Потом судороги, удушье и кома. Его отвезут в больницу, но лекарства ему не помогут – вряд ли врачи сразу же разберутся, что с ним. Да даже если и разберутся, что толку от их лекарств? Этому Пабло мог бы помочь разве что черный баран, который высосал бы укушенное мной место. Но никто не приведет ему в больницу барана.

Через несколько часов он умрет.

* * *

Уже глубокой ночью я приползаю в порт. Кажется, здесь какое-то празднество. Толпы людей стоят на берегу. Музыка звучит так громко, что бетонные плиты, по которым я ползу, гудят и содрогаются. Гирлянды разноцветных огней протянуты между мачтами пришвартованных у берега яхт. Они похожи на огромную светящуюся паутину.

Это очень красиво.

До утра мне особенно нечего делать. Я сижу на одной из гирлянд вниз головой, смотрю на воду и все думаю и думаю – зачем...

* * *

Я не знаю, зачем потащился туда, на площадь Навона. Я не так уж нуждался в деньгах. Я должен был просто купить билет и улететь в Москву.

Вместо этого следующим утром я отправился на площадь, разложил там свои листы и стал рисовать. Мне нравится думать, что я сделал это, потому что хотел напоследок насладиться свободой. Иногда мне удастся так думать – но чаще нет. Чаще я просто не знаю,

почему не уехал сразу, зачем снова пошел туда, в эту скуку и эту жару, и пристроился на привычное место, между бумажными кузнечиками и блестящими сумками.

Люси пришла к обеду.

Она остановилась напротив меня и тихо спросила:

– Почему ты продаешь свою мазню, Ловкач?

Я молча продолжил рисовать.

– Эй, я с тобой разговариваю.

Я снова не ответил. Два-три человека, что стояли рядом со мной и наблюдали, как я рисую, с интересом посматривали теперь то на нее, то на меня.

Я тоже взглянул на нее мельком. Она была одета на удивление прилично – по крайней мере, ни шляпы, ни зеленых колготок, ни старушечьей кружевной блузки на ней не было. Просто какое-то легкое однотонное платье – слегка мешковатое, но это только сглаживало недостатки фигуры... Даже волосы в тот день она вымыла, и они не были похожи на свалявшуюся, жирно лоснящуюся паклю. Они блестели и переливались на солнце – густые рыжие кудри.

И еще на ней были очки в изящной золотистой оправе – они придавали ей сходство не то с учительницей английского языка, не то с врачом-педиатром. За все время нашего знакомства я впервые видел ее в очках...

– Я к тебе обращаюсь, мразь, – она говорила спокойно и почти ласково.

– Чего ты от меня хочешь?

Она опустила голову и уставилась на мой рисунок. Я продолжил рисовать, чувствуя, как что-то – *страх?* — напрягается и болезненно твердеет у меня то ли в желудке, то ли в солнечном сплетении.

– Чего ты хочешь, Люси? – снова заговорил я, не выдержав.

Она откинула со лба красноватую прядь и весело улыбнулась. Аккуратно поправила на носу очки. Так она пугала меня еще больше. Она казалась чужой, умиротворенной и совсем сумасшедшей.

– Уже ничего, – сказала она.

– Тогда зачем ты пришла?

– Поговорить с тобой на прощанье. Ты ведь хочешь вернуться в Россию, да?

– Да.

У меня дрогнула рука, и я выдавил из баллончика слишком много краски. Желтая луна расплзлась по всему небу и медленно стекла на землю – сначала на ту, что была нарисована мной, а потом на брусчатую площадь Навона.

– Да какой из тебя художник, Сосо? – хихикнула Люси. – Ты же жулик. Ты просто жулик. Жулик и шулер! – она повысила голос.

– Тише, тише, – прошипел я.

– А что тише? Говорю как хочу. Не бойся, они не поймут. Не бойся. Ты ведь боишься? Конечно, ты же еще и трус! Трусливый ублюдок! Трус и предатель! Ты ведь просто сбежал! Где сейчас твой ребеночек, Сосо? Где он? Может, уже умер? Может, какой-нибудь врач нажал там на кнопку – оп! – и все выключилось, и он давно задохнулся, твой мальчик... Или не твой?

Я размахнулся и ударил ее по лицу. Люси пошатнулась, но устояла. Из ее толстого носа-картофелины потекли две темные струйки. Очки повисли на ухе. Она смотрела на меня без всякого выражения и слизывала кровь языком.

Я ударил снова – и она упала... Вокруг нас собиралась толпа.

Я помню только жару. Не помню ни своих мыслей, ни эмоций. Но мне хочется верить, что в тот момент я испытывал удовольствие.

...Потом я, кажется, бросился на нее сверху, и меня оттащили. Кто-то побежал за полицией. Кто-то схватил меня за руки, я вырывался и что-то орал... Видимо, именно тогда

она доползла до моей сумки и вытащила оттуда перочинный ножик.

А потом подошла поближе и всадила его в живот одному из тех, кто меня держал. Я так и не успел разглядеть его. Он ослабил хватку, скрючился и, все еще цепляясь за меня, стал оседать вниз. Потом он упал. А она стала говорить:

...Абра кадабра
Мы везли кадавра
Ать-два, ать
На базар продавать
С дыркой во лбу
Да в дешевом гробу
Абра кадабра
Мы везли кадавра
Красавчика-покойника
Везли себе спокойненько...

Все это видели. Все видели, как она воткнула в него нож. Все видели, что меня в это время держали за руки несколько человек. У меня была целая толпа свидетелей... Но когда приехала полиция, *все* они сказали, что это сделал я. Ранил его ножом в драке.

Днем это еще называлось «ранил». Ночью это уже называлось «убил» – он умер в больнице, так и не придя в сознание.

На следующий день она привела в участок несколько человек из тех, что приходили к нам играть. К непреднамеренному убийству добавились азартные игры и шулерство.

Меня посадили в тюрьму Веллетри, что в часе езды от Рима.

С тех пор я ее не видел.

XI МОСТ

Маша проснулась от какого-то толчка и громкого шуршащего звука. Открыла глаза и приподняла голову – мост... Все тот же мост. Рядом с ней на мосту деловито копошилось жирное безголовое существо.

Более всего существо походило на здоровенный грязный мешок, снабженный клешнями и беззубым мокрым ртом. Все его тело было покрыто бурыми свалевшимися водорослями, гроздьями маленьких серых улиток, ошметками рыбьей чешуи и перламутрово-сизыми половинками речных ракушек. От него несло канализацией и тухлыми креветками.

Вцепившись клешнями в Машины ноги, существо медленно, рывками волочило ее по мосту. При каждом таком рывке вся его бесформенная туша мягко колебалась, точно мясной студень, и что-то внутри него переливалось и хлюпало, переливалось и хлюпало, переливалось и хлюпало.

– Что ты делаешь? – спросила Маша.

– Волоку тебя в воду, – невнятно пробормотало существо.

– Зачем?

– Трехголового я уже обглодал. У меня там совсем ничего не осталось. А я есть хочу. Я голодный. Я Болотный.

Болотный еще на пару сантиметров подтащил ее к краю моста. Маша не сопротивлялась.

– Все. Устал, – неожиданно сдался он.

Болотный тяжело дышал. С таким звуком, будто кто-то внутри него самозабвенно курил большой турецкий кальян.

– Если хочешь, я могу тебя отпустить, – сказал он Маше и, не дожидаясь ответа, разжал

клешни. – Только ты мне тогда лошадку приведи.

– Какую лошадку? – удивилась она.

– Ну, лошадку, – мечтательно забулькал Болотный, – как раньше мне рыбаки бросали, чтобы я рыбу не ел. Такую же мне хочется... черную. Чтобы ее сначала три дня откармливали. И чтобы грива у нее была обмазана медом и солью. Да – и чтобы там были вплетены красные ленточки. Золотые не надо – мне красные больше нравятся... Вот такую лошадку... Приведешь?

– Как же я ее найду?

– По запаху, наверное, – сказал Болотный, отступая к краю моста. – В полнолуние... Тебе виднее. А я пока пойду. Я лучше там подожду. А то трудно мне здесь... Воздуху что-то мало...

Болотный закашлялся, сплюнул в воду длинный зеленый сгусток – и прыгнул следом.

XII ПУТЕШЕСТВИЕ

– Я чоколядный заяц! Я лясковый мерзавец! Я слядкий на все сто! О! О! О!

– Тебе не надоело? – снова заорал Дима, стараясь перекричать музыку. – Пойдем отсюда, а?

– Так то ж песня моего детства! – Аннета улыбнулась ему пьяной улыбкой, стерла со лба пот тыльной стороной ладони и продолжила танцевать. Впрочем, танцем это было назвать сложно. Она просто мотала головой из стороны в сторону и подпрыгивала, раскинув руки, чтобы сохранять равновесие.

– Я чоколядный заяц! И губ твоих касаясь, я таю так легко! О! О! О!

– Ань, ну как ты можешь слушать эту хуйню?!

– А шо такого? А мне нравится! А я люблю дискотеки, – сообщила Аннета и зашевелила губами, повторяя слова. – ...Нереальный и заметный, очень ладный молодец, для девчонок...

– Ладно, я пошел, а ты как хочешь.

– ...заменяю лучший в мире леденец... Я сейчас тоже приду!

Аннета в очередной раз подпрыгнула и чуть не упала. Во-первых, слишком много коктейлей «ром-кола». Во-вторых, танцплощадку действительно качало вместе с кораблем.

Пошатываясь, она вышла наружу, но не заметила Диму и принялась карабкаться по железной лестнице на верхнюю палубу. Он машинально хотел ее окликнуть, но передумал. Пусть сначала проветрится. Пусть протрезвеет. Пусть вообще куда-нибудь денется...

– Карамельки и ириски тают прямо на глазах! Если я скажу эй, киски, слышу только ах-ах-ах! – кто-то открыл дверь в танцзал, и музыка вырвалась на палубу.

Дима заткнул уши и в очередной раз прокрутил в голове десять совершенно прекрасных способов, какими он мог бы потратить деньги, если бы не потратил их на этот дурацкий круиз... Она раздражала его. Слишком много времени вместе, с утра до вечера, с утра до вечера, запертые в этой качающейся трехэтажной посудине, посреди океана. И слишком мало времени вместе – до того. Встречались в основном по ночам, а по ночам она была вполне себе ничего. Кто ж знал, какая она утром и днем, эта Аннета... Имя-то какое дурацкое! Помнится, поначалу оно казалось ему загадочным и романтичным; он полагал, что оно отражает ее внутреннюю сущность... Впрочем, теперь он тоже так полагал, только вот сама эта сущность представлялась ему иной.

Уже в Греции вся загадочность куда-то делась, и Диме стало казаться, что она просто миленькая хохлушка, болтливая и не очень-то умная. У берегов Сицилии она перестала быть даже миленькой. Те несчастные два дня, что они там провели, она ныла с утра до вечера и просилась обратно на корабль, потому что у нее были месячные, ее укусила оса, ей было жарко, она натерла ноги и не могла купаться. В Вильфранш она призналась Диме, что

«запала» на какого-то французского моряка и хотела бы с ним «замутить», а потом весь вечер рыдала, потому что Дима ответил, что ему все равно. К тому моменту, когда они причалили в Генуе, он был уже абсолютно уверен, что она полная дура. Теперь снова Греция... В тот раз останавливались в Нафплионе, а теперь в Волосе, но ему было уже все равно, поскорей бы все это кончилось, поскорей бы вернуться домой, в Одессу, и послать ее к чертовой матери...

– Ой, Дим, а ты здесь, а я думала, шо ты там... – Аннета спустилась с верхней палубы и нетвердым шагом приближалась к нему. – ...а там тебя нету... а ты здесь... мяу...

Она повисла у него на шее и стала тереться носом об его щеку. Дима сморщился. Впрочем, она же не виновата – раньше ему это нравилось.

– Анне... Ань, я, наверное, в каюту пойду. Что-то мне спать хочется.

– Мур-р-р... мур-р-р, – вдохновенно зашептала Аннета, прижавшись к нему еще теснее, и по-хозяйски погладила рукой его шорты. – О, шевелится! А ты говоришь – спать... Мур-р-р?

Господи, когда ж это кончится? Уже скоро. Уже скоро. Несколько дней – и все...

– Мур-мур, – мрачно ответил Дима, и легкое напряжение там, под шортами, сразу исчезло; можно, конечно, хотеть дуру, но если при этом ты еще и сам чувствуешь себя идиотом, вряд ли что-то получится...

Он осторожно убрал ее руку. Аннета состроила обиженную гримасу, отодвинулась от него на пару шагов, покачнулась, попятилась, слегка ударилась спиной о какой-то выступ в стене, обернулась, чтобы посмотреть, обо что ударилась, а потом пронзительно завизжала.

– Что с тобой? – подскочил к ней Дима.

– Со мной ничего, – пискнула Аннета, – тут... тут... жуки! Ой! Я боюсь!

Дима пригляделся. По стене действительно ползали жучки – маленькие, перламутрово-зеленые. Чуть выше, между стеной и лестницей, была паутина. В ней они тоже барахтались или висели неподвижно в пушистых коконах.

– Ну и что? – тоскливо спросил Дима. – Ну жучки. Светлячки. Они не кусаются.

– Ой! Ой! – Аннета, дергаясь и повизгивая, отряхивала на себе одежду. – Ой! Я боюсь! Дим, они по мне ползают, Дим? Их на мне много?

– Да никто по тебе не ползает!

– Точно?

– Точно.

– И-и-и! – Аннета нашла-таки на рукаве одного жучка и снова завизжала, зажмурившись.

– Да что ж ты кричишь, как ненормальная?

– Сними-и-и!

Дима снял с нее насекомое – очень медленно и осторожно, точно забирая заряженный пистолет из рук истерички. Потом, аккуратно сжимая светлячка пальцами, отошел от Аннеты и выбросил его за борт.

– Ну, успокоилась?

– Да...

– А чего орала?

– Боюсь.

– Жуков?

– Да. Ну и вообще – насекомых.

– Понятно, – сказал Дима.

Дура. Набитая дура.

– Ну чего, пойдем спать? – спросил он.

– Ой, шо-то я... это... перенервничала, кажется. Я прям щас в каюту не хочу. Давай сначала в Интернет зайдём?

– Да какой Интернет? Мы уже от берега отплыли, не ловит ничего.

– Ловит, ловит! Мне девчонки на дискотеке сказали. Пойдем?

– Нет, Ань. Я тебя лучше здесь подожду.
– Хорошо. Тогда я быстренько. Только «Сдвиг» почитаю – и все. Пять минуток, ладно?
– Ладно, – скривился Дима. – А ты... читаешь этот сайт?
– Конечно. Все читают... А ты разве нет? – Аннета изумленно уставилась на него круглыми васильково-синими глазами с красиво подкрученными ресничками.
– Я – нет.
– Почему?
– Потому что это бред, вот почему.
– Сам ты бред, – обиделась Аннета. – Там пишут, как спастись от конца света.
– А что, скоро конец света?
– Ну вроде бы да.
– А от конца света разве можно спастись?
– Ну, там пишут...
– Ой, ладно, иди уже, а?
Аннета хотела еще что-то сказать, но передумала – в кои-то веки! – и стала карабкаться вверх по лестнице: Интернет-кафе располагалось на верхней палубе.
Дима вытащил из кармана отсыревшие сигареты и с пятой попытки закурил.
– Я шоколадный заяц... – промурлыкал он себе под нос. – Ч-черт, прицепилось!

* * *

Паутина была крепкая, гибкая, чуть серебристая – цвета седых волос. Она состояла из тринадцати одинаковых треугольных долек, обманчиво мягких по краям и все более уплотнявшихся к центру. В центре все главные нити соединялись вместе, образуя вязкий пушистый клубок. Это была хорошая паутина. Паук плел ее несколько дней.

Мухи и москиты залетали только во время стоянок. Все остальное время на корабле не водилось никакой живности, кроме зеленых жучков, – зато их здесь было превеликое множество. Большую часть дня паук проводил в сердцевине паутины. Там лучше всего чувствовалось колебание нитей, обозначавшее появление новых жертв.

Панцири у этих жучков оказались плотными – не прокусишь, так что паук обычно жалил их в лапку или в усик. Жучки были довольно безвкусные, и, что самое неприятное, не очень сочные. Приходилось периодически покидать паутину и ползти в трюм на поиски пресной воды – а это был риск, большой риск.

Паук как раз выгрызал очередной кусочек из живота еще живого парализованного жучка, когда услышал женский визг. Пьяная лупоглазая хохлушка тыкала пальцем в стену, подпрыгивала и вертелась, как ненормальная. Ее спутник, мрачный блондин с татуировками на руках, молча пялился на паутину. В этом ничего хорошего не было. Паутина была отличная, очень профессиональная, и располагалась в относительно безопасном месте, одном из самых незаметных на корабле. Плести ее заново в другом углу только потому, что на нее случайно наткнулись эти двое, совсем не хотелось. Остаться здесь при таком раскладе – тоже не очень-то хорошо. Некоторые люди не любят пауков. Некоторые не любят паутину. А эта девица, вон, вообще орет, что боится насекомых, – почему бы ее бойфренду не показать себя героем? Сдерет паутину со стены. Сдерет как нечего делать... Паук замер и напряг живот, приготовившись защищаться.

Но нет, вроде бы парень не собирается ей потакать... Отошли обратно к борту... Смотрят на море. Разговаривают, довольно раздраженно, про какой-то Интернет-сайт... Она уходит... Он остается, закуривает... Нет, паутина его, кажется, не интересует...

Сайт «сдвиг». Я уже много раз про него слышал. Здесь все про него говорят – что-то очень популярное...

– Ди-и-и-ма-а-а! – кричит она сверху так громко и отчаянно, что татуированный

блондин роняет на палубу сигарету, а я слишком резко дергаюсь в моей паутине и едва не рву нить.

– Что? – орет он в ответ, потом успокаивается, выдыхает изо рта остатки дыма, сплевывает на палубу и спрашивает уже тише. – Опять жучки?

– Не-а, не жучки, – говорит Аннета. – Война.

– Что?!

– Война, – повторяет она громко, испуганно и самодовольно. – Не веришь – иди почитай.

Он размазывает ногой сигарету по мокрой палубе и идет к ней, наверх.

Я выплевываю недоеденный кусок жука и ползу к ним, наверх.

* * *

Они сидят за соседними компьютерами и напряженно читают. Он копается в западных новостных лентах, пестрящих английскими и немецкими заголовками вроде: «Здравствуй, оружие!», «Кровавые точки на теле Европы», «Русские развязывают войну» и «Наше ядерное завтра».

Она просматривает zdvig.ru – новости сайта.

Я убеждаюсь, что никто из них не видит меня, а потом осторожно, очень осторожно забираюсь к ней на плечо и тоже читаю.

...Друзья мои! Исполняются сроки. Последняя Катастрофа все ближе.

Как решительно и как спокойно ввязывался в бессмысленные военные конфликты этот пустоглазый зомби, это череп, обтянутый полуистлевшей кожей, это страшное исчадие ада, лишь очень отдаленно напоминающее человека – о, вы ведь все понимаете, о ком я говорю? Я говорю о президенте России... К этому мы уже успели привыкнуть, но лишь вчера стало окончательно ясно, что вооруженные действия по всей Европе – это не разрозненные стычки. Друзья мои – это война, и развязала войну Россия.

Сбываются предсказания. Вот какие строки Нострадамуса [кликни здесь: подробнее о Нострадамусе] относятся к сегодняшним дням:

«Вскоре Правитель, прирожденный ловкач,
Принесет огромное зло
Для своей страны и всего мира».

Не нужно питать иллюзий. Эта война, друзья мои, – не просто какая-то война. Это Третья Мировая Война. И это Последняя Война на земле.

О том, что это событие неизбежно, я уже не раз упоминал на нашем сайте. Напомню, что все дело во Втором Солнце, которое уже совсем близко. Оно глобально изменило земные магнитные поля и сместило с орбиты Луну. Оно привело не только к Сдвигу Полюсов, но и к «сдвигу» в головах людей. Ведь ни для кого не секрет, что Луна непосредственно влияет на настроение и самочувствие человека. Исполняются последние сроки – и люди сходят с ума. К сожалению, это неизбежно – и я знал это заранее, я знал это всегда. Люди становятся агрессивны, они впадают в панику и исходят злобой. Они ненавидят и хотят истреблять друг друга – оттого и развязывают бессмысленнейшие войны.

Оттого и началась теперь Третья Мировая Война [кликни здесь: подробнее о Первой и Второй Мировых Войнах].

Но мы – мы с вами ни в коем случае не должны в этом участвовать. У нас ведь другая Задача, другая Цель. Не ввязывайтесь в эту бойню, друзья. Вы все равно никому не поможете.

Помните: осталось совсем мало времени, чтобы подготовиться к Катастрофе!

Второе Солнце уже очень близко – оно вот-вот покажется на небе.

Друзья мои! Все, что интересует нас теперь – Алтай и только Алтай. Начнем же готовиться к Последнему Путешествию!

У нас должны быть большие запасы провизии – еды и пресной воды, а также лекарства. Мы возьмем с собой семена и проростки всевозможных растений. Возьмем с собой домашних животных, как же без них?

Наше Убежище будет в горных пещерах – так что мы должны взять с собой теплую одежду, приспособления для отопления и освещения. А потом, когда понизится уровень воды, мы спустимся с гор, разобьем в чудесных долинах сады и рощи и начнем нашу новую жизнь...

* * *

– Кажется, действительно война, – говорит парень и смотрит на нее; вздрагивает. – Ой. А вот это уже серьезно...

– Шо, серьезно война?

– Не война. То есть нет... война, это тоже, конечно, серьезно, но... Ань. Ты боишься пауков?

– Да, – шепчет она, и я чувствую, как плечо, на котором я сижу, напрягается и начинает дрожать.

– Тогда не двигайся.

Она послушно замирает. Я понимаю, что мне нужно бежать, очень быстро бежать отсюда – но тоже инстинктивно замираю. Как будто это поможет. Как будто это сделает меня невидимым.

Я вижу, как рука с татуировкой – на ней, кстати, наколол большой паук – тянется к соседнему столу, берет оттуда журнал, толстый глянцевый ежемесячный журнал для мужчин, размахивается... Только в самый последний момент мне удается двинуться с места, но уже поздно. Он бьет меня. Я чувствую, как мое тело сводит болезненная судорога; я скрючиваюсь в маленький твердый комок и скатываюсь на пол. Пару секунд я ничего не слышу, не вижу и не понимаю – так мне больно. Потом чудовищная пружина, парализовавшая меня изнутри, разжимается, и я снова могу шевелиться. Волоча две лапы, я отползаю к стене и забираюсь в щель.

Девушка пронзительно визжит.

Парень растерянно прохаживается по помещению с журналом в руках.

– Перестань орать, – говорит он. – Лучше помоги мне искать. Его нужно убить. По-моему, он ядовитый. Судя по виду...

Из последних сил я двигаюсь вдоль стены и выбираюсь из Интернет-кафе. Вернуться в свою паутину я теперь не могу – они найдут меня там. Поэтому я направляюсь в трюм.

Одна лапа отваливается от меня, пока я ползу. Кое-как я все-таки добираюсь до места, в котором собираюсь умирать. Я останавливаюсь, и тело мое как-то само собой перекувыркивается брюшком вверх. Я лежу на спине, мои лапы конвульсивно подергиваются, сжимаются и разжимаются, сплетаются и расплетаются – но уже все реже и реже. Постепенно я перестаю чувствовать боль и проваливаюсь в липкую, холодную темноту.

* * *

Из темноты ко мне выходит невысокий человек. Он садится рядом со мной на корточки – и тогда я вижу, что это мой сын. Голова его гладко выбрита, по бледной, отливающей синевой коже тянется шрам. Он трогает меня мизинцем, тонким и прохладным. Он гладит мои лапки, распрямляя их. Гладит мои красные пятна в форме песочных часов. Потом он переворачивает меня на живот и гладит черную блестящую спинку. Он говорит:

– Не сейчас и не так.

Он осторожно поглаживает мое поникшее жало и ранку на месте оторванной лапы. Он говорит:

– Потерпи немного. Я возьму тебя в Убежище, но для этого тебе нужно вернуться в Россию. Потерпи, ладно? В Убежище мы будем все вместе...

Я хочу сказать, что сегодня читал про Убежище – но не могу. Не могу говорить.

Он снова тербит мое жало. Он говорит:

– Укуси меня, и тебе станет лучше.

Я хочу ответить, что ядовит и опасен, но не могу.

– Кусай, – говорит мальчик. – Мне ничего не будет. Во-первых, меня здесь нет. А во-вторых, ты вообще заблуждаешься. Яд самцов каракурта безвреден для людей. Только самки опасны...

Безвреден. Мой яд безвреден... Обида и бессилие скапливаются и твердеют у меня в животе. Я напрягаюсь и жалю его в палец – в этот палец, который гладил меня.

– Хорошо, – говорит мой сын и растворяется в темноте.

Когда я просыпаюсь, мне действительно лучше. Я снова могу ползать. А на месте оторванной лапы уже режется новая.

XIII МОСТ

Ночи над рекой Смородиной не сменялись днями. Это была одна длинная, неподвижная, безнадежная ночь.

Маша часто смотрела на луну: только луна менялась. Медленно таяла, становилась плоской и блеклой – а потом снова набухала и обрастала плотью.

* * *

Теперь луна была круглая, ярко-желтая и очень объемная. Не как светящаяся переводная картинка, приклеенная к черной поверхности неба – а как гигантская мертвая планета. Посреди космоса.

Теперь – когда луна стала такой – на мост пришла женщина с всклокоченными медно-рыжими патлами. Совершенно голая. У нее были кривые, мужиковатые, волосатые ноги, обвисший мешковидный живот и длинные-длинные груди, закинута за спину, точно концы зимнего шарфа. В одной руке она держала большой кухонный нож. В другой – собачий поводок.

Рядом с женщиной, тесно прижавшись к ее левой ноге, шел волк.

Увидев Машу, волк полуприсел, поджал хвост, вздыбил жестким испуганным гребнем серебристую шерсть вдоль позвоночника и наморщил верхнюю губу, обнажив черные десны и длинные влажные зубы.

– Лежать, – сказала женщина.

Она отбросила поводок и вытянула вперед руку с ножом. Волк ослабился еще шире и улегся на мост. Белыми своими глазами посмотрел вверх, на эту руку. На этот нож.

– Раз – уходили... – монотонно проговорила женщина, – ...два – их окликнули...

Волк полуприкрыл глаза и стал тихо скулить.

– ...три – заманили... разноцветными бликами... четыре – заменили...

Волк на секунду умолк, а потом снова не заскулил даже, а как-то засвистел – тоненько и тоскливо.

– ...под кожей суставы... пять – ничего внутри не оставили...

Волк свистел, высунув дрожащий язык. Под ноздрями его и в уголках глаз скопились маленькие прозрачные капли.

— ...зародыши жизни в хрустящей тине — шесть — показали, и семь — простили... пустыми глазами отпустили...

Женщина размахнулась и воткнула нож волку в спину, по самую рукоять. Он пронзительно завизжал, выгнулся дугой, задержал задними лапами и обмяк. Слезающиеся его глаза остекленели. Розовый длинный язык безвольно свесился из пасти, распластался по мосту.

Она наклонилась и выдернула нож — длинные груди-змеи соскользнули со спины и закачались над волчьим трупом. Тем же ножом женщина сделала разрезы на внутренней стороне всех четырех волчьих лап и хвоста. Подцепляя шкуру пальцами и ножом, стала стягивать ее сначала с задних лап, потом с передних. Кончики волчьих пальцев она аккуратно обрезала изнутри — так, чтобы когти остались на шкуре.

— Раз — уходили, два — их окликнули... — снова забормотала женщина, — ...три — заманили разноцветными бликами, четыре — заменили под кожей суставы, пять — ничего внутри не оставили, зародыши жизни в хрустящей тине — шесть — показали, и семь — простили, пустыми глазами отпустили...

Она полоснула волка по спине — распорол от основания черепа до кончика хвоста. Повозилась немного с ушами, глазницами и пастью. Просунула руки между шкурой и мясом и медленно провела ими вверх-вниз, вверх-вниз, точно погладила волка изнутри. А потом наконец сдернула с тела шерстяную оболочку, точно варежку с обмороженной руки.

Тошную красную тушку женщина небрежно сбросила с моста. Она погрузилась в воду почти беззвучно, без брызг — как скользкая рыбина. Спустя несколько секунд из воды выдавилось и тут же лопнуло с десятков плотных маслянистых пузырей.

Трехголового я уже обглодал, — вспомнилось Маше.

Женщина протянула ей волчью шкуру:

— На. Надень.

— Зачем? — спросила Маша.

— Ты же хотела согреться?

Маша взяла шкуру и накинула себе на плечи. Тонкие бурые струйки потекли по спине, по ногам, темными пахучими кляксами расползлись под ступнями. Шкура была теплая, скользкая и очень липкая.

Женщина внимательно оглядела Машу. Поковырялась рукой в своей густой шевелюре, извлекла оттуда пару булавок и взяла их в рот. Потом поплотнее запахнула шкуру у Маши на груди и скрепила булавками. Отошла на пару шагов и воткнула заляпанный волчьей кровью нож в доски моста.

— Кувыркаться умеешь? — спросила женщина.

— Нет, — ответила Маша.

— Ладно... Тогда просто перешагни. Левой ногой.

Маша подошла к ножу и занесла над ним ногу.

— Эй, стой, — сказала женщина. — Когда вернешься — снова перешагнешь. Правой ногой. Теперь иди. А я буду говорить.

Маша перешагнула через нож и упала. И пока она извивалась, выгибалась, дрожала и дергалась, и пока ее рот, костеня, выпячивался клювом и складывался хищной пастью, и пока ее кожа покрывалась перьями, чешуей и шерстью, голая женщина стояла над ней и говорила без остановки, все повышая и повышая голос, переходя постепенно на крик:

— На море на Окиане, на острове на Буяне, на полой поляне, светит луна на осинов пень, в зелен лес, в широк дол. Освещает она двюнадесять опрометных лиц звериных и птичьих... Стань вороном! Стань орлом! Стань ястребом! Стань совою!.. Около пня ходит волк мохнатый, на зубах у него весь скот рогатый, а в лес волк не заходит, а в дол волк не забродит... Стань дятлом! Стань вепрем диким! Стань змеем! Стань рысью! Стань тигром! Стань медведем! Стань лютым зверем!.. Луна, расправь все пули, притупи ножи, измочаль дубины, напусти страх на зверя, на человека и гады, чтобы они серого волка не брали и теплой бы с него шкуры не драли... Стань волком! Слово мое крепко. Стань волком! Стань

волком! Волком!...

* * *

Волк приподнял голову и наморщил верхнюю губу, обнажив черные десны и длинные влажные зубы.

– Гуляй, – сказала голая женщина и вяло махнула рукой в сторону Нави. – Только не долго. Пригонишь лошадь – и сразу возвращайся. Если что-то случится с ножом... ну, например, кто-нибудь его заберет, пока тебя нет, – навсегда останешься такой.

XIV ПУТЕШЕСТВИЕ

– Тридцать пять минут! – голосит толстая растрепанная тетка и машет кому-то рукой.

Я сижу в ее корзине с яблоками и не вижу – кому. Я нервничаю. Если я правильно понял, осталось всего шесть минут. А она еще здесь, на платформе. Стоит. Ждет кого-то. Зря я выбрал ее... Но теперь уже поздно что-то менять – все остальные пассажиры уже в вагоне.

Щелкает вокзальный громкоговоритель.

– Внимание отъезжающим! Скорый поезд номер 2360 Одесса – Москва отправляется с третьего пути...

Поезд скрипит и дергается. Все, уезжает? Нет, вроде пока стоит... Ну иди же, иди внутрь. Залезай туда, корова! Он же сейчас тронется!

– Ой, ой, ой, прости, задержалась!.. – к «моей» тетке подбегает еще одна, тоже толстая. Она вся красная, пытит и хватается за сердце. – Ой, так бежала, так бежала, аж сердце прихватило!.. Ну, пойдём.

– А может, не поедём? – подает голос моя. – Там, говорят, воюют всюю...

– Ой, не знаю... Ну уж раз уж решили...

– Женщины, вы едете или как? – равнодушно интересуется проводница с бледно-зеленым лицом. – Поезд уже отходит.

– Едем, едем! – взвизгивают толстухи, и корзина наконец взлетает в воздух.

Они вносят меня в плацкартный вагон, душный и вонючий. Впрочем, мне все равно. Я ловко выбираюсь из корзины, прежде чем ее засовывают под нижнюю полку, и ползу к потолку.

Поезд трогается.

XV МОСТ

Не было конца у этого леса, мелькающего справа и слева, и не было в нем ничего живого – иначе среди запахов, устилавших траву, волк давно уже уловил бы тот, который искал.

Был запах плесени, запах болотной тины, запах сухой хвои и прелых листьев, запах червивых грибов и рассыпавшихся в труху пней, запах нежилых, давно покинутых нор, запах одиночества, запах брошенных гнезд и невысиженных яиц, запах ядовитых цветов и ягод, запах засохших гусениц, муравьев, тлей, пауков и мух, жуков и стрекозых личинок... Но не было запаха звериного пота, запаха теплого, сального подшерстка, и гнилого запаха голодной пасти, и соленого запаха меченых деревьев, и запаха мокрых незализанных ран, и запаха крови – не было.

Он бежал долго. Очень долго. Только когда лапы заныли невыносимо, а в горле образовался сухой и колючий, непроглатываемый комок жажды, волк остановился, чтобы передохнуть.

Он втянул в пасть подрагивающий горячий язык и снова высунул его, причмокнув.

Слизнул с морды пористую, мягкую, сладковатую, как гоголь-моголь, пену. Очень хотелось пить. И есть. Вгрызаться клыками в жесткую, в последней судороге напрягшуюся, сочащуюся бурым, кисло-соленым соком плоть. В теплое мясо с привкусом железа, с острым, пряным привкусом страха и безысходности... Волк принялся: нет, ничего. Все тот же мертвый букет ненужных запахов.

Он снова облизнулся, близоруко вгляделся белесыми своими глазами в прозрачную лунную ночь – и вдруг прижался к земле, дрожа и скалясь.

Между деревьями, между скрюченными сухими березами и неестественно яркими, бутфорски-зелеными елками он увидел дома. Простые деревянные избы. Он увидел лошадь, уныло уткнувшуюся мордой в траву, – вороную лошадь, лениво помахивающую густым длинным хвостом. Он увидел чьи-то силуэты. Каких-то людей, слоняющихся между домами... Он увидел то, чего не мог, не должен был здесь увидеть. Потому что здесь, в каком-то десятке метров от этих домов, от шевелящихся этих теней, *совсем* не пахло живым.

Не пахло стариками, детьми. Не пахло человеческой едой. Вообще не пахло людьми. И эта лошадь... Она была страшнее всего. Лошадь, от которой не пахло скотиной. Стерильная... Лошадь с гладкими сухими боками, лошадь, которую не донимали слепни и мухи...

Медленно переставляя дрожащие лапы, волк приблизился к изгороди, за которой стояла лошадь и ходили люди. Странноватая такая изгородь... не из дерева... с легким запахом... клея, что ли? Старых, пересохших костей?..

– Ну вот и пришла, – раздался с той стороны дребезжащий старушечий голос.

Калитка со скрипом открылась – из нее вышли двое – мальчик-подросток и хромая старуха. Одна нога у нее была с виду нормальная, другая – точно с нее обглодали и кожу, и мясо, и ни одна из них не пахла человеческой.

Волк попятился и поджал хвост.

– Ну, подойди, подойди, погладь ее, – сказала старуха Мальчику. – Она же устала...

Мальчик подошел к волку. Протянул к нему худую руку, пахнущую – как и все вокруг – мертвым лесом. Мертвым лесом и ничем больше. Или... На какую-то долю секунды волку показалось, что он уловил еще какой-то, едва различимый, очень знакомый, из далекой-далекой, из совсем другой жизни, запах. Но ощущение это тут же исчезло.

Мальчик погладил волка по морде, по спине. Рассеянно и равнодушно потрепал за ушами.

– Она небось пить хочет, Ванюша, – подала голос старуха. – Водички ей принести?

– Да, – не сразу отозвался Мальчик. – Принеси.

Старуха уковыляла в дом.

Мальчик присел на корточки перед волком.

– Потерпи, уже скоро, – сказал он и снова погладил встопорщенную шерсть.

Нет, все-таки был, действительно был какой-то еще запах. Очень слабый, словно бы отдаленный, но все же – живой. Не как у всего вокруг. *Живой* ... Волк, глухо урча, наморщил нос. *Живой* ... Что же – вцепиться в него? Разодрать на части, сожрать, выпить этого сумасшедшего детеныша, который чешет его за ушком, точно кастрированного домашнего кота?

– Потерпи, уже скоро, мама, – бесцветно и сонно повторил Мальчик.

Волк зарычал хрипло и зло, изготовился было к прыжку, но потом как-то обмяк. Улегся, поскуливая, на холодную, усыпанную желтыми сухими иглами землю и закрыл глаза.

– На, – что-то хлопнуло у него прямо под носом.

Горбатая старуха совала ему в морду большую алюминиевую миску. Миска мелко-мелко дрожала – вместе со старухиной рукой.

Волк поднялся и сел. Осторожно потянулся носом к миске. Потом затравленно оглянулся на Мальчика.

– Пей, пей, – сказал тот.

Старуха поставила миску на землю и отошла на пару шагов. И волк стал жадно пить – воду, не имевшую вкуса, воду, которая совсем не пахла водой... Мертвую воду.

– Вот так, молодец, молодец, – зашамкала добродушно старуха. – Пей... а я пойду лошадку пока приведу.

Вскоре она вывела под уздцы лошадь – крупную, холеную, откормленную. Грива ее была украшена шелковыми красными лентами и вымазана чем-то густым и липким, а сверху посыпана солью. Крупные грязно-белые кристаллики, освещенные полной луной, мутно лоснились в черных конских волосах, точно искусственный новогодний снег, застрявший в ветках искусственной новогодней елки.

Увидев волка, лошадь отпрянула и заржала громко, визгливо и ненатурально. Замотала из стороны в сторону красивой липкой головой, – точно сокрушаясь о чем-то, точно отрицая что-то очевидное и неотвратимое, – и дико завращала огромными, навывкате глазищами.

Страх – отчаянный, нутряной – различил волк в этих ее безумных глазах. Будто она и впрямь боялась. А ведь не боялась же. Не боялась, нет. Страхом совсем не пахло от нее.

Старуха отпустила уздечку. Лошадь снова заржала, давясь и захлебываясь собственной истерикой, встала на дыбы, на секунду вдруг замерла, как статуя, на задних копытах – и галопом понеслась в лес.

– Взять! – рассеянно улыбнувшись, скомандовал Мальчик.

И волк побежал за ней следом.

Он гнал ее через мертвый лес, долго, очень долго. Много часов, а может быть, много дней. Иногда он сильно отставал, а иногда, наоборот, оказывался от нее так близко, что мог вцепиться зубами в тонкие, длинные ноги, перегрызть тугие хрустящие сухожилия, завалить ее набок, распороть клыками живот и наесться до отвала безвкусного, стерильного, фальшивого мяса – или чего там у нее было внутри... Но он не делал этого. Он гнал ее к реке, и как ни пыталась она петлять, как ни наматывала круги, они все приближались и приближались к Смородине, и оба знали, что именно там – их конечная точка, и оба бежали так быстро, как только могли, и оба задыхались от бега, и оба хотели, чтобы это все наконец кончилось, кончилось, кончилось...

Лошадь резко встала, обдав себя фонтаном черных холодных брызг, уперев разъезжающиеся копыта в скользкое илистое дно. Перед ней была река. Дальше бежать было некуда. Она протяжно, отчаянно фыркнула, тряхнула головой и медленно оглянулась назад. Волк сидел прямо за ней и молча скалил зубы – усталый, злой, победивший, готовый наброситься в любую секунду. Лошадь шагнула вперед – вода была ледяная. Это еще не конец, не конец... Перейти эту реку вброд... Переплыть ее – вот и все... Вот и все, что ей нужно сделать... Она ведь такая узкая, эта речка... Это еще не конец... Медленно переступая по скользкому дну, лошадь пошла дальше. Неподвижная ледяная вода коснулась ее разгоряченного брюха, обожгла холодом бока, лизнула спину. Стало трудно дышать. Лошадь оттолкнулась задними копытами и поплыла. Это еще не конец...

Когда лошадь была уже на середине реки, кто-то схватил ее за хвост и с силой потянул вниз, ко дну. Она лягнула невидимого хищника окоченевшим от холода копытом – медленно и слабо, как во сне. И, кажется, промахнулась – он потянул ее снова.

Лошадь погрузилась в реку с головой, нечаянно хлебнула воды. Густая, пронзительно-холодная жижа заполнила горло и легкие. Из последних сил она дернулась, вынырнула, задрала украшенную лентами черную голову над черной водой и в последний раз посмотрела вверх, на полную большую Луну. Больше она не сопротивлялась.

* * *

Болотный начал есть с головы: больше всего ему нравился вкус меда и соли.

XVI ПУТЕШЕСТВИЕ

Электронные часы на неподвижной волосатой руке показывают 11.58.

Что-то не так. Дело даже не в том, что они все вдруг заснули средь бела дня. Они ведь не спят. По крайней мере, *не все* спят. У некоторых приоткрыты глаза, кто-то даже слегка шевелится. Большинство лежит, свесив потные вонючие ноги в проходы. Но многие из тех, у кого боковые места, сидят, уткнувшись носами в столики или, наоборот, откинув головы и закатив глаза.

Поезд тащится еле-еле, все замедляя и замедляя ход.

По красной ковровой дорожке я добегаю до купе проводников – они тоже лежат неподвижно. Глаза закрыты.

Возвращаюсь обратно в вагон. Что, ядовитый газ? Какое-то химическое воздействие? Не похоже... Переползаю с одного пассажира на другого – все они, безусловно, живые: теплые, дышат ровно, кожа нормального цвета. Только очень уж какие-то тихие – и это самое странное. Ночью-то они ведь храпели. Храпели, хрюкали, кашляли, чихали, рыгали, сморкались. Издавали звуки. А теперь – тишина.

Единственный звук, не считая стука колес, – голос, еле слышно доносящийся из динамика в коридоре. Громкость поставлена на минимум. Чтобы хоть что-то разобрать, я карабкаюсь вверх по стене и подбираюсь прямо к маленьким темным дырочкам.

– Прослушайте обращение президента к гражданам России, – доносится оттуда сквозь помехи. – Прослушайте обращение президента к гражданам России.

Может быть, это просто из-за помех мне кажется, что я узнаю этот голос? Может быть, я все же ошибся?...

– Прослушайте обращение президента к гражданам России. Прослушайте обращение президента к гражданам России. Абра кадабра, мы везли кадавра, ать-два ать, на базар продавать, с дыркой во лбу, да в дешевом гробу, абра кадабра, мы везли кадавра, красавчика-покойника везли себе покойненько, но казаки-разбойники крible крабле в дороге нас ограбили, абра кадабра, украли кадавра, крабле-крабле бум, с дыркой во лбу, крабле крible, остались мы без прибыли...

Нет, не ошибся. Люси.

Мной вдруг овладевает такая апатия, что я готов свернуться в комок и заснуть прямо здесь, между дырочек громкоговорителя. Я с трудом заставляю себя добраться до остывшего титана и пью теплую воду, натекающую из не завинченного до конца крана. Это меня взбадривает.

Что же ты делаешь, Люси? Что ты делаешь с ними, дрянь?

В любом случае, что бы ты с ними ни делала, на меня это все не действует. Со мной твоя болтовня не работает, Люси...

* * *

По моим расчетам, мы вот-вот должны пересечь украинско-русскую границу. Или уже пересекли?.. Еще минут сорок мы тащимся очень медленно. Совсем медленно – сам я мог бы ползти быстрее. Такое ощущение, что машинист уснул или ведет поезд в полудреме. Впрочем, почему ощущение? Так оно, наверное, и есть.

Еще медленнее. И еще медленнее.

Я даже не сразу замечаю, что поезд уже стоит. Никто не шевелится. Никто не выходит.

Битый час я наматываю круги по вагону – в буквальном смысле: от пола до потолка, от пола до потолка – в поисках выхода.

Уже почти потеряв надежду, я, наконец, обнаруживаю, что в купе проводников окно

чуть приоткрыто, и выбираюсь наружу.

Красное приземистое здание вокзала. Станция Суземка. Значит, уже Россия...

Поезд, из которого я только что выбрался, стоит впритык к другому – шедшему впереди него. Собственно, все железнодорожные пути, сколько хватает взгляда, заполнены неподвижными составами.

Людей нет. На перроне стоит одинокий плакат. Просто большие черные буквы на белом фоне: «Да не будет у тебя других богов пред лицом моим».

Я огибаю здание вокзала и ползу через большую асфальтированную площадь. Там, за площадью, виднеются кособокие домики, а еще дальше – лес. Миную еще один плакат, сверху донизу загаженный голубями: «Не сотвори себе кумира, не поклоняйся ему и не служи ему».

Такое я уже видел в Москве: незадолго до моего отъезда в Италию подобные плакаты появились рядом с некоторыми автобусными остановками и станциями метро. Я тогда, помнится, интересовался, откуда они взялись, и мне объяснили, что это что-то вроде социальной рекламы. С одобрения мэра города, одна крупная благотворительная организация развесила по всей Москве заповеди, данные Моисею на горе Синай – подразумевалось, что это каким-то образом поднимет моральный уровень москвичей. Так что, в принципе, нет ничего странного в том, что мода на библейские откровения докатилась и до маленьких поселков вроде Суземки. Только вот в Москве эти плакаты не стояли буквально на каждом шагу. А здесь... Я оглядел стройные ряды ржавых столбиков с белыми растяжками:

«Не произноси имени моего напрасно».

«Почитай отца твоего и мать твою».

«Не убий».

«Не прелюбодействуй».

«Не кради». «Хуй тебе» — приписано маленькими корявыми буквами снизу.

Я наконец пересекаю площадь и ползу к ближайшему покосившемуся дому.

На улице по-прежнему ни души. Как тогда, в Веллетри, – только здесь прохладно и совсем, совсем тихо.

Не очень-то похоже на место, в котором идет война. Скорее уж – на место, где война давно уже кончилась, не повредив ни одного здания, но не оставив в живых ни одного человека.

XVII МОСТ

Когда лошадь скрылась под водой, волк встал, отряхнулся и забрался на мост. Нервной рысцой пробежался туда-сюда, принохиваясь.

если кто-нибудь заберет его...

Нашел маленькую узкую выемку в доске – след от ножа, который воткнула голая женщина. Но ножа – самого ножа – не было.

пока тебя нет...

Волк задрал голову и протяжно, визгливо, фальшиво, то по-звериному, то сбиваясь на человеческий крик, завыл.

если кто-нибудь заберет его, пока тебя нет, – навсегда останешься такой...

– Н-нечего г-глутку драть, – с пьяной ленцой произнес кто-то.

Волк резко оборвал вой на высокой, отчаянной ноте и огляделся. На мосту чернела чья-то тень. В следующее мгновение обладатель тени громко рыгнул, потом довольно хихикнул и, покачиваясь, выступил из темноты на мост, в желтую полосу лунного света. Он оказался приземистым человекообразным существом в драной мешковатой одежде.

– Давно не виделись, М-маша-растеряша! Что, п-потеряла свой ножичек? – существо было основательно поддатым; в руке его блестел нож – тот самый, который голая женщина воткнула в мост.

Волк втянул влажными дрожащими ноздрями густой запах перегара, сморщил нос и глухо зарычал.

– Маша-растеряша! Маша-растеряша! Хи-хи-хи-х... ой, м-мамочки, страшно-то как!

Волк перестал рычать и быстро, решительно прыгнул на человека с ножом, повалил его на спину и передними лапами прижал к мокрой холодной земле. Снова наморщил нос, готовясь вцепиться в поросшую синей щетиной шею.

– Но-но-но, Машенька, не шали! – пьяный с неожиданной ловкостью крутанулся, высвободил руку с ножом и приставил острие к волчьему горлу. – Только дернись у меня, и я тебя, с-сука, прирежу. Второй раз сдохнешь. Как собака сдохнешь. То есть, прости, как волк...

Волк широко раскрыл пасть и тоскливо, с подскуливанием, зевнул.

– Фу, Машенька, фу! – задрыгал ногами пьяница. – Отвали, я сказал! От тебя псиной несет!

Волк покосился на нож, потом с ненавистью посмотрел своими белесоватыми глазами в единственный глаз (второй был затянут бельмом) лежащего под ним человека и неохотно отполз в сторону.

– А ты, кажется, не рада встрече? – одноглазый встал и принялся отряхивать свой замызганный балахон. – Линяешь, что ли, а, Маш?

Волк жалобно заскулил.

– Ну ладно, ладно, не плачь. Сейчас воткну его на место. Я же просто пошутил. Поиграть с тобой хотел. Ну, игривый я, что уж поделаешь...

Одноглазый не спеша взошел на мост, наклонился, прищурился.

– Откуда он торчал? Ты не видишь, а, Маш?

Поджав хвост, волк вскарабкался следом и ткнулся носом в крохотную выемку в доске.

– Ну да, ну да, в-вижу, – одноглазый пьяно пошатнулся и тут же метнул нож удивительно резким, точным движением: лезвие изящно вошло прямо в выемку, мелко задрожала рукоятка. – Ну, все. Готово, собачка. Можешь кувыркаться. Ап!

* * *

– А ты меня не узнаешь, что ли? – спросил одноглазый, когда Маша поднялась на ноги.

– Узнаю, – ответила она, все еще тяжело и часто дыша. – Алекс. Дядя Леша.

– А вот и нет, вот и нет! Я не дядя Леша. И даже не дядя Леший. Никакой я здесь не дядя! – дядя Леша громко захихикал и даже подпрыгнул пару раз от удовольствия. – Я не дядя! Я не дядя! Я вообще не человек. Здесь я – Лесной. Вот он я, полюбуйся, какой есть!

Лесной плавным горделивым жестом указал на свою пропитую физиономию и рваные тряпки, а потом ернически раскланялся. Маша вдруг с изумлением заметила, что бельмо исчезло. Теперь на нее весело и зло смотрели два маленьких зеленоватых глаза-буравчика.

– Лесной так Лесной, – безразлично согласилась она. – Просто раньше вы называли себя иначе. И выглядели тоже немного по-другому.

– Ты про глаз, да?

Лесной соорудил гримасу: прищурил один глаз и высунул язык; потом вернул лицу первоначальное выражение.

– Это у меня просто такой сценический имидж, – пояснил он самодовольно. – А Алекс и дядя Леша – мои сценические псевдонимы. Там.

– Там?

– Ну да, там. В Яви. Я ведь туда иногда вылезаю. Мы все иногда вылезаем. У-у-у! – Лесной вдруг дико замахал руками и сделал «страшные» глаза. – Никогда не знаешь, что из тебя может вылезти!

Маша сняла с себя вонючую, в бурых потеках засохшей крови волчью шкуру и присела на мост. Поежилась.

– Я устала, – грустно сказала она: не Лесному даже, а просто так, в ночную темноту.

– Ну так все уже вот-вот кончится, – радостно откликнулся Лесной.

– Правда? – недоверчиво переспросила Маша.

– А зачем мне врать-то? – Лесной оскорбился и надул губы. – Когда я тебе врал? Конечно, правда. Вот сожгут тебя – и считай, все, отмучилась.

– Меня сожгут?

– Сожгут, сожгут, Машенька. А ты что, не рада? Ты же вроде хотела согреться?

– Хотела...

Лесной вдруг зажал себе нос рукой и тихо загундосил:

– О Иванове дни будет ночное плещевание, и костров зажигание, и бесчинный говор, и скверные бесовския песни, и ногами скакание и топтание, и хрептом вихляние, и богомерзкия дела, и отрокам осквернение, и девам растление...

Маша молчала. Лесной убрал руку от носа и разочарованно заглянул в ее равнодушное лицо. Потом вяло хихикнул и зашагал в Навь, пошатываясь и мурлыча себе под нос:

– Уж как я кочан ломить, а кочан в борозду валить... Хоть бороздушка узенька – уляжемся! Хоть и ночушка малэнька – понабаемясь!..

XVIII ПУТЕШЕСТВИЕ

Видимо, они сидели так уже очень давно. В этом доме. В этой комнате. За накрытым столом. Уставившись в телевизоры. То есть – *действительно* давно. Не день и не два, и даже не неделю – судя по тому, что стало за это время с их едой.

Куски хлеба на блюде превратились в зеленоватые сухари. Перед каждым – тарелка с бурой вонючей массой, которая когда-то, по-видимому, была не то овощным рагу, не то картофельным пюре – теперь и не разобрать. Обожравшиеся мухи и тараканы лениво слонялись по столу или рассеянно копошились в этом буре.

Из чашек свесилась пушистая поросль плесени – издали ее можно было принять за пивную пену. Не исключено, что когда-то под этим пухом действительно было пиво... Впрочем, нет. Девочка – на вид лет десяти – вряд ли пила алкоголь.

Из всех троих у девочки было, пожалуй, самое осмысленное лицо. Она смотрела на экран широко открытыми глазами – без какого-то конкретного выражения, но все же *почти* сосредоточенно – и изредка даже моргала.

Женщина выглядела значительно хуже. С нижней губы на колени стекала тонкая струйка слюны; стая маленьких мошек-дрозофилов покачивалась, точно в невесомости, рядом с ее лицом, временами ныряя в полуоткрытый рот, а потом снова выпархивая наружу. Глаза ее закатились, но желтоватые полосы белков продолжали пялиться в экран.

Отец семейства более всего походил на спящего человека. Он тихо посапывал, уткнувшись лицом в объедки.

Паук метнулся на другой край стола, поймал жирную, одуревшую от многодневного пиршества муху и затолкал в себя. Потом вернулся на свое место – туда, откуда он лучше видел экран, – и снова стал смотреть, ритмично вздергивая и опуская брюшко. Ничего не изменилось: все та же передача. Уже много часов – а, возможно, уже много дней.

...Больше всего это напоминало «Аншлаг-Аншлаг». Толстенький петросяноподобный мужичок с глупыми блестящими глазками и лоснящейся лысиной, наряженный почему-то в женское платье, стоит на пустой сцене. Жеманно растягивая слова и противно подхихикивая, он говорит в микрофон:

– Нос у меня норма-а-альный. Ха-а-а-а-а некоторым он кажется дли-и-инным. А на-а

– ...На Купала!
Девка Марья во броду стояла.
На Ивана!

Во броду стояла, перевоз держала.
На Купала!
Во броду стояла, перевоз держала.
На Ивана!
Пришли до ней хлопцы-молодцы.
На Купала!
Пришли до ней хлопцы-молодцы.
На Ивана!
– Девка Марья, ты перевези нас.
На Купала!
– Девка Марья, ты перевези нас...

Пение постепенно приближалось – унылое, протяжное, на одной ноте. Оно было настолько однообразным, что понять, где кончалась одна песня и начиналась другая, Маша решительно не могла.

Наконец вдалеке показалась стайка дрожащих, бледных огоньков. Они всеплыли и плыли, покачиваясь, в сторону моста. Некоторое время Маше казалось, что так скучно и заунывно поют сами огоньки. Однако же вскоре она разглядела, что это были просто зажженные свечи в руках у приближавшихся к ней людей.

– ...Пойдут девки травку рвать,
Сестру с братом поминать:
Ой, где же та травица —
Что братец с сестрицей.
На братце – синий цвет,
На сестрице – желтый цвет.
На поля роса упала,
Сестру с братом повенчала.
Ой, на Ивана!
Ой, на Купала!...

Помахивая свечками и беспрерывно подвывая, толпа людей – впрочем, не только людей – вышла из лесу.

В этой толпе были уродливые дети с чудовищно ассиметричными лицами, безобразные старики и старухи, упитанные безвозрастные карлики, голые девки с обвислыми грудями и какими-то подозрительными скользкими отростками, свисавшими с ягодниц. Были щуплые всклокоченные парни с рогами, копытами и эрегированными пенисами. Были какие-то не то вараны, не то миниатюрные крокодилы, нервно клацавшие зубами, были неестественно крупные – размером с миттель-шнауцера – лягушки, важно, вразвалочку шествовавшие на задних лапах, были черные куры с раскосыми человеческими глазами и орлиными крыльями. Была также какая-то совсем уж бесформенная, не подпадавшая ни под какое определение живность – с цветочными венками, криво болтавшимися на том, что, по-видимому, заменяло им голову.

Помимо свечей, они волочили еще много разного барахла – метлы, ведра, мотки веревки, палки, поленья, ветки, охапки соломы, букеты цветов, огромные погребальные венки...

Замыкал шествие нормальный с виду человек – высокий, худой и бородатый. Он пришел налегке.

Все они расположились у реки, рядом с мостом. Одни принялись водить хороводы, другие разжигали костры и весело через них прыгали, третьи вставляли горящие свечи в венки, клали их на черную воду и что есть сил толкали, надеясь, что венки поплывут. Река Смородина оставалась, однако же, совершенно неподвижной, и венки так и болтались у

берега.

Маленький толстый карлик вскарабкался на мост и просеменил к Маше.

– Хочешь тоже? – застенчиво потупившись, он протянул ей венок.

– Что это? – Маша отступила на шаг.

– Цветочки, – недоуменно отозвался карлик. – Лопух, медвежьи ушки, Иван-да-Марья и богородичная трава... Хочешь кинуть венок в воду?

– Зачем?

– Зачем? – переспросил карлик и глупо захлопал глазами. – Естественно, чтобы узнать, когда придет твой суженый.

– Не хочу.

– Не хочешь – как хочешь, – карлик раздраженно швырнул венок в воду и, поджав тонкие злые губы, удалился.

Некоторое время на Машу никто не обращал внимания. Потом на мост, кряхтя, поднялась горбатая старуха с узловатой серой палочкой вместо ноги. Она вела за руки двоих подростков – мальчика и девочку.

– Ну, здравствуй, Машенька, здравствуй, – заскрипела старуха. – Узнаешь ли ты меня, девица?

– Узнаю, – ответила Маша. – Вы поили меня водой из миски. И вывели мне лошадь...

– Ну, это само собой. А еще?

Маша всмотрелась в желтое, остроносое лицо.

– Галина Сергеевна?..

– Она самая, Машенька. А еще, помнишь, в Парке Горького – билетерша? А еще в интернате разок видались. Костяная меня звать. Да, что ж поделаешь, все мы иногда...

– Знаю, – оборвала ее Маша. – Все вы иногда вылезаете.

– Да ты не перебивай старших-то! – взвизгнула старуха; она выпустила из своей руки руку мальчика и яростно погрозила костлявым пальцем.

– Извините, – безучастно сказала Маша.

– То-то же, – Костяная неожиданно легко удовлетворилась извинением и сразу же подобрела. – Познакомься, Машенька. Это Брат и Сестра. Сейчас они покажут нам одну сценку, которую отрепетировали специально к сегодняшнему празднику. Да, ребятки?

Подростки послушно – и совершенно синхронно – кивнули. Костяная широко улыбнулась беззубым ртом, одобряюще похлопала в ладоши и, стуча костью по доскам моста, удалилась.

– В некотором царстве, в некотором государстве жили-были брат и сестра, – сказал Брат.

– Но так уж вышло, что их разлучили во младенчестве, – сказала Сестра.

– Они выросли, – хором сказали Брат и Сестра, – встретились и полюбили друг друга, не зная о том, что состоят в кровном родстве.

После этих слов подростки молча обняли друг друга, и в этом объятии Маше почудилась какая-то щемящая детскость – и вместе с тем циничная, показушная развратность.

Детскость, впрочем, тут же исчезла: громко причавкивая, подростки принялись целоваться в губы, а толпа у моста бешено заревела «Горько, горько!» и стала считать вслух, сколько длится поцелуй:

– Один! Два! Три! Четыре!..

Плотно присосавшись друг к другу, Брат и Сестра продержались до десяти, а потом стянули с себя одежду и улеглись на мост – она снизу, он сверху.

Маша отвернулась.

– Когда же узнали влюбленные страшную правду, – громко произнес худой бородатый человек, тихо и незаметно взошедший на мост, – то не вынесли этого. И превратились они в два цветка на одном стебле. Брат стал синим цветком, а сестра – желтым.

Маша нерешительно глянула вниз. Подростки пропали. У ее ног действительно

валялось полуувядшее растение с желтыми и синими цветочками.

Бородатый, крикнув, нагнулся, подобрал растение и выбросил в воду.

– Ну, здравствуй еще раз, – сказал он.

– Здравствуй, – ответила она.

– Осталось недолго, Мария, – продолжил бородатый. – Ты согреешься, и мы отпустим тебя с моста. Потом ты встретишься со своим мужем, и вы вместе отправитесь в Убежище – такова воля Мальчика. Ну а пока что я снова готов ответить на три твоих вопроса.

– Где будет Убежище? – быстро спросила Маша.

– В Пещере Ужасов.

– Что это за пещера?

– Это ты и так знаешь. Вспоминай – ты ведь уже там была... Ты тратишь свои вопросы довольно бездарно, дорогая. Остался всего один.

Маша задумалась. Потом медленно, аккуратно подбирая слова, заговорила.

– Когда-то, еще в Яви, я читала один Интернет-сайт. Там тоже что-то говорилось про Убежище...

– Вопрос, дорогая, только вопрос! – перебил ее бородатый. – Не нужно ничего мне рассказывать. Ты спрашиваешь – я отвечаю. Такие правила. Такая сказка.

– Хорошо, хорошо, вопрос. Автор этого сайта – Мальчик? Мой сын?

– Конечно, нет, – бородатый рассмеялся приятным бархатистым смехом. – Он ведь не такой дурак.

– Тогда кто же автор?

– Ты уже задала свои три вопроса, Мария. На этот я тебе отвечать не обязан, – он сделал многозначительную паузу. – Впрочем, ты хорошо вела себя здесь, на мосту, все это время – и заслужила мое снисхождение. Так что я, так уж и быть, отвечу. Смотри – вот он, автор. Между прочим, твой старый знакомец.

Маша наклонилась через перила и посмотрела вниз: на черную, черную воду.

В этой воде, как на киноэкране, появилось изображение.

* * *

...Антон стоит, свесив поверх брюк нечеловеческих размеров живот. На фанерной стене позади него висит плакат, на котором изображен придурковатый колобок, приветливо беседующий с тощей, скрюченной лисой, и крупными буквами написано: «Россия: детская литература». Своими красными руками Антон тискает большую, с красочной обложкой, книгу.

Маша понуро сидит рядом, на корточках. Болезненно скривившись, она рассматривает неприятное желтое пятно на его брюках – оно находится как раз на уровне ее глаз.

– ...У меня, кстати, есть здесь неплохой проект, – говорит Антон. – Сетевой. Ладно... Пойду.

Он неопределенно вскидывает в воздух распухшую пятерню, сует ей в руки книгу, потом поворачивается спиной и решительно протискивается к выходу, наступая всем на ноги.

– Упс! – вскрикивают, точно резиновые игрушки-пищалки, придавленные Антоном французы.

Он идет дальше, не оборачиваясь...

* * *

Вода снова почернела.

– Неплохой сетевой проект, – раздраженно пробормотал бородатый. – Убежище в Алтайских горах... Тоже мне, спаситель нашелся! Увлеченный идиот! И ведь столько людей угробит... Хочешь взглянуть?

Черная вода пошла рябью, мягко заколыхались погребальные венки у берега. Наконец появилась мутная, подрагивающая картинка.

– Извини, что не резко, – стал зачем-то оправдываться бородатый. – С будущим так часто бывает. Помехи...

Маша пригляделась. Какие-то люди бесконечно длинным косяком брели куда-то, по пояс в воде, руками разгребая ошметки талого снега. За плечами у них висели огромные намокшие походные рюкзаки; сквозь непонятный, дрожащий, низкочастотный гул прорывались временами рыдания и стоны. Потом гул усилился, заглушив все прочие звуки, и наконец оборвался резким, оглушительным, невыносимым хлопком – точно у какой-то гигантской гитары долго вибрировала, а потом лопнула струна толщиной с секвойю.

На мгновение пропали и звук, и изображение. Потом что-то снова появилось «в кадре» – нечеткое, мучительно расплывчатое, вертящееся месиво из людей, снега и криков.

– Это Алтай... – устало сказал Тот. – Тысячи, тысячи людей погибли в лавине... Впрочем, какая разница. Парой дней раньше, парой дней позже – в любом случае, все...

– Я не хочу на это смотреть, – сказала Маша. – И слушать не хочу.

– Что ж, неволить не буду, – отозвался бородатый, и вода опять почернела и застыла.

Он немного помолчал, грустно разглядывая Машу. Наконец разжал сухие, бледные губы и тихо произнес:

– Тогда перейдем к делу.

Потом повернулся к толпе и по-прежнему тихо, но властно скомандовал:

– Разложите костер и внесите папоротник.

Несколько карликов, возбужденно повизгивая, вскарабкались на мост. Они принесли с собой щепочки, ветки, солому и поленья и засуетились, выкладывая все это в кособокую кучку.

Потом пришел Мальчик. В руках он держал ветку папоротника, на которой красовалась большая розоватая почка.

Бородатый куда-то исчез, но его голос как будто по-прежнему оставался на мосту.

– Сейчас! – решительно сказал этот голос.

Розовая почка вдруг громко, нутжно затрещала – и тут же лопнула, разбрызгав по мосту красные капли и выпустив из себя влажный, исходящий горячим паром, огненно-красный цветок.

– Солнцестояние! – восторженно заревела толпа, и все посмотрели вверх.

Маша тоже задрала голову. Рядом с выпуклой, привычной луной в ночном небе повис теперь еще один шар. Он был красивым, ярко-красным. С синеватым, неровным, рваным окаймлением – точно гигантский детский мяч, украшенный светящейся бахромой.

– Сейчас! – громко повторил голос, и все перевели взгляд на Мальчика.

Голой рукой – детской, бледной, худой рукой – Мальчик взялся за горячий цветок, легким движением оторвал его от папоротника и бросил в подготовленную карликами кучу. Солома тут же вспыхнула; занялись ветки и щепочки.

– Сейчас! – опять сказал голос – и Маша взошла на костер.

Красно-синее пламя обволокло ее трескучим теплом, нежно облизало сотней раскаленных языков, скрыло от толпы.

Потом ярко и эффектно загорелся мост и рухнул в черную воду.

ЧАСТЬ 5

Ver shpilt zikh mit di kinder un teyl nemt tsu tsu zikh?

Кто играет с детьми и забирает их к себе?(идиш)

Из песни Зисе Ландау «Кто ведет все корабли»

ДЕТЕНЫШ

– Ты уже совсем большой мальчик, – сказал Тот. – Ты научился всему, что мы сами умеем и знаем... Кстати, ты в курсе, сколько лет тебе на днях исполняется?

– Вообще-то нет, – растерянно ответил Мальчик. – Я тут ни разу день рождения не справлял. Так что не знаю.

– Тебе, Ванюша, уже почти восемнадцать. Это очень, очень важный возраст. Исполняются сроки: скоро будет твоя битва. Готов ли ты сразиться за нас?

– Готов, – спокойно ответил Мальчик.

– Очень хорошо, – Тот слегка улыбнулся и потрепал Мальчика по голове. – Превосходно. Тогда сейчас я расскажу тебе кое-какие подробности про Люсифу. Врага необходимо хорошенько изучить, прежде чем вступать с ним в противоборство. Итак...

Люсифа

История о заколдованном королевстве

... слушай, мой Мальчик.

Люсифа, Злая Колдунья, – единственное, кроме тебя, существо, способное пересекать границу между Явью и Навью...

– Но я...

– Да, знаю: ты пока пересек ее лишь однажды, десять лет назад. Но скоро, очень скоро тебе предстоит попробовать снова. И не нужно больше перебивать меня, ладно? Я сам все скажу. Итак, Люсифа может делать это, когда захочет. Может жить и там, и здесь...

– Но вы же говорили, что никто из Нечистых не может пересекать границу, – снова встрял Мальчик. – Вы говорили, что таково заклятье!

– Ты снова перебиваешь, Ваня, – Тот Кто Рассказывает сокрушенно покачал головой. – Ты меня этим сбиваешь... Все, что тебе нужно знать, я расскажу... Так, на чем я остановился... Ах да, вспомнил. Она может жить и там, и здесь. Ее прогоркшее шоколадное логово здесь, в Нави, ты как-то раз видел, помнишь?..

Мальчик молча кивнул.

– ...Здесь она живет себе тихо-мирно в своем засиженном мухами домике на отшибе. Мы с ней почти не видимся. Ничего интересного она не делает. Иногда охотится, иногда еще как-то себя развлекает. Зато там, в Яви, деятельность она развивает довольно бурную. У нее там большая власть... Она правит страной.

– Какой страной? – не удержавшись, снова спросил Мальчик.

– Твоей, Ванюша, – Тот раздраженно поморщился. – Твоей страной. Когда-то, несколько лет назад, – ты тогда уже жил здесь, с нами, – в твоей стране выбирали нового правителя, и один из претендентов на этот пост был отравлен. Но Люси не позволила ему умереть. Вернее сказать, она не позволила ему оставаться мертвым.

– Как это?

– Очень просто. Она превратила его в послушную куклу. В зомби. В пустую потрепанную оболочку, умеющую говорить и двигаться, но лишенную души. В его холодные синие губы она вложила свои слова – а ведь она мастер говорить слова! Короче говоря, при помощи него, вместо него, прикрываясь им, она стала править страной. Писать указы, казнить и миловать, вести переговоры, давать пресс-конференции, развязывать войны...

– И что – неужели никто не заметил, что это она, а не он?

– Нет, Ванюша. Никто не заметил. Я же объяснял тебе – она мастер говорить слова. Словами она может заставить кого угодно поверить во что угодно. По крайней мере, она умудрилась вступить в войну с несколькими государствами, не используя при этом никакой армии.

Тот многозначительно замолчал, потянулся к жареной куриной ножке, повертел ее в руке и бросил обратно на тарелку. Потом сложил руки на груди и устало прикрыл глаза –

Мальчику показалось, что Тот уснул.

– Я не понимаю... – шепотом сказал Мальчик. – Как это – не используя армии?

– А вот так, – отозвался Тот, не открывая глаз. – Весь континент охвачен войной. И каждая страна, участвующая в этой войне, убеждена, что воюет с Россией. И ни одна не понимает, что на самом деле воюет с призраком. По прихоти Люси иноземные войска просто истребляют друг друга.

– А зачем ей это нужно?

– Да ни за чем, – задумчиво сказал Тот. – Не знаю... Может быть, ей нравится убивать и разрушать. Но скорее всего... Видишь ли, скорее всего, смысл того, что она делает, для нее не очень-то важен. Как не важен смысл произносимых ею слов. Она просто... – Тот неожиданно осекся и быстро покосился на Мальчика, – она просто безмозглая дура, Ванюша. Так что не ломай голову над ее поступками – не стоит труда... Так на чем я остановился?

– ...«иноземные войска истребляют друг друга».

– Да-да, вот именно. Истребляют друг друга. Ну а в России сейчас воевать все равно не с кем.

– Почему?

– Потому что там сейчас нет никого, кто способен воевать. Там все уснули. Ну, вот и сказочке...

– Уснули – в смысле умерли? – испуганно уточнил мальчик.

– Уснули – в смысле уснули. Ну, как в той сказке: все уснули – и принцесса, и король с королевой, все придворные, фрейлины и гувернантки, дворецкие, повара и солдаты, привратники, пажи и лакеи, пастухи, сапожники и плотники. Заснули конюхи и их лошади, заснули свинопасы и их свиньи. Заснули куропатки и фазаны, которые поджаривались на огне. И заснул вертел, на котором они вертелись, и даже огонь, который их поджаривал, и...

– Я хочу разбудить их! – от возбуждения Мальчик даже выскочил из-за стола. – Я их разбужу!

– Что ж, это можно. Разбуди. Если хочешь.

– Обязательно. Скажите только, что я для этого должен сделать?

– Ну, Ванюша. Ты меня удивляешь. Разве ты сам не знаешь, что в таких случаях делают?

Мальчик вдруг застыл, глядя на Того широко раскрытыми глазами. Потом со всех ног бросился прочь из избы.

* * *

– Вот и сказочке конец, – мрачно сказал Тот, оставшись в одиночестве.

Он потянулся к блюду с фруктами, взял с него яблоко, откусил кусок и медленно прожевал. Потом напряг шею – так, что на ней явственно проступили синеватые вены, а кожа на кадыке натянулась и побелела – и попытался сделать глотательное движение. Что-то щелкнуло и заклокотало у него в горле; бело-зеленые яблочные ошметки, вывалившись изо рта, застряли в бороде.

Тот схватил с блюда еще одно яблоко и что есть силы запустил его в бревенчатую стену. На секунду яблоко с жадным чавканьем присосалось к древесине, потом раскололось на три неровных куска, которые беззвучно осели на пол. Тот закрыл лицо руками и несколько раз вздрогнул – не то от беззвучного плача, не то от беззвучного хохота.

Мальчик ворвался в избу, не постучав.

– Ее там нет!

– Тише, Ваня, успокойся, – невозмутимо отозвался Тот, не отрывая рук от лица.

– Вы не понимаете, – рот Мальчика некрасиво, нелепо скривился, а подбородок мелко задрожал. – Она исчезла!

Мальчик заплакал, совсем по-детски – зажмурившись, тоненько сипя и как бы

улыбаясь.

– Кто – она? – без всякого любопытства поинтересовался Тот.

– Спящая. – Мальчик вытер глаза рукавом. – Спящая. Спящая. Ее нету в кровати. Она исчезла.

Теперь он плакал уже по-взрослому: со стоном, через силу, с застывшим лицом.

– Ну почему же исчезла? – Тот посмотрел на Мальчика с сочувствием и легкой насмешкой. – Я прекрасно знаю, где она.

– Где? Где?

– Да не волнуйся ты так, Ванюша. Просто она теперь в Яви.

Мальчик перестал плакать; он молча стоял у накрытого стола и часто, громко, с влажным сопением втягивал в себя воздух.

– Она в Яви, – повторил Тот. – И ты тоже иди туда.

– Я боюсь, что у меня не получится...

– Получится. У тебя все получится, Иван. Ну, не трусь. Давай, сделай, как мы тебя учили. Закрой глаза...

Мальчик послушно закрыл глаза, и мокрые от слез ресницы сразу прижались, намертво прилипли друг к другу.

– Пройди через чащу... Выйди из леса... Осторожно, не открывая глаз, переплыви реку... А теперь – уходи... Отправляйся в то место, откуда мы тебя взяли...

* * *

С трудом выбравшись из-под груды ржавых железок и сырых досок, Мальчик поднялся на ноги; опасливо покосился на сваленных в углу русалок и гномов, пластиковых и деревянных, покрытых растрескавшейся пыльной краской; задрал голову, взглянул на пластмассовые красные кресла, висящие неподвижно на железном тросе, – и вышел из Пещеры на улицу.

Сырой, пронзительно-холодный мартовский воздух так стремительно ворвался в легкие, что у Мальчика на секунду перехватило дыхание.

Он поежился от ветра, негромко кашлянул и плотнее запахнул рубашку. Ветер был отвратительный. Довольно слабый, но при этом какой-то шуршащий, рассыпчатый и приставучий; Мальчику показалось, что десятки невидимых, трясущихся, ледяных пальчиков быстро и суетливо прикасаются к нему, щекочут спину и грудь, замораживают этой щекоткой. Приковывают его к месту, мешают ему двигаться, не позволяют идти.

Мальчик задрожал и прикрыл глаза, чувствуя, что ему нестерпимо, до слез хочется вернуться обратно – в родную, туманную, хвойно-ароматную Навь. Одно маленькое усилие – и он снова окажется там, у реки. И войдет в теплую, хрустящую чашу. И побежит по знакомой тропинке. И... нетушки. Нет. Мальчик отрицательно помотал головой – отказывая самому себе, стряхивая трусливое наваждение, – и двинулся вперед.

Уже отойдя от Пещеры метров на десять, он вдруг остановился – с мучительным ощущением, что забыл сделать что-то очень важное, причем забыл давно, много лет назад; и вот теперь, именно теперь это забытое необходимо вспомнить и выполнить. Мальчик медленно вернулся к Пещере и, сам не зная зачем, стал огибать ее справа, поскальзываясь на весеннем льду, хватаясь руками за холодную, шершавую стену и все вспоминая, вспоминая, вспоминая что-то – пока стена сама вдруг не показала ему то, что он искал.

Две цифры – три и девять, через дробь, – были нарисованы на этой стене синей краской. Номер дома. Когда-то давно, ужасно давно, в прошлой жизни, он хотел посмотреть номер этого дома.

– Тридевятых, – прошептал Мальчик, замороженно глядя на цифры. – Вот оно где, Тридевятых...

Чудо-град был безлюдным, белоснежным. Неподвижные махины аттракционов

блестели от инея и льда. Они походили на гигантские деформированные скелеты – скелеты, лежащие на дне пересохшего водоема; скелеты, покрытые солью мертвого моря. Скелеты древнейших, фантастических животных, окаменевших здесь много веков назад...

Мальчик подошел к самому большому из них и остановился, припоминая. Ну да, конечно... Глупая, ленивая, неповоротливая, скрипучая черепаха. Колесо Обозрения, всегда вертевшееся так медленно, что сводило скулы от скуки.

Мальчик забрался в обледеневшую кабинку и уселся на скользкое, холодное сиденье. Потом вытянул вверх тонкую, бледную, покрытую пупырышками гусиной кожи руку и тихо заговорил:

– Два брата камень секут, две сестры в окошко глядят, две свекрови в окошках сидят, кровь в жилах стоит. Ты, свекор, воротись, а ты, колесо, вертись... Ты, сестра, отворись, а ты, колесо, вертись...

Колесо едва заметно шевельнулось, вздрогнуло.

– ...Ты, брат, смирись, а ты, колесо, вертись. Ты, кровь, отопрись, а ты, колесо, вертись...

С громким скрипом, с воем, с протяжным, болезненным стоном разбуженного мертвеца колесо покачнулось и тронулось. Поползло, заунывно поскуливая, по кругу.

– ...Ты, сестра, отворись, а ты, колесо, вертись... Брат бежит, сестра кричит, свекор ворчит...

Колесо разгонялось, быстро набирало обороты. Мальчик закрыл глаза и высунул обе руки из кабинки – кончиками пальцев ощупывая плотный, точно из ваты, встречный ветер, кожей ладоней пытаюсь понять, уловить, почувствовать верное направление. Узнать, где искать Спящую...

Через минуту Колесо стало вертеться мягко, бесшумно, и с такой бешеной скоростью, что ни Мальчика, сидящего в кабинке, ни самой кабинки было уже не видно: все растворилось в полупрозрачном, из тонких расплывчатых нитей сплетенном верчении.

Когда, спустя четверть часа, Колесо остановилось, Мальчика в кабинке не было.

* * *

Охранник интерната спал на посту под веселое воркование включенного на полную громкость телевизора. Мальчик быстро взбежал на второй этаж, вздымая столбы пыли над давно нехоженными ступеньками, и толкнул нужную дверь.

В палате царила тишина. Скрюченные дети спали в своих неудобных постелях с железными решетками. Женщина в белом халате клевала носом, сидя на стуле.

Мальчик подошел к кровати Спящей, вцепился руками в железные прутья – так сильно, что побелели костяшки пальцев, – и долго, жадно, испуганно смотрел на ее красивое худое лицо.

А потом наклонился и поцеловал ее в губы.

Спящая вздрогнула и открыла глаза. Они были огромными, лучистыми, зеленовато-карими; они смотрели слегка удивленно.

– Я долго спала? – спросила Спящая.

– Очень долго, – ответил Мальчик и вдруг заметил, что на других постелях неподвижные до сих пор дети тоже зашевелились, заерзали, замычали.

Он наклонился над Спящей и стал целовать ее снова. Теперь уже не для того, чтобы разбудить, – просто ему очень хотелось...

– А-а-а! – заголосила вдруг у него прямо над ухом женщина в белом халате, та самая, что спала сидя.

Потом она вцепилась Мальчику в плечо, стараясь, видимо, оттащить его от кровати Спящей, и дурным голосом стала орать:

– Петр Алексееви-и-ич! Говорила же я-я-я! Петр Алексееви-и-ич! Людмила Константинов-на-а-а! Идите скорее сюда-а-а! Вы только полюбуйтесь! Я же говорила, что

нельзя держать вместе, – женщина сделала паузу, чтобы набрать в легкие побольше воздуха, – подростков разных поло-о-ов! Посмотрите теперь, что они вытворяю-ю-ют! Господи-и-и, под суд все пойдете-е-е!

Людмила Константиновна, старшая медсестра, появилась наконец на пороге.

– Что вы орете, как сумасшедшая? – прошепелявила она, и от этого голоса Мальчик вздрогнул.

– Он... Он к ней приставал... Они... подростки разных полов... – залопотала было женщина, указывая на Мальчика пальцем, но потом растерянно умолкла, потому что совершенно не знала, как понимать реакцию старшей медсестры на случившееся.

Людмила Константиновна оставалась абсолютно спокойной. Ее маленькие пороссячи глазки смотрели слегка насмешливо. Какое-то время она молчала, потом спросила:

– А вы?

– Что – я?..

– Вы же, кажется, нянечка?

– Да, – подтвердила женщина.

– Тогда как же вы это допустили, любезная, как вас, простите?..

– Фаина Петровна... Я... Понимаете, я... кажется, ненадолго заснула.

– Ненадолго? – Людмила Константиновна почему-то вдруг громко и неприятно рассмеялась.

– Ну да, совсем ненадолго...

– А по-моему, вы заснули очень *надолго*.

– Я не знаю. Простите. Простите, ой, я прямо не знаю, как это вышло. Но когда я проснулась, он... – Фаина Петровна снова ткнула в Мальчика, – ее... – она скривилась и беззвучно зарыдала. – И тогда я...

– И тогда вы стали так голосить, как будто сейчас наступит конец света, – сказала старшая медсестра и странно ухмыльнулась. – Кстати... Идите-ка вы на улицу. И перестаньте тут сопلي размазывать, смотреть противно.

– На улицу? – всхлипнула нянечка и вытерла глаза рукавом. – В смысле – вы меня увольняете?

– Да нет, господи ты боже мой! Просто увидите кое-что интересное. Идите, там уже все собрались. Весь персонал.

– Но как же... – Фаина Петровна растерянно посмотрела на Мальчика, потом на Спящую, – как же я их здесь после *этого* оставлю?..

– А вот так, очень просто. Оставьте, и все тут – я вам разрешаю, – сказала медсестра и повернулась к Мальчику. – Ты чего на меня уставился?

Больше всего в старшей медсестре нянечку удивляло то, что старшая медсестра не имела ровным счетом никакого представления о собственных больных.

– Да что вы, Людмила Константиновна, он же вас не слышит, – затараторила нянечка, – и смотрит он совсем не на...

– Я вас узнал, – сказал Мальчик.

Фаина Петровна испуганно отдернула руку, которой все это время машинально сжимала его плечо, и так и осталась стоять с открытым ртом: Мальчик не просто говорил; он смотрел прямо в глаза старшей медсестре, действительно обращался именно к ней.

– Я вас узнал. Вы – Люсифа. Я должен с вами сразиться.

– Кажется, – снова встряла нянечка, справившись наконец со своим изумлением, – он действительно вступил с вами в контакт и...

– Не здесь, – ответила старшая медсестра.

– Что – не здесь? – удивилась Фаина Петровна.

– Я не с вами говорю, – Людмила Константиновна раздраженно махнула рукой; она смотрела на Мальчика. – Не здесь. В Нави.

– Что?! – вскрикнула нянечка.

– Идите сейчас же на улицу, – прошипела медсестра. – Я вам приказываю.

Нянечка еще раз посмотрела на нее, на Мальчика, снова на нее, снова на Мальчика, потом недоуменно покачала головой и вышла из комнаты.

– Возвращайся туда, – сказала Мальчику медсестра.

– А вы?

– Я тоже скоро приду.

– Я не пойду без нее, – Мальчик кивком указал на Спящую.

– Да мне-то что, – фыркнула медсестра. – Если хочешь, бери ее с собой.

Мальчик наклонился над кроватью и осторожно взял на руки Спящую. Она почти ничего не весила, словно была сделана из бумаги. Ее шея, руки и ноги были такими тонкими, что Мальчик беспокоился, как бы они не сломались от какого-нибудь его неловкого движения.

– Я возьму тебя с собой, – сказал Мальчик.

– Куда? – спросила Спящая.

– В Убежище.

Спящая посмотрела на него удивленно, потом улыбнулась – совсем слегка, уголком губ.

– А почему ты решил меня взять? – спросила она.

Мальчик быстро оглянулся на медсестру и тихо, торопливо прошептал на ухо Спящей:

– Ты этого, наверное, не помнишь. Но однажды ты разговаривала со мной во сне. И ты сказала, что тебе совсем не нравится здесь... Теперь я готов тебя забрать.

– Хорошо, – прошептала в ответ Спящая. – Мне действительно здесь не нравится.

* * *

Сотрудники интерната сгрудились у входа. Жители окрестных домов, встрепанные и заспанные, тоже стояли кучками у своих подъездов, месили ногами липкий, удивительно чистый мартовский снег.

Некоторые, понурившись, с тупым недоумением рассматривали этот снег. Когда они в последний раз выходили на улицу – перед тем как им всем захотелось спать, – все было зеленым и пыльным, и было жарко, и было лето...

Но в основном люди смотрели вверх, на небо, лишь изредка поворачиваясь друг к другу и тихо перешептываясь.

Нянечка Фаина Петровна выскочила на крыльцо последней; спустилась по заледеневшим ступенькам туда, на этот чистый снег, в эту напряженную тишину, и тоже запрокинула голову.

– Господи! – вскрикнула она так громко, что все вздрогнули. – Господи, Господи, да что ж это?.. Господи... Иже еси на небеси... Да святится имя твое... Да будет... Ой, мамочки... мама моя, мама... Второе... Солнце.

Второе Солнце стояло в зените, и оно было очень красивым. Ярко-красный шар с синеватым, неровным, рваным окаймлением – точно гигантский детский мяч, украшенный светящейся бахромой. Второе Солнце было раза в четыре крупнее обычного. Это тем более бросалось в глаза что обычное, первое солнце болталось здесь же, рядышком, на голубом безоблачном небе – как будто специально для того, чтобы все могли сопоставить размеры.

– Это конец, – произнес кто-то с полувопросительной интонацией, и слова его окончательно разорвали тишину.

Теперь все заговорили разом, громко и взволнованно; некоторые женщины плакали.

– Так, – обратился к жене повар Коля, изо дня в день готовивший умственно неполноценным детям жидкие каши, фруктовые смеси и овощные пюре. – Так. Пора собираться.

– Куда? – спросила жена, посудомойка Татьяна, и неприлично громко зарыдала.

– Знаешь куда, – мрачно ответил Коля. – На Алтай.

– Куда? – снова всхлипнула Татьяна, а потом странно хихикнула, – Куда, куда, куда... ха-ха!

Теперь она неприлично громко смеялась.

– Ты чего, совсем спятила? – взвыл повар и сильно тряхнул ее за плечо, от чего посудомойка залилась совсем уже гомерическим хохотом, перешедшим через пару секунд в странную икоту.

– У вашей супруги истерика, – брезгливо покосился в их сторону директор интерната. – Попробуйте хлопнуть ее по щеке.

Повар примерился, размахнулся и от души заехал жене кулаком в скулу. Посудомойка послушно завалилась на снег. Потом поднесла руку к ушибленному месту и действительно перестала икать.

– Вставай, – процедил Коля, не глядя в ее сторону, – нечего тут... Вещи пора собирать.

Где-то вдалеке, со стороны шоссе, раздались резкие, частые хлопки – словно кто-то прыгал там по надутым воздушным шарикам, и они лопались, один за другим, один за другим...

– Стреляют, – констатировал повар и нехотя протянул жене руку.

II НЕЧИСТЫЕ

– ...Кроме того, ввиду форсмажорных обстоятельств (как то: климатические катаклизмы, военные действия на территории страны и за ее пределами, массовая эвакуация населения в Алтайский край) все сотрудники интерната полностью освобождаются от своих трудовых обязательств и все трудовые контракты с этого дня считаются недействительными.

Старшая медсестра закончила читать и оглядела присутствующих. Потом добавила:

– Это приказ директора, датированный сегодняшним числом. Все свободны. – Она неприятно усмехнулась и тряхнула рыжей лохматой головой. – Спасайся, кто может.

Нянечки и медсестры нерешительно переминались с ноги на ногу.

– А как же дети? – спросила Фаина Петровна. – Мы их что, бросим?

– Относительно детей имеется еще один приказ, – старшая медсестра вручила им листок формата А4 с коротким текстом, директорской подписью и печатью. – Ознакомьтесь, кому интересно.

Листок медленно пошел по рукам.

– Инъекция натрия-теопентала, бромида и хлористого калия, – еле слышно прошептала молоденькая медсестра, – дозировка... дозировка... – листок мелко-мелко задрожал в ее руке. – Директор не мог подписать такое. Это же убийство!

– Не убийство, – отозвалась старшая, – а эвтаназия, милочка. Взять их с собой мы не можем. А без нас они все равно умрут – только медленно... Ну, что вы стоите? Расходитесь, я же сказала. А вы, Клавдия Михайловна, и еще вы, вы и вы, – будьте добры, задержитесь. Поможете мне с процедурой.

* * *

Старшая медсестра зашла в палату для лежачих – те нервно задергались в своих постелях, мыча и ошалело озираясь.

– Не бойтесь, это просто укол, – сказала она, улыбнувшись. – Это совсем не больно. Раз – и все. Раз – и все. Раз – уходили, два – их окликнули, три – заманили разноцветными бликами...

III ИГЛА

– Где же оружие? – Мальчик недоуменно оглядел Нечистых; они молчали, потупившись. – Люси сказала, что скоро тоже придет сюда, и мы с ней сразимся. Но у меня же должно быть оружие! Возможно, какой-нибудь меч? Или сабля? Или... Ну что вы молчите?

Они стояли на опушке леса, ярко освещенной красным светом Второго Солнца и желтым светом луны.

– Тебе не понадобится оружие, – ответил наконец Тот Кто Рассказывает.

– Почему?

– Потому что битвы не будет, Ванюша.

– Как это – не будет битвы? Разве я не должен отобрать у нее Иглу и сломать ее? Вы же сами говорили, что, кроме меня, этого никто не может сделать!

– Так и есть, Ванюша. Ты один можешь нам помочь. Только вот сразаться с Люси, как выяснилось, не надо. Нам удалось с ней... ну, в общем, договориться... Дипломатия, сынок, – понимаешь? Теперь она не будет чинить тебе препятствий, а, наоборот, поможет сломать Иглу. Теперь она с нами заодно... Вон она, кстати, идет.

Вдалеке на тропинке показалась Люси. Она шла быстро, деревянной мужицкой походкой. На плече у нее болталась внушительных размеров сумка.

* * *

Люси наклонилась к своей огромной полосатой сумке – с такими ездят в ночных автобусах «челноки» – и вытащила из нее большого испуганного зайца. За уши. Некоторое время она держала его на весу. Заяц тоскливо, на одной ноте визжал и дрыгал тонкими серебристыми лапками с нежно-розовыми подушечками. Потом она наклонилась снова и извлекла из той же сумки нож – обычный, кухонный. Ловким, точным движением вспорола зайцу живот. Заяц в последний раз взвизгнул – отчаянно, умоляюще – и затих. Вместе с теплыми красными кишками на землю вывалилась небольшая утка. Люси отшвырнула в сторону заячью тушку и взяла птицу в руку.

Утка вяло оглянулась по сторонам, нахохлившись, замерла. Она выглядела больной. Густая заячья кровь медленно стекала с ее перьев. Все тем же ножом Люси рассекла ей брюхо, положила конвульсивно подергивающуюся птицу на траву и очень осторожно вытащила из нее довольно крупных размеров яйцо. Распоротая утка продолжала трепыхаться. Хрипя и каркая, она поднялась на своих красных перепончатых лапах. И, спотыкаясь, засеменила куда-то в чащу леса. Яркий кровавый след, мерцающий в свете луны и Второго Солнца, тянулся за ней по траве.

Рукояткой ножа, очень бережно, Люси постучала по яйцу – с тупого конца. Сковырнула растрескавшуюся скорлупу и вытащила из яйца одноразовый медицинский шприц с какой-то бесцветной жидкостью.

– Закатай рукав, – сказала она Мальчику.

Он посмотрел на шприц. Потом на Костяную. На Того Кто Не Может Есть. На гномиков. На Лесного. На Спящую. На Брата и Сестру. На Полуденную. На Болотного...

Спящая выглядела невыспавшейся и очень удивленной. Лесной злобно тарасился то на Того, то на Люси, и сплевывал себе под ноги тонкие, длинные струйки слюны. Все остальные стояли спокойно, неподвижно, и их лица не выражали ничего. Встречаться с Мальчиком глазами они избегали.

– Закатай рукав, – повторила Люсифа.

Мальчик дотронулся было до рукава, но тут же отдернул руку.

– А что это? – спросил он, указывая на шприц.

– Это – яд, Ванюша, – грустно ответил Тот. – Закатай рукав.

– Нет, – сказал Мальчик. – Подождите. Пожалуйста, не надо. Пожалуйста. Я боюсь.

– Если тебя это утешит, Ванюша, – прошептал Бессмертный, – я тоже боюсь. Но так нужно. Обязательно нужно. Ты должен нам помочь.

– Но почему я? – закричал Мальчик. – Я согласен был с ней сражаться. А это... А так... Пожалуйста, пусть это будет кто-нибудь другой! Почему я? Ну почему я?

– Прости. Это такая сказка, сынок, – сказал Тот Кто Рассказывает. – Давай. Мы все тебя просим.

– Это просто укол, Ванечка, – мягко подбодрила Костяная; глубокие морщины на ее древнем лице блестели от слез.

– Это совсем не больно, – сказала Люсифа.

– Не больно, сынок, – подтвердил Тот.

Тогда Мальчик подошел к Люси и задрал рукав.

– Хорошо, я готов, – сказал он и зажмурился.

– Молодец, Ванюша. А ты готов, Бессмертный? – спросил Тот.

– Уже несколько тысяч лет как...

Люси протерла кожу на руке Мальчика невесть откуда взявшейся проспиртованной ваткой и медленно ввела в вену яд. Уже извлекая иглу, она резко дернула шприц вправо и вниз. Мгновенно и беззвучно игла сломалась.

Конечно, они говорили неправду. Умирать было очень, очень больно.

Всем.

* * *

– Я не понимаю, – сказала Спящая, усаживаясь за стол.

– Чего ты не понимаешь, девочка? – Костяная беззубо улыбнулась и ласково погладила ее по голове.

– Всего этого, – Спящая кивнула в сторону Мальчика.

Мальчик был без сознания, и гномики суетились вокруг него, брызгая в лицо водичкой и похлопывая его по щекам своими маленькими ладошками.

– Не понимаю, почему не было битвы. И что за договоренности могут быть с Люси: она ведь Злая Колдунья? Ничего не понимаю... Я все проспала.

– Ну так и не нужно понимать. Зачем забивать себе голову всякой ерундой...

– Нет, нужно! – Спящая упрямо сжала бледные губы. – Очень даже нужно. Я одна из вас. И я уже не маленькая. Я имею право знать все, что знают остальные Нечистые. Я хочу, чтобы Тот Кто Рассказывает мне все рассказал.

Костяная грустно покачала головой.

– Тот! – крикнула она. – То-от!

Тот Кто Рассказывает стоял к ним спиной в другом конце комнаты. Он обернулся на крик.

– Тот, ты не мог бы к нам подойти на минутку? Спящая хочет, чтобы ты ей кое-что рассказал.

* * *

– Долго рассказывать, – вздохнул Тот. – Ну, просто мы с ней договорились...

– А кто именно с ней договаривался?

– Я. Я сам договаривался, девочка.

– А потом? Ты ведь потом обсуждал это с Нечистыми? – Спящая задавала вопросы быстро, раздраженно; Тот отвечал по-отечески мягко.

– Конечно, обсуждал.

– В таком случае, я хочу видеть это обсуждение. Не хочешь рассказывать – покажи.

– И как же я, по-твоему, смогу показать?

– Очень просто. Так, как ты всегда показывал раньше, в воде Смородины.

– Извини, дорогая, – теперь голос Того тоже зазвучал раздраженно. – Но здесь, как ты

уже, вероятно, заметила, реки Смородины нет. А показывать можно только в ее воде.

– А вот и есть, вот и есть! – встрял в разговор Лесной.

Он извлек из кармана бутылку с черной жидкостью.

– Что это? – нахмурился Тот.

– Ну, некоторые берут горстку земли с родины. А я вот водички прихватил. Видишь ли, в глубине души я существо чрезвычайно сентиментальное. Так что... Нужно просто освободить тарелочку... – Лесной смахнул с одной из тарелок нарезанный тонкими ломтиками сыр, – ...и вылить в нее аккуратненько...

Он до краев наполнил тарелку черной, блестящей жидкостью из бутылки.

– Вуаля!

Тот неприязненно покосился на тарелку.

– Тебе-то это зачем? – спросил он Лесного.

– Да просто для развлечения, – Лесной хихикнул и громко рыгнул.

– Что, уже успел набраться?

– Что ты, что ты! Я трезв, как стеклышко... Ну же, покажи девочке наше собрание.

– Хорошо, – сказал Тот. – Только учти, Спящая... Это довольно грустная история.

Черная вода на тарелке запузырилась, пошла рябью, и на поверхности ее, как на киноэкране, появилось изображение...

Нечистые Довольно грустная история

...Мальчик стоял, чуть покачиваясь, посреди избы Того. Глаза его были плотно закрыты, мокрые ресницы слиплись.

– Пройди через чащу, – сказал Тот, пристально глядя на Мальчика, – выйди из леса... Осторожно, не открывая глаз, переплыви реку... А теперь – уходи... Отправляйся в то место, откуда мы тебя взяли...

Когда Мальчик исчез, Тот вышел из-за стола и подобрал с пола кусочки яблока; рассеянно протер салфеткой пятно на бревенчатом полу. Потом приоткрыл входную дверь и позвал к себе карлика, слонявшегося рядом с домом.

– Иди, позови всех. Я открываю собрание.

Вскоре в его избе собрались все Нечистые.

– Спасибо, что пришли, – начал Тот. – Вы, полагаю, догадываетесь, зачем я собрал вас здесь.

– Ты собрал нас, чтобы обсудить детали Последней Битвы, – ответила Костяная. – Только вот... Где же Мальчик? – она недоуменно оглядела присутствующих, – Ванюша-то где?

– Мальчик не должен присутствовать на этом обсуждении, – жестко сказал Тот.

– Как это? – удивилась Костяная. – Почему это?

– Как это? Как это? Как это? – заверещали карлики. – Ничего не понятно гномикам! Ничего не понятно тролликам! Гномикам-тролликам! Тролликам-гномикам!

– А ну, заткнитесь! – шикнул на них Лесной.

– Я что-то не пойму тебя, Тот, – мягко продолжила Костяная. – Мальчик же будет сражаться! И перед битвой ему совсем не мешало бы поприсутствовать...

– Мальчик не будет сражаться, – прошептал Бессмертный.

– Битвы не будет, – спокойно сказал Тот.

Нечистые беспокойно зашевелились. Громко и неприлично, на всю комнату, хрюкнул Болотный и медленно сполз на дно таза, в котором сидел. Грязная вода потекла через край, заливая бревенчатый пол. Потом над тазом образовался огромный зеленый пузырь и с жалостным всхлипом лопнул.

– И что же, значит... – Болотный снова вынырнул на поверхность, – мы отсюда не выберемся?

– Ай-ай-ай! – заверещали карлики. – Мы отсюда не выберемся! Навсегда здесь останутся гномики! Навсегда здесь останутся троллики!

– Цыц, – Тот повысил голос. – Естественно, выберемся. Просто у нас есть договоренность с Люсифой.

Лесной схватил со стола бокал с пивом, осушил его одним глотком.

– Еб твою мать, – с тихим отчаянием сообщил он и мутным взглядом окинул Того и Бессмертного. – Ребята, вы чего?!

* * *

– Но она же Злая Колдунья! – Спящая оторвала взгляд от импровизированного экрана и испуганно, удивленно взглянула на Того своими заспанными глазами.

– Ты смотри, смотри, не отвлекайся...

* * *

– ...Какие с этой дрянью могут быть договоренности? – сварливо затараторила Костяная, спотыкаясь языком о единственный зуб. – Опять вы с ней шашни разводите? Что, мало вам было? Не нагулялись в тот раз?

– Держи себя в руках, Костяная, – лицо Того стало еще бледней, чем обычно. – Думай, что говоришь. И кому говоришь.

– Я-то думаю! – старуха брызнула слюной. – Я как раз думаю! А вот вы, кажется, – нет. Договоренности у вас с ней... Да как же можно ей доверять? Мы же все здесь из-за нее! Тварь она подзаборная! Человечья девка! Какие договоренности? Нет, ну какие договоренности?!

– Тварь она! Тварь она! Тварь она! – тоненько завопили вслед за Костяной гномы. – Из-за нее плохо гномикам! Из-за нее плохо тролликам!

Тот поднял вверх бледную дрожащую руку. Все притихли.

– Именно потому, что вы так к ней относитесь, – сквозь зубы процедил Тот. – Во избежание истерик и скандалов, мы с Бессмертным не рассказали вам о нашей договоренности с самого начала. А теперь пришло время. Теперь я скажу...

– Все из-за нее, окайнной! – Костяная раздраженно стукнула костяной ногой об пол. – Сумасшедшая сучка! Человечья девка! Да неужто вы до сих пор... – она беспомощно всхлипнула и закрыла лицо желтыми морщинистыми руками.

– Перестань, Костяная, – устало сказал Тот. – Она давно уже не человек, ты это прекрасно знаешь. С тех пор, как Люси вонзила Иглу себе в сердце, она перестала быть человеком. И обрела огромную власть.

– Так не надо было давать человеческой девке Иглу!

– Да, не надо было. Не надо, каюсь. Это моя вина. И мне ее исправлять... – Тот поочередно оглядел всех присутствующих. – Да. Я виноват перед вами. Оба мы виноваты, – он покосился на Бессмертного. – Все вы заперты здесь из-за нас. Из-за нашей ссоры. Но только вот... Не думаете же вы, что мы до сих пор... как бы это потактичнее сказать... что мы до сих пор привязаны к ней? Врать не стану, когда-то мы любили ее... Но много веков прошло. Той девушки больше нет. Она изменилась: тупая, безмозглая, болтливая дура без сердца. Но Игла подарила ей власть. Большую власть. Такую же, как у Мальчика.

– Ну так вот именно, – непонимающе закивала Костяная, – правильно. Именно поэтому только он и может с ней сразиться. Отобрать Иглу. Сломать Иглу. Выпустить нас... Разве нет?

– Одному Богу известно... Я хочу сказать: никому не известно, чем кончится битва Мальчика с Люси, если она вдруг состоится. Их силы приблизительно равны. Никто не

может гарантировать ему победу... А если с ним что-нибудь случится до того, как он сломает Иглу, нам не выбраться отсюда никогда... На наше счастье, Люсифа готова отдать Иглу добровольно, – спокойно сказал Тот. – И согласна, чтобы Мальчик ее сломал.

В избе Того воцарилась гробовая тишина.

– Что?! – еле слышно спросила Костяная, оправившись наконец от изумления. – Столько веков не хотела отдавать, и вдруг – пожалуйста?

– Вот именно, – кивнул Тот. – И, кстати, она очень нам помогла. Если бы не Люси... Если бы она не увезла из страны отца, мать не оставила бы нам Мальчика. Согласитесь. Это очень большая помощь...

– Это какое-то сумасшествие, – сказала Костяная. – С какой стати она нам помогает?

– Ну, во-первых, она и впрямь сумасшедшая, – усмехнулся Тот. – Это ты верно подметила. А во-вторых... Во-вторых, она хочет кое-чего взамен.

– Так. И чего она хочет?

– Череп Мальчика.

– Ой-ой-ой! – гномики повалились на пол и задрыгали короткими ножками, пронзительно визжа. – Ай-ай-ай, какая плохая! Бедный Ванечка! Спасите Ванечку! Она хочет оторвать ему голову! Страшно гномикам! Страшно трол...

Лесной молча схватил одного из карликов за ноги, поднял с пола и с размаху ударил круглой ушастой головой об деревянный стол. Раздался глухой, сочный, чавкающий звук – точно сорвался и упал с высокой пальмы перезрелый тропический фрукт. Ярко-красное пятно расплзлось по скатерти.

Тихо дрожа, карлики забились под стол. Туда же, под стол, Лесной бросил бездыханное тельце.

– Ты чего бесишься? – прошептал Бессмертный, брезгливо размазывая по лицу брызги гномьей крови.

– Достали! – мрачно сказал Лесной. – Башка трещит. А они орут, как резаные...

Костяная пристально, не отрываясь, смотрела на Того. Нос ее побелел и совсем заострился, как у мертвой.

– Ты хочешь сказать, что ты согласился на это? Ты ей пообещал череп Мальчика? А, Тот? Ты планировал это с самого начала? Еще до того, как мы взяли его сюда?

– К сожалению, Мальчиком придется пожертвовать, – Тот не смотрел на Костяную, стараясь обращаться ко всему собранию. – Это необходимо. Вариант, который предлагает Люсифа, выгоден нам всем. Вот, слушайте. Она позволяет Мальчику сломать Иглу. Без всякой битвы. Взамен она получает его череп...

– А зачем ей череп? – спросила Костяная.

– Он нужен ей как амулет, дающий дополнительную силу и власть. Безграничную власть...

– Ты хочешь дать ей безграничную власть?!

– Не нужно перебивать, Костяная... Да, амулет дает Люси безграничную власть. И после того, как сломается Игла и настанет Конец Времен, этой власти ей хватит, чтобы сотворить новый мир. Пока она будет творить его, мы посидим в Убежище, которое сделает Мальчик. А потом, когда мир будет готов, она пустит нас туда. Она поклялась. И там мы будем свободны, как раньше...

– И кто же там будет править: она или ты? – подал голос Лесной.

– Она, – грустно сказал Тот. – Это моя жертва. Я отказываюсь от своей власти ради нашей свободы.

* * *

Вода в тарелке запузырилась и почернела. Тот выплеснул ее прямо на пол и тяжело вздохнул.

– Вот так, девочка, – сказал он, потрепав по голове Спящую. – Вот такие дела.

- Есть-то мы будем, или как? – со скучающим видом поинтересовался Лесной.
- Будем, будем... Когда все гости придут.
- А кого мы еще ждем? – спросила Спящая.
- Еще двоих. Родителей Мальчика.

IV КОНЕЦ ПУТЕШЕСТВИЯ

Яркая, полная луна освещает лес. Рядом с луной – еще один шар. Ярко-красный. С синеватым, неровным, рваным окаймлением. Сам он не светит – лишь красиво мерцает в отблесках луны.

Она стоит на тропинке и смотрит вверх – разглядывает лунные континенты и океаны. Она молодая, и стройная, и очень красивая. На ней легкое белое платье, облегающее фигуру.

Он выходит из лесной чащи, весело машет рукой и направляется к ней. Он тоже совсем молодой. Идет пружинистой быстрой походкой. Он был таким лет пятнадцать назад. На нем узкие синие джинсы – а сверху ничего нет.

Он останавливается в нескольких шагах от нее.

Она смотрит на его широкие плечи, на выпирающие по-детски ключицы... На загорелые руки с красивыми длинными пальцами – быстрыми, хитрыми, ловкими. Она смотрит ему в лицо, в хищные серые глаза. Сморит на его смешной, с горбинкой, нос – который только кажется, что сломан, а на самом деле просто грузинский... Смотрит на ежик коротких темных волос и вспоминает, какие они жесткие на ощупь и как их неприятно гладить – будто гладишь щетку для обуви. Она смотрит, как он смотрит на нее.

Он говорит:

– Здравствуй, Мария.

И она отвечает:

– Здравствуй, Иосиф.

Они смотрят друг на друга без обиды, без злобы. Долго смотрят – но не подходят ближе. Не хотят прикоснуться.

– Я скучала по тебе, – ровным голосом произносит Мария.

– И я скучал по тебе, – отвечает Иосиф.

– Ну вот мы и встретились.

– Да. Вот и встретились.

Они улыбаются друг другу. Спокойно. Равнодушно.

– Ты знаешь, – говорит он, помолчав, – тогда, давно, я даже хотел вернуться.

– Зачем? – спрашивает она.

Ей это безразлично.

– Чтобы начать все сначала, – отвечает Иосиф.

– Я бы не согласилась.

– Я знаю. Нельзя давать второе начало тому, что уже однажды закончилось. Это все равно, что выкопать из земли...

– Перестань. Это просто скучно.

– Ты права. Это скучно.

Теперь он тоже смотрит на луну – разглядывает лунные континенты и океаны.

– Пора идти в Убежище, Иосиф.

– Пора, – говорит он.

И они уходят.

V ПОМИНКИ

Когда Мальчик открыл глаза, все уже собрались в Убежище Тридевятых. Все они были

там – мама, и папа, и Спящая, Костяная, Лесной, Болотный, и все гномики, и все троллики, Трехголовый, Анчутка и другие Нечистые... И, конечно же, Тот Кто Рассказывает и Не Может Есть.

Они сидели за накрытым столом. В углу, у стены, неподвижно лежал Бессмертный. Руки его были скрещены на груди. Остекленевшие глаза смотрели вверх – на толстый железный трос и пустые красные кресла. Он выглядел удовлетворенным и не таким усталым, как обычно. Он был мертв.

– Ну, помянем Бессмертного, – трясущейся рукой Лесной поднял стопку с водкой; в другой руке он сжимал маринованный огурец.

– Помянем, – кивнул Иосиф и поднял свою стопку.

– Не чокаясь, – сказала Костяная.

Все выпили. Потом закусили. Тот Кто Рассказывает и Не Может Есть завистливо покосился на салат-оливье в тарелке Марии.

– А теперь помолчим, – сказал Тот Кто Рассказывает.

– В смысле – минута молчания? – уточнил Лесной.

– Нет, – ответил Тот. – Просто не о чем больше говорить.

– И что же теперь будет? – спросил Мальчик.

– Ничего не будет, – сказал Тот. – Теперь я просто поем.

Все удивленно уставились на него.

– А вы думали, я сейчас устрою вам Страшный Суд? – усмехнулся Тот. – Нет никакого Суда. По крайней мере, я его не придумывал. Все, что придумал я, закончилось. Мне нечего больше рассказывать. Ничего больше нет. Никого нет.

– А мы? А как же мы? – запищали гномики.

– И вас тоже нет. И нас. Все кончилось. Поэтому, Маш, будь добра, положи мне, пожалуйста, салат.

– Но... как же Люси, – сказал Мальчик, – скажите, ее что, тоже нет?

– Не знаю, – неохотно ответил Тот. – Я не знаю. Это теперь не мое дело.

– Вы действительно не знаете? – снова спросил Мальчик.

– Давай уже на ты, а, Вань? Ты уже взрослый мальчик. Тем более мы с тобой пьем вместе...

– Хорошо. Давайте... давай на ты. Ты действительно не знаешь?

– Ох, как же мне это все надоело... – процедил сквозь зубы Тот. – Дали бы вы мне спокойно поесть, а? Ну – что-то знаю...

Тот Кто Рассказывает закрыл на секунду глаза и устало потер рукой лоб.

– ...Что-то знаю – но действительно очень немного. Хорошо. Ладно. Я расскажу вам про Люси. Но это будет самая последняя история.

Слова

Самая последняя история

Люси стоит одна и говорит слова. Она похожа на сумасшедшую – да она и есть сумасшедшая. Люси бормочет.

...они давно ушли из этих мест... оставив землю, небеса и воду... обиженные, грустные уроды... они давно ушли из этих мест... они не по-хорошему ушли... с проклятьями, с обидами, с позором... спалив свои дома, засыпав норы... червивыми комочками земли... они, возможно, сами виноваты...

Она бормочет то, что вызубрила наизусть. Бессмыслицу.

Она стоит в нигде, никогда, у нее нет возраста и пола. Она стоит посреди леса, на тропинке, среди маленьких камушков и засохших хлебных крошек. Ядовито-белая луна и два ярких солнца освещают ее лицо, и рыжие волосы, и дряблую шею, на которой висит амулет из черепа мертвого Мальчика. Из твоего черепа, сынок.

У нее маленькие глупые глаза. Уставившись в одну точку, она бормочет.

...все в доме всегда стоит на своих местах. Фарфоровые фигурки – собачка, лисичка, две балерины, морской царь – очень красивый, с трезубцем – на трюмо... Маленькие смешные туфельки из гжели – на тумбочке перед кроватью... В них, кстати, в эти туфельки, очень удобно что-нибудь мелкое класть: булавки, заколки, шпильки, ватные тампончики, одноразовые шприцы... В серванте у меня два фарфоровых сервиза и еще много тарелок и чашек из разных наборов... На стенах – ковры. И гобелены с оленями. Там целые сцены изображены: охотник целится в оленя из лука, олени бегут через лес, олени у водопоя... И все это сделано крестиком...

Она имеет безграничную власть. Теперь она может править миром. Пока никакого мира нет.

Ничего нет. Никого нет. Но она уже тихо бормочет – она создает себе мир.

Неторопливо. Спокойно. Ритмично. Совсем не вдаваясь в смысл.

Словами, словами, словами.

* * *

– Все. Вот и сказочке конец. Все остальное – уже не мое дело.

Тот Кто Рассказывал оглядел присутствующих: все они молча сидели за столом и смотрели на него, не отрываясь.

– Надеюсь, больше вопросов нет? – спросил Тот.

– Есть! Есть! Есть! – заверещали гномики.

Тот скривился:

– Хорошо, валяйте, спрашивайте.

– Долго мы тут будем сидеть? – хором спросили гномики.

– Боюсь, что долго, – невесело усмехнулся Тот.

– Ой-ой-ой! – запищали они в ответ. – Нам тут не нравится! Нам страшно! Не нравится тролликам-гномикам! Страшно гномикам-тролликам!

– А ну заткнитесь, – шикнул на них Лесной.

– Можно тебя на минутку? – сказала Маша Тому Кто Рассказывал. – Давай ненадолго отойдем, а?

– Давай, – неохотно согласился Тот.

Они отошли в дальний угол Убежища.

– Ответь мне, – прошептала Маша. – Только честно. Ты отец Мальчика?

– Ну ты скажешь тоже, дорогая! – неприятно ухмыльнулся Тот. – Какой же я ему отец?

– Но... Мне казалось... что все это... Что наш с тобой сын...

– Чушь. Это не наш сын. Это ваш сын – твой и Иосифа. Я, видишь ли, к продолжению рода совершенно не способен.

– Вот как... – Маша на секунду задумалась. – Что ж, ясно. Еще один вопрос... Ты сказал, что мы здесь пробудем долго. Что это значит? Когда мы сможем выйти?

– Видишь ли, Машенька... Дело в том, что Люси – очень ненадежная особа. И к тому же довольно безмозглая. Что там она создаст, когда – одному Богу... то есть, это... никому не известно. Так что не исключено, что мы не сможем отсюда выйти никогда. И пробудем здесь вечность.

– Вечность? В этом маленьком, тесном, душном помещении, среди всех этих железяк и тросов мы пробудем вечность?

– Маша, только давай, пожалуйста, без драм. Я сказал: «не исключено». Я же не сказал: «точно».

– Но... зачем же тогда?... Они же все думают, что Убежище – это просто такой перевалочный пункт. Что здесь надо немножко пересидеть – а потом все будут свободны...

У Того как-то странно перекосилось, неприятно исказилось лицо. Стало упрямым и злым.

– Зачем? Ты спрашиваешь – зачем? – повысил голос Тот.

– Тише, тише...

– Прости, вспылел. Ты спрашиваешь: зачем. А если я скажу тебе... Если я скажу тебе, что для меня не было – ну вот просто не было! – другого способа прекратить наконец трепаться и просто пожрать, а? Если я скажу тебе, что меня не интересует никакая там свобода, что я устал, смертельно устал, и что единственное, чего я хочу – это просто спокойно сидеть, выпивать и закусывать, а, Маш? Тебя удовлетворит этот ответ? – в голосе Того снова послышались истерические нотки; он ненадолго умолк, отдышался. – Послушай. Давай-ка мы с тобой сейчас, дорогая, просто вернемся спокойненько ко всем остальным – а то неудобно. И покончим с этой утомительной беседой.

– Нет уж, постой. А если... я им сейчас все расскажу?

– Что-то? Прости, я, кажется, не расслышал.

– Если. Я. Все им сейчас расскажу, – отчеканила Маша.

– Если ты все им расскажешь, – спокойно отозвался Тот, – то здесь начнется ад крошечный. Скандал, истерика и паника, вопли и членовредительство. И вечность, которая нам, возможно – подчеркиваю: возможно, – предстоит, мы проведем не самым приятным образом... В этой самой истерике и панике. Не лучше ли, чтобы у всех было хорошее настроение?

VI УБЕЖИЩЕ

Они сидят за накрытым столом. В углу, у стены, неподвижно лежит Бессмертный. Руки его скрещены на груди. Остекленевшие глаза смотрят вверх – на толстый железный трос и пустые красные кресла.

– Ванюша, сынок, – говорит Тот. – Передай мне, пожалуйста, вон тот бокал с пивом. И еще вон тот – с медом. И еще тот – пустой. Я, пожалуй, сооружу себе коктейль.

Тот Кто Рассказывал смешивает в пустом бокале тягучий мед цвета янтаря и густое пиво цвета нефти.

– Вообще-то, мед с пивом не очень, кажется, гармонирует, – растерянно бормочет Лесной.

– Нормально, – отвечает Тот. – Гармонирует.

Он подносит бокал к губам и начинает пить.

– Пожалуйста, пей осторожно, – испуганно говорит Костяная, – а то с непривычки можно, знаешь... Аккуратненько, ладно? Маленькими глоточками, ладно? Да, вот так... Вот так...

Тот выпивает весь бокал. Потом снова смешивает пиво с медом и снова присасывается к коктейлю, жмурясь от удовольствия.

Маша молча наблюдает за ним. Потом примирительно спрашивает:

– Ну что, вкусно?

Конец